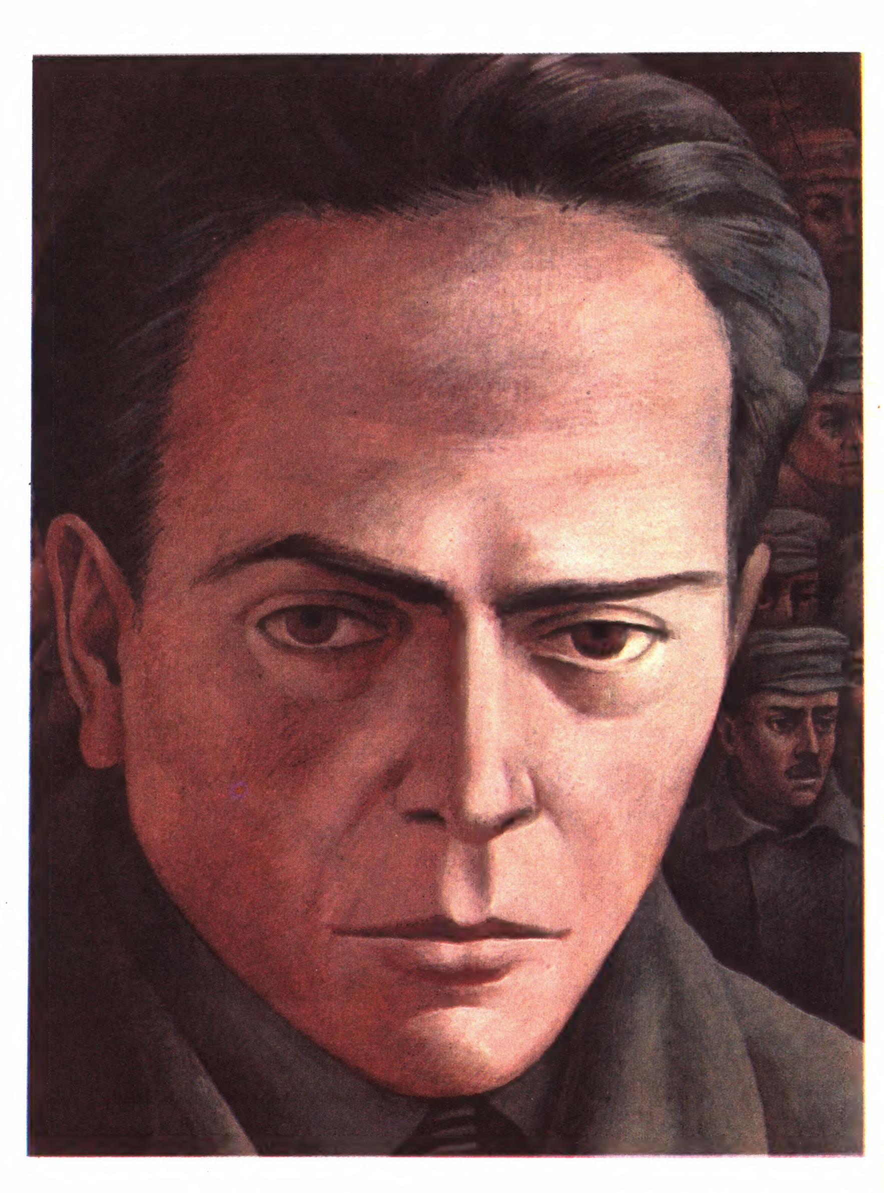
Бремя выбора

Иван Щеголихин





Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1979



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ ПР РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Иван Щеголихин

БРЕМЯ ВЫБОРА

ПОВЕСТЬ
О ВЛАДИМИРЕ ЗАГОРСКОМ

84Р7
Щ34

Автор книги Иван Щеголихин по образованию врач. Печатается с 1954 года. Им опубликованы два романа, десять повестей, рассказы. Отличительная особенность произведений И. Щеголихина — динамичный сюжет, напряженность и драматизм повествования, острота постановки морально-этических проблем.

Книга рассказывает о судьбе Владимира Михайловича Загорского — видного деятеля партии большевиков. Перед читателем проходит весь путь революционера — от нижегородского юного бунтаря до убежденного большевика, секретаря Московского комитета РКП(б) в самом трудном для молодой Советской республики 1919 году.

Огромное влияние на духовный облик Загорского оказали описываемые в повести встречи с В. И. Лениным и работа под его руководством. Читатель увидит на страницах книги и таких выдающихся революционеров, как Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский.

Щ $\frac{10203-121}{079\ (02)-79}$ 285—79 0902030000

Глава первая

Дан открыл глаза. Утро, серый рассвет, потолок в трещинах, паутина в углу на фризе. Весна, март, и на дворе вьюга.

Он слег давно, сбился со счета дней, прошел месяц или два месяца, зима была и прошла. Дан умирал, воскресал, снова умирал, наконец сказал себе: это бог умер, и притом давно, а я выжил.

Берта мыла его в цинковой детской ванне, поливала теплой водой из чайника, а ему казалось — он в Женеве, купается в озере Леман, лежит на теплом песке, и ему двадцать пять, как тогда, а не сорок, как теперь показывает градусник.

Кто-то приходил, бритый, похожий на татарина, с пустыми руками, и говорил о партийной кассе. Приходил кто-то в усах, похожий на хохла, принес деньги и пшено в мешочке. Казимир?

Шуршала газета, звучал голос Берты: «Председатель ВЦИК товарищ Свердлов выехал в Харьков... Школа агитаторов при Московском комитете РКП большевиков объявляет... Карл Либкнехт в гробу, голый торс... В Большом «Раймонда», в Малом «Венецианский купец», в Замоскворецком «Мещане», в кукольном «Петрушка и тени»... В Большом «Раймонда», в Большом «Раймонда»...

«Принудительное лечение венерических болезней признано недопустимым...»

Фриз зеленый, паутина серебряная. Глаза ясные, можно жить. Сначала.

Берта спала рядом, на спине, темные брови крыльями, губы чуть приоткрыты, темные волосы на подушке, наволочка серая, не отстирать, мыла нет, и не выбросить, поскольку заменить нечем.

Не думал, что она останется, Берта, дочь Марфина, бесстрашная ровесница века, отвергающая предрассудки, но все же: «Вы мне друг, Дан, знали моего отца...»

Вчера он выходил на улицу, постоял-постоял на мусоре во дворе, держась за кирпичную стену, подышал-подышал, вернулся легким воздушным шариком. И позавчера, оказывается, выходил, с Бертой под руку. «Какое сегодня число, Берта?» — «Шестнадцатое марта, Дан, воскресенье». Вот именно воскресение.

— Берта...— Он прислушался к своему голосу.— Бер-та!

Она сдвинула брови, но глаза закрыты.

— Сегодня праздник, Берта, День Парижской коммуны.

— Поздравляю вас, Дан.— Влажный шепот со сна. Открыла глаза, уставилась в потолок.

— Сегодня я выйду на улицу.

— Чека еще существует, Дан.

— Плевать! Это мой праздник.

Берта поежилась, плечами подсунула одеяло до самого подбородка — холодно.

— А мне в театр, я не могу с вами.

— Один пойду.— Отличный бодрый голос, светло и ясно.— Только ты мне принеси газеты.

Куда он пойдет, к кому? А никуда, просто по улице. Вид толпы, глаза, лица покажут ему, что было тут без него, предскажут, что будет.

— Марию Спиридонову посадили или выпустили?

— Выпустили, вы мне сами говорили, Дан.— Берта зевнула.— А потом, кажется, опять посадили.— Плечами подправила одеяло, на кромке сатин посекся, видна серая вата.— По требованию МК большевиков.

Она сжалась, как перед прыжком в воду, рывком сбросила одеяло, вскочила испуганно, будто намереваясь сбежать от холода, грациозная, гибкая, хотя и в нелепой одежде, в рубашке Дана и в его брюках, все широкое, складками, только бедра в обтяжку. Стянула через голову рубашку, раскосматив волосы, по-женски топча ногами штанины, стянула брюки и нагая, сиреневая от холода, стала натягивать на себя шелковое белье с кружевом, подрагивая коленками и судорожно всхлипывая.

«Бог проявляет себя в теле женщины». Дан видит ее красивой и потому будет жить.

Тем не менее дарить белье — хамство. Голубое, кремовое, переливчатое. Прежде у нее такого не было. Но кто-то же дарит. Видать, соратник по борьбе за свободу пола. В театре? Или все в той же лиге?..

Берта ушла. Шляпка, пальто, мех, муфта — одета, будто не было революции. Зато драное пальто Дана красноречивое тому подтверждение.

«Найди мою дочь, Дан,— просил Марфин в Бутырках, когда его уносили в лазарет.— Пусть она увидит зарю свободы. Прощай». Умер двадцатого февраля. А первого марта революционная толпа распахнула тюремные ворота.

Дан не сразу нашел ее. Из семьи профессора анатомии она ушла давно, из семьи актрисы театра Комиссаржевской ушла недавно. Либеральных, полуэсеровских семей, считавших своим благородным долгом помочь детям политзаключенных, в Москве было всегда полно, а после Февраля стало еще больше. Сиротка Берта (мать ее умерла раньше, в ссылке в Вологде) имела выбор и не пошла по миру.

Он нашел ее в мае семнадцатого на Сретенке, в особняке фабриканта, в лиге «Долой стыд». Войдя в просторную залу, он увидел в простенке между церковными окнами прямо на голубых обоях свежие письмена: «В мире две великих силы: тело женщины и воля мужчины — наслаждение и власть». На плюшевой скатерти лежали книги, том Вейнингера «Пол и характер», Гершфельда «Естественные законы любви», брошюра на немецком об эротической свободе с вложенными в нее листками русского перевода.

Лига в тот день готовилась пойти в народ, на сей раз голыми, благо, что лето, с алой лентой через плечо «Долой стыд!».

Гимназисты, балерина, актрисы, два юнкера, студент. Наслаждение здесь преобладало над властью — девиц было больше. Рабочих либо не успели привлечь, либо игнорировали как класс. Идейным вдохновителем лиги был анархист Зенон, в годах, лысый, остатки волос с затылка жиденько струились на плечи.

Дан создал себе образ худенькой несчастной сиротки, которую надо приласкать, отогреть, может быть нанять для нее старушку, Дан одинок, или же отправить ее в Чистополь, в родовое гнездо Беклемишевых, на попечение близких; а увидел перед собой богиню греков, творение Фидия, а не Марфина, юную, весьма телесную, беспечальную и свободную в любом смысле.

Дану польстило, что они и его попытались приобщить к бескрайним степеням свободы.

«Нам не нужны ни пушки, ни пулеметы,— говорил юнкер.— Эротическое отношение к реальности само по себе ведет к изменению бытия». «Показать людям живое тело — и тогда страшно будет его убивать»,— уверяла Берта. Ей вторила балерина: «Каждый вечер на сцене театра мы показываем нагое тело, как образчик эстетики, как призыв к улучшению человеческого рода».

Дан только головой вертел, слушая. У него и мысли не появилось заспорить, вразумить, скажут: экое мракобесие, да он и сам понимал, слова их звенят в унисон моменту — да здравствует полная, всепозволяющая свобода!

Студент попытался перечить, держа палец у переносья, поправляя очки, но даже Дан рассмеялся неуместности его сомнений. «Бесстыдство, господа... извините, товарищи, бесстыдство рождает скуку, потому что убивает тайну». А сам так и терся возле Берты, губы красные, шея потная.

Зенон улыбался, гордясь плодами, не утерпел, заговорил сам: «На знамени революции начертано: свобода, а это значит не только свобода слова, но и дела, не только дела, но и тела. Долой всяческие условности, пришло время сексуального возрождения, грядет главная диктатура — биологического естества. Веками попирались первозданные начала жизни. Стыдливость между полами есть искажение всего нормального, физиологического и здорового. Наша борьба будет непримиримой, на нашем знамени: долой стыд! Вырвем с корнем патологические наросты целомудрия, любви, брака и семьи. Да здравствует освобождение чувств от гнета буржуазной культуры!»

Собрав все мужество, Дан все-таки отозвал в сторону полуголую Берту, представился: Даниил Беклемишев, эсер, член Московского Совдепа. Сказал об отце, о его завещании. Произвел впечатление, хотя Берта тут же предупредила: «Нет, нет, я никуда не пойду». Назвал свой адрес. «Если вам будет трудно, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Помочь вам — это мой долг».— «А вы правда каторжник?» — Берта разглядывала его, будто ища клеймо, даже про свое тело забыла, легонько коснулась плеча Дана ладошкой — во плоти ли он?

Лига ревниво прислушивалась. Если бы он отважился настоять — пойдем отсюда, они ринулись бы на него с

кулаками и стульями. Забрать то тело, на которое у них главная ставка! Дан поспешил откланяться. О Чистополе и не вспомнил. Нет, он не испугался ни кулаков, ни мебели, он устыдился двусмысленности своего визита — из спасителя сиротки он становился похитителем сабинянки. Берта потом его сама нашла...

Бухнула набухшая дверь, Берта принесла газеты. Дан нетерпеливо схватил их, с наслаждением нюхая свежий шрифт,— он жить не мог без газет! «Известия ВЦИК», «Правда».

— А «Дело Народа»?

У Берты округлились глаза — снова бредит?

— Ее же давно закрыли, Дан, вы что?

— Ах, да, свобода слова, Ленин: «мы не можем к бомбам Каледина добавлять бомбы лжи».

— А в чем ложь? — сразу же возмутилась Берта, покривив рот.— Народ голодает, свирепствуют испанка, тиф, Чека.

Дан поморщился. Большевики разогнали лигу Зенона, Пролеткульт запретил обнажаться на сцене. «Вот у кого ни стыда ни совести — гонители естества!» Разогнали тех, запретили этих, реквизировали, национализировали, попирают свободу. А вот то, что они разогнали Московский Совет, отстранили от власти революционные партии,— этого обыватель не видит, тут он слеп, глух и туп.

— При Керенском за вшивое белье не расстреливали,— мстительно продолжала Берта, имея в виду «и лигу не закрывали».

— И очень жаль,— сказал Дан. Развернул «Правду» — траурная рамка, портрет.— Ха, ха, ха! — по слогам произнес Дан.— Черный стальной дьявол. Ха, ха, ха,— удовлетворенно повторил он.— Я не царь, он не Лермонтов, но про такую смерть лучше не скажешь. Тэкс-тэ-экс. «Цена номера в Москве пятьдесят коп. На станциях жеде и в провинции шестьдесят коп»,— гаерски процитиро-

вал Дан, растравливая себя: лишь бы содрать лишний гривенник с мужика в провинции, мало с него продотряды дерут. Молча пробежал глазами первую полосу: «...всем районным ячейкам явиться в полном составе со знаменами для похоронного шествия с Трубной площади на Театральную... Бутырский Совдеп, сбор у старой Башиловки... возложить металлический венок... принять участие в полном составе со знаменами и советским оркестром».

Соболезнуют металлисты, полиграфисты, железнодорожники. Скорбят Совдепы, скорбит Московский губком. «Когда вспоминаешь этого удивительно милого товарища, всюду и везде пользовавшегося любовью и уважением...», «Московский Пролеткульт, глубоко скорбя о новой утрате...», «Вся нарымская ссылка хорошо знала товарища...»

Открытие Восьмого съезда РКП большевиков в Круглом зале. «Уже восьмого, а у нас? Съедемся ли когда-нибудь?»

Декрет Совнаркома: «В целях экономии осветительных материалов и топлива... перевести часовую стрелку на 1 час вперед... проводится в жизнь в 11 часов вечера в ночь с 18 на 19 марта».

День Парижской коммуны, съезд правителей, тут же похороны, декрет — редкий день.

— Берта, красный бант! — потребовал Дан.

Берта пошарила в комоде, нашла остаток кумача, оторвала полоску, свернула ее легким бантом. Глядя на ее старания, Дан вспомнил сон: аккуратно, медленно он рвал и рвал длинные белые полосы какой-то бумаги, рвал, рвал и плел. Розетки, узелки, ромашки...

— Разгадай, Берта, к чему такое.

В семьях либералов знают сонники не хуже, чем в семьях купеческих. Разгадывать сны — искусство, как и раскладывать пасьянс.

— Плохой сон,— легко определила Берта.

— А конкретней можно?

Она подумала, лгать не стала:

— Лучше вам не выходить сегодня.

Дан дунул в ноздри, отвернул матрац, достал револьвер, покрутил, проверил обойму.

— А где твой «бульдог»?

— У меня.

— Заряжен, конечно,— с усмешкой проговорил Дан.

— Заряжен,— с вызовом ответила Берта.

Странная у нее страсть — играть с браунингом, непременно заряженным, крутит его в руках, вертит, на колени положит, гладит, как с котенком играет...

Он натянул пальто, расправил лежалую шапку.

— Я бы вам посоветовала...— предостерегающе начала Берта, но Дан перебил:

— Судьбу надо любить, Берта. Не склонять перед ней голову, а идти навстречу. Ибо судьба любит и возвышает смелых.

«Мне нравится, Дан, что вы каторжник,— повторяла Берта,— это влечет».

Дан спустился по скрипучей, комковатой от грязи лестнице и вышел в колодец двора. Грязный снег лежал по самые окна крутыми склонами с пятнами сизой золы и потеками синих помоев — ни следа от снега. Закружилась голова от холодного и влажного воздуха. Дан прикрыл глаза, неуверенно сделал шаг, другой, третий и успел заметить, что перешагнул через дохлую кошку,— две ижицы ног и прямой хвост. Одной дурной приметой стало меньше в Москве на втором году революции — редко-редко перебежит дорогу черная кошка, зато дохлые — на каждом шагу.

Он вышел в переулок, огляделся. Куда теперь и зачем? Закалить дух. Отметить Коммуну. Отпраздновать тризну.

Постоял, подышал. Мимо прошла дама в серой шубке. Из-под длинной юбки мелькали, кривясь каблуками на кочках, порыжелые солдатские ботинки.

Итак, куда же? «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

В гущу, в центр, а там будет видно.

Едва он вышел из Дегтярного на Тверскую, как сразу же увидел — услышал! — длинный отряд рабочих шел с траурными знаменами. Дан непроизвольно сунул руки в карманы. Они ему показались тесными. Рывками в стороны, будто в наручниках, он постарался растянуть плотный драп, сделать карманы пошире для свободы действий. Правую руку холодил револьвер.

Тяжелый гулкий шаг рабочей колонны заставил его остановиться. Прищурившись, не в силах отвернуться и тем избавиться от них хотя бы на миг, Дан смотрел на одинаково суровые, одинаково изможденные лица, будто шла не толпа, а некто один, многорукий и многоглавый, с чугунной поступью — трах-тррах.

Даже хоронить идут, как на приступ. Даже в скорби силу свою растят, единство и мощь. Будто покойного окружила и уничтожила вооруженная до зубов армия заклятых врагов большевизма, а не жалкий деклассированный микроб испанки.

Дан вобрал голову в плечи. Его всегда настораживала рабочая масса, временами пугала, внушала страх неожиданностью своих решений и твердостью. Переубеждать их — поистине обращаться с проповедью к землетрясению. Нет, не зря он с младых ногтей всю свою заботу, любовь и преданность адресовал простодушному, открытому российскому крестьянину. А эти — черные, мазутные, с жесткими глазами, руками, лицами — новички на земле, на российской тем более. Но стали расти, плодиться, как саранча.

Он пойдет с ними, деться некуда. Цель у него с ними

нынче одна — похоронить. Одна была цель и прежде — похоронить самодержавие. Добились, свергли. А что потом? «Потом суп с котом».

Он пойдет туда же, на Большую Дмитровку, к Дому союзов, только своим путем — по задворкам.

Дан прошел до Страстной площади, посмотрел на сырую зеленую статую Пушкина у Тверского бульвара. Кажется, и Пушкин с ними — скорбно склонил голову на фоне серых набухших туч. И его агитнули.

Пересек Страстную, дальше рисковать не стал, мимо гастронома Елисеева скользнул в Козицкий переулок, по нему на Дмитровку. Здесь было людно, однако никто не спешил к Дому союзов, все почему-то стояли, переговариваясь, чего-то ждали. Дан навострил уши — ага, понесут здесь, по Большой Дмитровке в сторону Страстной.

Стоять на улице столбом он не мог, привычка конспиратора гнала его с места, будто земля горела.

Спустился до Столешникова, остановился, огляделся. Москва большевистская, конечно, там, а здесь — больше бывшие. Чиновники, офицеры, прислуга. Безработные, спекулянты с Сухаревки, ночлежники с Хитровки. Вчерашний неплательщик налогов вырядился в шинель акцизного инспектора, бродяга нахлобучил дворянскую фуражку с красным околышем, а гвардейский офицер в рубище. Нужда, нищета, террор одним позволили, других заставили сменить обличье. «Сегодня мое место здесь,— отметил Дан,— среди бывших». Потоптался, поозирался — Столешников упирался в здание Моссовета. Бывший дом для генерал-губернатора, бывший Совдеп для Даниила Беклемишева. Дан отвернулся, пошел выше, в сторону Глинищевского переулка.

Устал, хотелось присесть, прилечь, но — за гробом пойдут не только родные и близкие, наркомы пойдут, вожди, и Дан кое-что поймет по их виду. Проницательным взором загнанного он уловит признаки краха по их

глазам, распознает растерянность под личиной бодрости и подкрепит себя надеждой.

Пойдут за гробом, а в гробу... Черным стальным дьяволом называла его в сердцах Мария Спиридонова. Дьявол сам по себе хорош, ну а если он черный, да сверх того еще и стальной... Не сразу это поняла Маруся, хотя и работала с ним во ВЦИКе, крестьянские дела вела, не сразу, хотя звали его так еще со времен Керенского. Спохватилась, да поздно.

Теперь Марию освободили, а Беклемишева ищут. За дело одно и то же — мятеж 6 июля.

Ищут-свищут. Прежде бегал от шпика, нынче бегай от Чека,— новые пути-перепутья социалиста-революционера.

Прятался Дан от царского правительства, теперь вот прячется от большевиков после революции, за которую он боролся двадцать лет, кровь за нее пролил в бою на Пресне в девятьсот пятом, дождался ее на каторге.

Вот какую свободу дали ему большевики — свободу прятаться.

Но долго ли удастся протянуть в бегах? «Во Франции можно отменить все, что угодно, кроме проституции»,— сказал Дантон. В России тоже можно отменить многое, даже и проституцию, только одного не отменишь — гла́за взыскующего. Еще одна загадка русской души.

Послышались тягучие звуки оркестра, и сразу же из дворов и переулков, из калиток и подъездов полезли, как мошкара на свет, люди кто в чем — полушубки, пальто внакидку, наспех повязанные платки и шали. На крышах, распугивая ворон, показались мальчишки.

Притягательна смерть вождя. Если Ленин голова республики, то Свердлов правая ее рука — Исполнительный Комитет. Центральный. Всероссийский. Покойный — победитель и побежденный в одном лице. И не пулей сражен, не бомбой вражеской, не царской виселицей удушен, а пошлым гриппом, испанкой всего-навсего.

— Из Колонной залы выносят.

— «Где стол был яств, там гроб стоит».

Грамотный, видать, с Хитровки.

— А поминки будут?

— Разевай рот шире...

Грязная, в сугробах и кочках, улица шла под уклон к Театральной площади, и по ней неровной шеренгой, где выше, где ниже, темнела по-над стенами толпа зевак.

Тепла бы сейчас, солнышка градусов на пятнадцать — двадцать. И потекла бы мутная жижа по Большой Дмитровке, хлынула бы девятым валом, никакой силе не удержать. Окунулась, утонула бы в грязи белокаменная.

Нет в Москве генерал-губернатора, нет советников ни тайных, ни действительных, нет князей и княгинь и графинь. Но нет в Москве и дворников. И если первым действительно делать нечего при новой власти, то вторым как раз-то дела невпроворот. Однако же сидят рыцари метлы и охранки по своим норам, пухнут с голода и плюют в потолок от безделья наравне с флигель-адъютантами его величества.

Уныло бухает и тягуче звенит оркестр. Серая с красно-черной щетиной знамен процессия заполняет улицу, тесня толпу у домов. По бокам ее суконной каймой — автобоевой отряд ВЦИКа в шинелях с леями поперек груди. Впереди венки. Дан вгляделся: от Восьмого съезда, от Центрального Комитета РКП(б). Венки от райкомов, ячеек, заводов, профессиональных союзов. За венками — знамена, красные с золотом букв, с черным крепом.

Замерла толпа, вытягивая шеи, ловя взглядом главное, ища гроб.

— На Ваганьковское понесли.

— Далё-око. Семь верст киселя хлебать.

— Чего-о? На Красную площадь! До Страстной, а там повернут — и по Тверской вниз.

Проносят красную крышку гроба насупленные члены

ВЦИКа. Ряды, ряды, мерный шаг. Показался гроб, в цветах не видно покойного, за гробом скученная группа близких, Новгородцева с опухшим от слез лицом, согбенный старик. Не мотался по тюрьмам и ссылкам, пережил сына — на свое горе.

Гроб все ближе, вот он поравнялся с Даном. Седой господин слева обнажил голову. С другого бока стянул картуз мальчишка с синей щекой...

Дан стоял не шевелясь. Не станет он ломать шапку перед трупом врага. Не заставят. Могут снять только с головой вместе.

Он вскинул голову, щурясь через пенсне.

Идут члены ЦК, Ленин, обычный, заурядный, в пальто со смушкой, рядом с ним женщины, чьи-то дети. Землистое лицо Дзержинского, усталое и, как всегда, гордое. Смотрит в землю рябоватый кавказец, наркомнац Сталин.

Несут на Красную площадь.

К стенам Кремля...

Митрополит Московский шлет анафемы большевикам.

Говорят, будто сотни гробов уложили они торжественно у старых святынь в ноябре семнадцатого.

«Но нас миновала пока чаша сия...»

Идут московские большевики, и в первом ряду — «ба, знакомые все лица». Одно особенно. Свидетель дней живых, некогда славный юноша, женевский приятель Дана. По-старому не назовешь, по-новому нет охоты. Шибко честный, чересчур совестный, все искал истину, выбирал судьбу, ретивый, ходил к Ленину, хотел усмирить его. Доходился... Дан пристально на него смотрел: каким ты стал, что они из тебя сделали? Тот же лоб — хоть коли орехи, те же волосы — гребешки ломать, но уже седина брызнула, а он младше Дана на целых пять лет. Идет будто один и смотрит поверх знамен, отрешенный, скорбный, губы опущены, брови сдвинуты — остался чадом таким же искренним, каким был тогда в Женеве, на заре

движения, на заре жизни, пятнадцать лет тому назад...

Наверное, оттого, что Дан впился в него взглядом, даже вперед подался, высунулся из толпы, он слегка повернул голову, глаза их встретились и — сон иль явь? — он кивнул Дану грустно, будто здороваясь и словно бы говоря: видишь, Дан, какое дело, хороню друга.

Дан замер, не отводя глаз, уже ничего не опасаясь, будто подключенный его взглядом к общему строю, будто они рядом идут, и Дан тоже скорбит, тризна заразительна, и не было ни вражды, ни раздора; медленно шли делегаты с фронтов, обветренные, не такие бледные, не такие голодные, нездешние, в шинелях, папахах, кожанках, с оружием, бравые и суровые, привыкшие хоронить каждый день и не скорбеть попусту, а тут же мстить, и потому лица у них не такие кислые; а Дан все смотрел вперед на его затылок, отходя от наваждения, будто не процессия, а само оцепенение прошло мимо Дана, благополучно миновало его, и он пробормотал, взбадривая себя, настраиваясь на прежний лад:

— «И на челе его высоком не отразилось ничего».

Но тут он вдруг обернулся — совсем другое лицо, глаза в прищурке (как они любят все подражать Ленину!), обернулся, явно ища Дана, глянул собранно, хватко, уже не прежний женевский юноша, а зрелый муж вперился — Загорский, секретарь Московского Комитета.

Но Дана он уже не увидел. Не станет Дан застывать солдатиком, каменеть статуей перед чужим трауром. Легким движением, незаметно Дан чуть подался влево за спину седого господина и слегка присел, сморкаясь в платок. «Не надо себе портить тризну, милый Володя, ответственностью и бдительностью».

Поверх платка, из-за уха соседа он ясно увидел, как малый в коже — бочком из строя и в толпу. Дан почувствовал, как по-боевому застучала кровь в висках. Они меня помнят! Нет лучшего лечения, чем страх врага.

Потянулся жидкий хвост процессии, нестройный, уже без знамен и повязок, забе́гали мальчишки, толпа стала расходиться, низы домов посветлели.

«Страх не страх, много на себя берешь, но озабоченность явная — послал по следу»,— отметил Дан, зыркая поблизости, ловя малого в черной коже.

На углу переулка под окном бывшей кофейни стояла старушка в бархатной, вытертой на плечах кацавейке с мехом и мелко крестилась.

— Царство ему небесное, царство ему небесное,— выговаривала она отчетливо и громко, будто с кем-то спорила.

— Боженька, кого любит, к себе берет,— отчеканил каждое слово Дан, слегка к ней наклоняясь.— Не убивайся, милая.

Как будто знала его сто лет, он детям ее помог и внукам, накормил всех, одел, обул.

Старуха, крестясь, задержала руку на полпути, дернулась на голос Дана, лицо ее из постного стало злым:

— А такой, как ты, ни богу, ни сатане.

Свобода слова!

Малый в коже пропал с толпой, видно, утерял след. «Да хватай любого, паря, не ошибешься».

Дан свернул мимо кофейни в проулок, оглянулся — пусто, нырнул во двор. В руках у него оказалась шапка. Откуда? Чья? Его шапка, серый треух из кролика. Он не помнил, когда снял ее, и вид этой шапки в руке, ощущение волос, вздыбленных от холода, привели его в раздражение. Он напялил треух, голове стало теплей, поднял воротник. В чем дело? Когда это он позволил себе распустить сопли?

Однако пора домой, хватит, погорячил кровь.

Он решил проскочить до Страстной прежде процессии, чтобы не встречаться больше со всенародной скорбью. Добился, чего хотел. Вполне. Собрат по Пресне

пустил по его следу чекиста. Тризна тризной, а дело делом, они это умеют.

Дворами он быстро вышел на Тверскую, пока что пустынную,— публика все еще была там, где музыка.

«Хватит на сегодня, довольно, я молодец, что вышел».

Но удовлетворения не было.

«Надо забыть про шапку». Дьявольщина, экое малодушие.

Градоначальник Трепов не мог заставить хилого студента Боголюбова снять перед ним шапку, да где — в Петропавловской крепости! А Дан добровольно снял. И не заметил когда. И не помнит зачем. Ну, зачем, допустим, ясно, тризна заразительна, но вот когда?

Тиф все-таки расслабил его. К слову сказать, сыпняк пострашнее испанки, а вот Дана не одолел, следовательно?

Следовательно, Дан сильнее. А вот шапку снял. Всегда такой собранный, нацеленный, ни перед кем не дрогнет. «Вы же не пешка, Дан, вы шишка»,— говорит Берта, когда он начинает брюзжать.

Чем они заставили его снять шапку, черт побери, в конце-то концов, чем?!

Все могут. Дать землю и волю, мир хижинам и войну дворцам.

Дать, но больше отнять. Прекратили перевозку пассажиров на целый месяц по всем центральным губерниям. Иди пешком, Россия, меряй мерзлые версты. Забудь про железную дорогу, но и на лошадку свою не рассчитывай — овес нынче люди едят.

Все могут, даже время хапануть у вселенной, целый час. Пока что час. «В целях экономии...» Промотаешь ворохами, не соберешь крохами. «Перевести часовую стрелку». И переведут! Никто никуда не денется — декрет. По всей Москве, по всей стране возьмутся за часы ночью, карманные и наручные, настольные и настенные,

башенные, вокзальные и корабельные. Ходики, будильники, со звонами и с кукушками. Российские и швейцарские, Павла Буре и Мозера. И все будут жить по их времени, отсчитывать часы и минуты по их декрету. И Дан переведет свои мозеры. И в этом малом жесте выразится его смирение и согласие.

Переведет стрелки — и забудет свою уступку. Как забыл, зачем снял шапку и когда. Не было же декрета, черт побери, снять шапку Даниилу Беклемишеву! Наваждение.

Гоц рассказывал: в тот роковой вечер, в канун 25 октября, в Смольном заседал Петроградский Совет. Солдаты, матросы, хай, лай, дым коромыслом. Ораторы драли глотки от имени всех партий — эсеров, меньшевиков, анархистов, большевиков. Ленина не было. Он как исчез с лета после приказа Керенского об аресте, так и не появлялся всю осень.

И вот в перерыве Гоц и Либер вышли в комнату рядом с Актовым залом, от крика проголодались, развернули на столе сверток — колбаса, сыр, хлеб, начали жевать, смотрят, а на другом конце стола — Ленин. Сидит боком, на них не смотрит, но Гоц подавился колбасой, Либер скомкал сверток и, толкаясь плечами, оба быстрей в зал.

А ведь не мальчики Гоц и Либер, битые, тертые, вожаки, вожди, Гоц — эсеров, Либер — меньшевиков, огонь и воду прошли, Гоц только что председательствовал, бурю гасил, махал колокольчиком, а злой языкастый Либер держал речь: «Захват власти массами означает трагический конец революции!» И вот тебе нá — сиганули как чижики. А ведь не было еще переворота, не было Совнаркома, Кремля, ВЧК, Ленин был просто Лениным...

Дан торопился, почти бежал вверх по Тверской, чтобы обогнать процессию, вспотел, тяжело дышал — успел. Ми-

новав Страстную, он замедлил шаг, вытер рукавом лоб. И пошел, еле передвигая ноги, побрел. Шапка налилась тяжестью, клонила долу.

...Он обнажил голову по зову памяти. Прошлое его заставило. В котором виделось начало будущего. Когда будущее еще не стало прошлым, залитым кровью междоусобицы.

Единый лозунг держал их в ту пору вместе: «Долой самодержавие!» А разногласия на пути казались тогда преходящими. Теперь такое и вообразить нельзя: Ленин ладил с Мартовым, почитал Плеханова, вместе с Петром Струве обсуждал создание «Искры».

И в девятьсот пятом они сражались вместе. Дан был на Пресне в дружине знаменитого Медведя. (Казнен в девятьсот шестом.) Плечом к плечу бились тогда большевики и эсеры. Володя — «товарищ Денис» — пришел на Пресню с дружиной типографии Кушнерева в последние дни, когда уже по всей Москве, кроме Пресни, восстание было разгромлено. Он тащил раненого Дана ночью в подвал в Трехгорном переулке, а на рассвете, с товарищами, вынес его в город из кольца семеновцев по Большой Грузинской...

«Все прошло, все умчалось в неизвестную даль. Ничего не осталось, лишь тоска и печаль».

Дан свернул в Дегтярный, остановился передохнуть.

Теперь они там, в Кремле, в ЦК, в ВЧК, в МК, а он здесь, прячется в переулке, под крылышком Берты.

Она придет из театра, приготовит фаршмак из воблы и гарнир из мерзлой капусты. Не так уж плохо живут актеры, меню — как у комиссаров. Натопят печь, и Берта сядет читать Вербицкую, евангелие либеральных дам. Вслух, будто репетируя сцену. «Самое главное в нас — наши страсти, наши мечты... Жалок тот, кто отрекся от них!.. Мы все топчем и уродуем наши души, вечно юные, вечно изменчивые, где звучат таинственные и зовущие

голоса... Только эти голоса надо слушать. Надо быть самим собой. Если вы утром целовали меня, а вечером желание толкнет вас в объятия другого — повинуйтесь вашему желанию».

Прежде чем раскрыть книгу, она берет браунинг, будто он так же необходим при чтении, как для Дана пенсне.

Спит с Даном и видит во сне барона Штейнбаха из романа «Ключи счастья».

Спотыкаясь по двору, Дан добрел до двери. Скрипят под ногами ступеньки, будто сам полумрак скрипит, и коридорная вонь скрипит — подает свой голос неотразимый быт гражданской войны. Почему у голода столько запахов?..

...Сегодня у них съезд. Будут решать вопрос о новой политике по отношению к середняку.

Всю свою историю социалисты-революционеры пеклись о российском крестьянине. А теперь? «Суждены нам благие порывы».

Они заседают, решают судьбу народа, а мы давим клопов в нетях. Где Мария Спиридонова? Где наш ЦК? Прошьян, Камков, Майоров, Саблин — где? Неужто Спиридонова, побывав в ЧК, решила умиротвориться? Стать Марией Мироносицей?

Дохлое дело Дану на них надеяться. Если и поднимут голову, то только ради мира с большевиками. Или как Троцкий в Бресте — ни мира, ни войны.

Дальше Дану с ними не по пути. Он выжил, с того света вернулся и видит в этом перст судьбы. Бейся. Надейся. Не кайся.

Но где теперь черпать силы? Москву уже не поднять. Была белокаменной, стала твердокаменной — пролетарской.

Надежда прежняя — на мужика, на российский юг. Там крестьянские армии, батьки и атаманы, которым сам черт не брат. И комиссары им не указ.

Казимир на юге. Крепким мужицким рукам нужна нацеленная голова, и Казимир свое дело делает...

Вот оно, его пристанище в старом московском доме. Берта ушла. Тихо. Потолок в трещинах, паутина в углу, окна мыли при царе-батюшке.

Пристанище перед атакой. Сегодня повысились наши шансы. Одним вождем стало у большевиков меньше. У них убыло, у нас прибыло — я выжил. И — «оружия ищет рука».

Завтра же Дан наладит связь с Казимиром. Пройдет неделя, пройдет другая, и Дан ударит в набат.

Глава вторая

Зябко дуло со стороны Страстной, Загорский мерз и плотней запахивал куртку, пытаясь согреть сердце. Комок за грудиной так и застрял с момента, когда в Колонной зале подняли гроб и тяжким звоном ухнул оркестр, разбивая остатки выдержки. Тут он словно потерял себя, увидел вдруг жалкого Луначарского, снятое пенсне перед его слепым взором, смятый платок в пальцах мелко дрожит, щеки мокрые, в бороде капли. Загорский машинально достал платок. «Нет, не надо, нельзя, держись!» Держался, пока не грянул последний марш, гордился — смерть не уничтожила, а утвердила Якова. Все было торжественно, величаво — похороны революционера, светлая печаль, высокая тризна. Смерть его не угробила, а вознесла. Но подняли гроб, зарыдал нарком — и уже не вождь скончался, а человек помер, друг детства, мальчик Яша с Большой Покровки. Загорский заплакал и стал слабым, не стараясь больше крепиться.

Впереди колыхались траурные знамена. Он смотрел на небо над грядой знамен, обыкновенное, вечное, с облаками и ветром, и прошлое всплывало само собой...

«Каким он был? — спросила вчера Аня Халдина.— Ведь вы его знали с детства». Он не мог ей ответить. «Потом скажу.— Посмотрел на нее, неудовлетворенную, ждущую, и неожиданно вывел: — Он был счастливым».

«Не дожил до двухлетия революции,— усомнилась в таком счастье Аня.— Надо бы сохранить его прах. Они своих сохраняют веками, а мы? Вон что говорит товарищ из Сергиева Посада...»

Ане семнадцать лет, и мир для нее поделен надвое: мы и они.

«Сохраняют веками». Мы тоже сохраним. Свое. На века. Каким он был, потомки будут знать лучше нас. Настоящее содержит в себе будущее, еще не осознав его.

А товарищ из Сергиева Посада просто-напросто боится мощей Сергия. «Аргентум предохраняет...»

А Якова больше нет. И смерть его, по мнению Ани, не назовешь геройской. Не на баррикадах она, не в бою, а в рабочих буднях. В голодных, холодных, кровавых буднях революции и гражданской войны.

Три недели назад он ездил в Харьков на Всеукраинский съезд Советов. Был здоров, деловит, бодр. Относительно, конечно, здоров, скитания по тюрьмам и ссылкам оставили след, легкие стали подводить все чаще. И тем не менее — деловит, бодр. Шутил. И смеялся. И говорил, призывал, решал. На обратном пути выступал в Белгороде, в Курске, в Орле. Почти на каждой станции поезд выходили встречать рабочие. Седьмого марта в Орле на митинге он говорил о конгрессе Коминтерна в Москве. Восьмого, уже дома, участвовал в заседании Совнаркома, затем еще провел заседание Президиума ВЦИК — готовил восьмой съезд. Девятого газеты объявили о его выступлении на открытии агитационной школы Союза молодежи — не верилось, что Свердлов не сможет, болен. А он уже не вставал.

В Орле на станции было холодно, ветрено, его даже в вагоне знобило, но на улице ждали рабочие, тысячная толпа, и Свердлов вышел. В легком пальтишке, подаренном по выходе из тюрьмы в Екатеринбурге местным либералом еще в девятом году.

В последние часы пропускали к нему только самых близких — Дзержинского, Загорского, Сталина, Стасову. В последние минуты пришел из своего кабинета Ленин...

Всю работу по подготовке съезда Яков взял на себя. Естественно, никто лучше его не знал кадры партии. Уже не в силах подняться, с температурой, он звонил по телефону, писал записки, давал распоряжения секретарю Аванесову.

Сегодня — съезд. Но прежде — гроб с его телом.

Не от пули умер, не от голода. Не на царской каторге и не в ссылке, а в Кремле, у руля революции.

И в то же время от пули — в грудь революции, от голода, валившего с ног людей по всем губерниям, от сыпного тифа на фронтах, в городах, на железных дорогах.

В июне ему бы исполнилось тридцать четыре года.

Мало прожил.

Но спел свою песню, а в народе говорят, хорошая песня не бывает длинной.

«Ты не щадил в борьбе усилий честных, мы не забудем твоей гибели, товарищ...» Когда это было? Семнадцать лет назад, в апреле второго года, в Нижнем Новгороде они идут за гробом Бориса Рюрикова, венок, черная лента, слова...

Шли вдвоем, а сейчас Загорский идет один, и прошлое перед ним ширится, подробностей все больше, все явственнее они, будто перед лицом смерти вновь захотелось проверить, а все ли верно, нельзя ли было иначе пройти свой путь, да и была ли возможность пути иного.

Была. Для меньшевика, эсера, для анархиста.

У Ани Халдиной впечатление, будто он умер в самом начале. Для нее летосчисление — с октября семнадцатого.

А для нас начало?

«Какой случай заставил вас пойти в революционеры? — спросила Аня однажды.— Мне это нужно для митинга».

Загорский улыбнулся: «Какой случай заставил Пушкина стать поэтом?» — «Арина Родионовна рассказывала ему сказки».

Если и был он, случай, так это случай самого рождения. В России. В Нижнем Новгороде. Наверное, со времен Стеньки Разина сам воздух в Нижнем был пропитан бунтом и непокорностью. Отсюда забирали на каторгу и угоняли в ссылку. И здесь сажали в острог, и сюда ссылали студентов, рабочих, всех, кто не хотел смириться. Пригоняли из Москвы и Петербурга, из Казани и с Кавказа, с дальнего запада — из Дерпта и даже из Сибири — из Томска. Ходили по рукам книги легальные и нелегальные и залистанные тетрадки рукописей. Имеющий уши слышит, имеющий глаза видит.

«Ведь была же конкретная причина, какая-то социальная несправедливость,— допытывалась Аня.— Другие почему-то не пошли».

Арины Родионовны были у многих, но не все стали поэтами.

А причина — она в старину была, причина, как на ладони: барин бесчинствует — холоп идет к Пугачеву. Но подучилась Россия грамоте, появились книги, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, да и вся русская литература стала совестью народной и болью, появились русские марксисты, Бельтов прежде всего,— и уже смешной стала прежняя связь причины и следствия: барин бесчинствует — холоп идет в социал-демократы.

Причина стала абстрактнее, а цели борьбы шире. Одна, к примеру, строка: «Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!» — заставляла трепетать сердца не меньше, чем факт произвола на твоих глазах. Боль за народ у нас была острее, чем боль за себя или за своих близких.

Много их было, причин, множество. И в то же время одна: жажда переделать мир, природная неудовлетворенность тем, что вокруг нас. А дальше уже действовала степень твоего развития — нравственного, политического, всякого, и от этого зависел твой выбор средств: красный петух, бомба или научная теория.

...С самого раннего детства они помнят похороны и похороны, аресты и казни. Горе взрослых врезалось в душу мальчишек, росло вместе с ними и призывало к отмщению. А единство за гробом призывало к единству в жизни.

Весной девяносто девятого сжег себя в тюрьме Герман Ливен, сын преподавателя кадетского корпуса. Закончил Нижегородский дворянский институт, поступил в Московский университет, умен, талантлив, занимался на нескольких факультетах сразу. Вместе с другими организовал кружок «Союз советов». Германа бросали в тюрьму несколько раз, наконец заточили в одиночку, и юноша не выдержал мытарств.

На его похороны пришел весь город. Жандармы не посмели разогнать процессию. Но когда студенты возложили венок с надписью на ленте из евангелия: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», последовал приказ убрать — бойтесь убивающих, страшитесь. Ибо нет для нас ничего святого, мы и на писание можем руку поднять.

«Каким он был?» — спрашивает Аня Халдина.

Диоген бродил в толпе с фонарем среди бела дня: ищу человека. Лукавил старец — ищу, тогда как следовало бы сказать: нет человека. А фонарь еще и добавлял: презираю, а не ищу.

А Яков искал, и в семнадцать лет нашел Петра Заломова, Десницкого, Ольгу Ивановну Чачину — тех, кто входил в самый первый комитет РСДРП в Нижнем.

Удивительно, Яков уже тогда разбирался, кто чего стоит. Он не верил садоводу Лазареву, и не потому, что тот яро уповал на террор (у него и кличка была Динамит), а по каким-то другим, одному ему ведомым признакам, которые словами не передашь.

В оранжерее Лазарева прятали гектограф, печатали листовки, садовод был активным подпольщиком, власть ненавидел истово, но Яков не признавал в нем достойного товарища. Спустя три года Динамит оказался на службе в охранке.

Но — спустя, а тогда все еще были вместе. Либералы, народники, социалисты. Гимназисты, реалисты, рабочие.

Вместе провожали Горького в ноябре первого года. Власти изгоняли писателя из родного города, но не было на вокзале ни печали, ни воздыханий. С песней, с лозунгами собралась толпа на Московском вокзале в Канавино. Падал чистый снежок, было белым-бело, сияли фонари, и у всех сверкали глаза и по-особому звенел голос, а на лицах было написано: «Мы едины, мы все — как один. Мы хотим свободы и счастья не в одиночку, а все вместе». Жандармы стояли на перроне, как памятники уходящему, и только глазами хлопали, видя не прощание в этих проводах, а встречу — со своей силой. А всем хотелось посвистеть возле них, поулюлюкать: спасибо вам, ражие, дюжие, пастыри наши бравые, мы уже не бараны. Труд сделал человека из животного, а трутни самодержавные делают человека революционером.

Поезд ушел, а толпа осталась единой, будто храня завет, и двинулась из Канавина в город, будоража песней тихие улицы, и не какой-нибудь «Соловей-соловей, пташечка», а боевой, малоделикатной и многообещающей: «И поднимет родную дубину».

В последний раз они были вместе на похоронах студента Рюрикова на Петропавловском кладбище. Борис Рюриков был посажен в тюрьму в Казани, освободили совсем больного, отправили в Нижний, он едва доехал, а здесь его снова в острог. Выпустили еле живого, он умер по дороге домой, в телеге. На гроб возложили венок: «Ты не щадил в борьбе усилий честных, мы не забудем твоей гибели, товарищ».

Секретарь комитета Ольга Чачина, библиотекарша из Всесословного клуба, бестужевка, предложила Якову не принимать участия в похоронах, не подвергать себя риску. Он уже и так был на учете в полиции. Яков не согласился, однако дал слово Чачиной сразу же после похорон скрыться. 5 мая к вечеру пришел к другу в Старо-Солдатский переулок, а друга нет, мать в слезах: «Была демонстрация, их били прикладами, Володя не стерпел, ударил пристава...»

Февраль семнадцатого Загорский встретил в немецком плену, Свердлов — в русской ссылке.

Увиделись они только в прошлом году в Москве. Из плена Загорский вышел, как в сказке,— по телеграмме наркоминдела Чичерина его назначили секретарем посольства в Берлине. Из оскорбленного и униженного «русиш швайн» он стал лицом неприкосновенным. Проработал там до июня восемнадцатого, вместе с Менжинским, а затем был отозван в Москву по решению ЦК. Прямо с вокзала поехал в Кремль на квартиру Свердлова.

Года не прошло. Но какой это был год!..

«Не дожил до двухлетия»,— говорит Аня. Что ж, что правда, то правда, не дожил.

Но была двадцатилетняя жизнь партии, без которой не было бы октября семнадцатого! И Свердлов жил и действовал в ней не только рядовым бойцом, но и членом ее Центрального Комитета.

Настоящее вырастает из прошлого. Сегодня съезд —

восьмой уже! И только второй при жизни республики. А ведь было еще шесть. Тогда нас погибло больше, чем в революцию. Но гибель каждого вошла в память и стала живой силой в других.

Мало прожил... Но почти двадцать лет он работал в партии большевиков под угрозой тюрьмы, каторги, виселицы,— нет, не стала его жизнь куцей. И свидетели его жизни идут за гробом, несут венки и знамена. И вдоль улицы стоят свидетели тех лет, скорбно обнажив головы, живые, все помнящие.

Загорский глянул за обочину, выбирая взглядом людей постарше, и сразу — знакомое лицо из минувшего. Кивнул ему, словно желая сказать: такие дела, товарищ, хороним. Без попов, без свечей и без ладана, как тогда. Как всегда.

Человек в ответ медленно снял шапку, из рукава высунулась костлявая белая рука. Светлые стриженые волосы, худое лицо в пенсне с большой дужкой над переносьем. Он снял шапку медленно, как во сне, и еще как будто винясь за смерть. Кто это?..

А процессия шла дальше, и Загорский шел в ритме с нею. Шаг, другой, третий. Галки, серое небо, Москва... И вдруг будто снова нырнул в прошлое и там увидел, узнал его — Дан Беклемишев, один из главарей мятежа. На три года осужден трибуналом.

Загорский обернулся — толпа как стояла, так и стоит, одинаково хмурая, неподвижная, но Дана там уже нет. Показалось? Может и померещиться. От усталости, от передряги последних дней.

Вряд ли. Привидеться может прежний облик, а этот новый — Дан постаревший. Острые залысины, острые уши блеклого Мефистофеля в пенсне.

На суд не явился, скрылся. И вдруг нагло вылез на улицу, и в такой час! Будто его амнистировали, простили.

Впрочем, Спиридонову выпустили, а уж главнее ее не было заговорщика.

Стало досадно — не узнал сразу, и, в сущности, врагу послал свой привет, пригласил разделить скорбь. И враг отозвался. Чем он занят теперь, на что надеется, не пора ли одуматься?

Спиридонова проявила себя как враг, это очевидно. Но очевидны и ее заслуги в прошлом, ее авторитет среди революционеров. Ее отпустили в надежде, что весь ход событий, сама жизнь убедит ее в неправоте своей в те июльские дни, и она, как человек деятельный, с огромной силой влияния на других, может еще послужить делу революции. Выпускать ее на свободу рискованно, но правительство республики проявило великодушие, предоставило Спиридоновой еще один, может быть последний, шанс.

И не только к ней было проявлено милосердие победителей. Никто из мятежников не сидит сейчас за решеткой. Блюмкин, убивший посла Мирбаха, работает в Харькове. Расстрелян только Александрович, самая зловещая фигура мятежа, палач, да объявлен вне закона сбежавший командир отряда Попов.

Имя Дана с тех дней Загорскому не попадалось. Зато попался вот сам Дан собственной персоной. «Тащи его на Лубянку, там разберутся».

Хоронить друга на глазах врага — еще одна суровая примета времени.

Но враг ли он теперь?

А если все-таки найти Дана, поговорить, переубедить, снять с него честолюбивую злость, позвать к себе, стойкие люди нам так нужны...

«Поговорить», «переубедить»... когда он чуть не с пеленок вскормлен на хлебах Виктора Чернова и Гоца.

Оглянулся еще раз — пусто, нет Дана. Провожает Москва. Трудовая, голодная, терпеливая. Многострадальная. Героическая. Всю зиму бушевал снежный циклон над Россией, над столицей. Занесло улицы и дома, особенно на окраинах — в Лефортове, в Сокольниках, в Си-

моновой слободе. Люди выбираются на свет божий, как из берлоги. Да и по центральным улицам ни пройти ни проехать — некому убирать.

Красная площадь. На кремлевских башнях все еще царские орлы. Некому их убрать, некогда. Колчак двинулся к Волге, весь Урал под его властью.

Часы на Спасской башне молчат, мертвые часы. Время царское остановлено снарядом красногвардейцев при обстреле Кремля в ноябре семнадцатого.

Длинная братская могила у Кремлевской стены. Сотни павших в те дни похоронены здесь. Последним на скрещенных штыках принесли рабочие гроб с телом дружинницы — красавицы, двадцатилетней Люсик Лисиновой.

Теперь вот — прах Свердлова.

Кто следующий?..

Бескровная революция — и кровавая гражданская война, в которой нет и не может быть тыла. Главный врач Москвы Обух доложил в Совнаркоме: смертность по Москве увеличилась за зиму почти вдвое. Голод, а с ним любая болезнь свалит...

Но жизни нет конца, работа идет, революция утверждается, и на съезд партии прибыли делегаты со всех концов. Почти со всех. Где-то в пути застряли делегаты из Туркестана. Заносы на путях, сыпняк на станциях. Декретом прекращено пассажирское движение на месяц — только для эшелонов с хлебом. Из Германии добраться легче, приехали спартаковцы. Как там поживает Курт Ремер, переплетчик из Лейпцига, где была штаб-квартира Загорского на Элизенштрассе?..

Могила, разрытое чрево земли, венки... «Если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».

Он добился, чего хотел, а хотел он — сгореть ярче!

Говорят, на Кавказе есть целые селения долгожителей, и секрет прост: люди заряжают один другого сознанием,

что умереть в семьдесят, восемьдесят, девяносто слишком рано, недостойно горца. Вот они и живут до ста лет и за сто, подражая один другому, так принято.

Не так ли и старые революционеры поджигали друг друга страстью, накаляли один другого огнем самопожертвования?

Жил бы он на Кавказе в каком-нибудь подобном селении, прожил бы в три раза дольше. И получилось: непрожитые свои сто лет он оставил другим — живите и помните мой завет и призыв.

Говорят: он исполнил свой революционный долг.

На долге ярко светить не будешь. Он жил по страсти. По призванию. Обреченный на подвижничество.

И потому умер счастливым.

«Надо бы сохранить его прах...»

Товарищ из Сергиева Посада просит дать киносъемщиков — заснять вскрытие мощей Сергия. «Житья нет от лавры. Она и на Москву влияет».

За нами следят и на нас воздействуют не только живые, но и те, кто давно отжил. Воздействуют всяко. Мощами, гробницами, усыпальницами. Мертвые оставляют задачи.

Каждый умирает в конце концов. Но — в конце каких концов? Есть секты, в которых от рождения и до смерти человек исполняет один завет: сделать себе гробницу. И чем роскошнее она получится, тем больше грешный преуспел в жизни. Смотрите, потомки, смертный для вас старался. Примерно жил и примерно строил — гробницу...

«Гробница серебряная,— волнуется товарищ из Сергиева Посада.— Аргентум предохраняет от микробов. А вдруг мощи целые?» Упрочится власть Сергия, поколеблется власть Советов.

Нетленные мощи Сергия диктуют свою задачу. А прожитая жизнь Свердлова — свою. Сердце Якова, преданное земле, станет частью земного шара.

Смерть его обязала нас. С ним уже не посоветуешься, не уговоришь его изменить решение, поступиться. Погибая, революционер становится еще сильнее и непреклоннее.

Смолк оркестр, и слышно стало, как кричат галки на куполах.

Дощатая трибуна, Ленин, каменное лицо и резкий более обычного голос:

— Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы...

Видно, что ему тяжело, слышно по голосу. Беда идет за бедой. Тринадцатого Ильич хоронил в Петрограде Елизарова, комиссара по делам страхования. Вернулся в Москву — умер Свердлов. Пришел к нему в последние минуты. Свердлов пытался привстать на худых локтях, виноватая улыбка сделала его лицо детским. «Извините, Владимир Ильич, не вовремя, но я постараюсь...» — а локти не держат. Ленин помнит, врачи сказали: опасно, инфекция. Ленин тверд, сентиментальность чужда ему, но не смог сдержаться, взял его руку в свою: «Не надо, Яков, лежи спокойно».

Делегат съезда из Питера заходил в МК, рассказывал — видел Ленина на Волковом кладбище. «Смотрю, несет гроб. Без шапки, а холодно. Идет, сутулится. Не вождь идет, а просто человек в скорби, как и все рядом. Елизаров — муж его сестры Анны Ильиничны. Семейное горе...»

Беды семьи, беды республики, недоступная для других высота забот, но не зря говорят старые большевики: Ленин велик в беде, могуч в минуту опасности.

«О чем говорил Ильич питерцам?» — спросил Загорский.

О том, что предстоящее полугодие будет тяжелее истекшего. Если мы не сможем удержать власть, значит,

завоевание власти было исторически неправомерно. И еще о буржуазных спецах: только утописты могут думать, что строить социализм в России можно с какими-то новыми людьми, которые будут в парниках приготовлены. Мы должны пользоваться тем материалом, который нам оставил старый капиталистический мир.

Положение в Питере хуже, чем в Москве. По городу около двухсот случаев натуральной оспы. Вместо хлеба фунт овса на неделю. Дробят в мясорубке, добавляют картофельных очисток, горсть отрубей и пекут лепешки. Наркомпрод Бадаев не ладит с Зиновьевым...

Четыре года назад депутата Думы Бадаева сослали в Туруханский край, в глушь, дичь, к белым медведям. Конец всему, жизни конец. А там Свердлов — за работу, товарищи, революция победит...

Голос Ленина звучал над притихшей площадью:

— Миллионы пролетариев повторят наши слова: «Вечная память товарищу Свердлову; на его могиле мы даем торжественную клятву еще крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся!..»

Утром на экстренном заседании ВЦИК он сказал о Якове: такого человека нам не заменить никогда. История давно показала, что великие революции выдвигают великих людей. Никто не поверил бы, что из школы нелегального кружка и подпольной работы, из школы маленькой гонимой партии и Туруханской тюрьмы мог выйти организатор, который завоевал себе абсолютно непререкаемый авторитет, организатор всей Советской власти в России...

Никто не был так близок Ленину в эти полтора года революции и республики. Петроград семнадцатого, Москва восемнадцатого, Брестский мир, мятеж эсеров — всегда и всюду Свердлов надежная опора Ленина.

«Каким он был?..»

Завтра он скажет Ане, каким он стал,— невосполнимой утратой для Ленина, вот каким.

Прощай, Яков. Ты не щадил своих усилий честных...

Ночью после заседания съезда, перед долгожданным сном в своей комнате в «Метрополе» Загорский взял часы со стола и перевел стрелки на час вперед. Весна, прибывает день, завтра нам будет помогать солнце.

Завтра — будет. Завтра — будущее. Оно вырастает из прошлого.

Облик Дана вырос в толпе за обочиной. Чего ради именно в такой миг? Что он сулит?..

Единство растет из прошлого, как и рознь тоже. И никаким жестом вроде кивка головой, невольного приглашения разделить скорбь, положения не поправишь.

Оба они, Дан и Загорский, свое место в Москве девятнадцатого выбрали еще тогда, пятнадцать лет назад.

Время сжалось, давно ли было — весна четвертого года, вокзал в Женеве...

Глава третья

Вокзал в Женеве, перрон, высокий молодой человек в крылатке, в каскетке предлагал пассажирам свои услуги по-немецки, по-французски, по-английски, затем чертыхнулся по-русски:

— Сегодня и на популярку не наберу!

Владимир приостановился, видя возможность заговорить.

— Что такое популярка, герр русишь, местная водка?

Молодой человек рассмеялся:

— Сразу видно, из России. «Водка». Не до жиру, быть бы живу.— Мельком оглядел приезжего — худой, лобастый, глаза темные с блеском. И совсем молод, беспомощно юн, хотя и пыжится. Из вещей — один саквояж.— Давно от родных осин?

— Месяца три-четыре.— Челюсть, однако, твердая.

— Откуда?

— Из Нижнего.— Баском сказал, гордо. Силы пока нет, но своего добьется.

— Сергея Моисеева знаете? — Спрашивая, он по-ястребиному бросал взгляды на перрон, высматривая добычу.

— Еще бы не знать! — обрадовался Владимир: сразу общий знакомый.

— Минутку, кажется, в мои сети жирный карась плывет.

Пассажиры схлынули, а с ними и носильщики разошлись, и на перроне остался картинный буржуй — в дохе, в цилиндре, с сигарой, с тростью, по бокам две девицы в соболях, возле ног гряда чемоданов, баулов, сумок.

— Могу вам составить компанию,— сказал Владимир.

— Отлично, идемте. Меня зовут Дан.

Они дотащили вещи до стоянки таксомотора, нагрузились так, что только в зубах ничего не было, и это позволило Дану заигрывать по дороге с девицами. Карась отвалил им пять франков.

— Много это или мало по здешней жизни? — прикинул Владимир, когда таксомотор укатил.

— По здешней жизни больше двух франков в день не заработаешь. Но если бросишь окурок мимо урны или не туда плюнешь, пять франков штрафу. Вы в университет?

— Нет. Мне на улицу Каруж.

— Поня-атно,— протянул Дан, еще раз значительно оглядел Владимира и сказал утвердительно: — Эмигрант.— И, чтобы не признаваться сразу, что и он такой же, ограничился пока намеком: — Рыбак рыбака видит издалека.

Так они познакомились с Даном. Популяркой оказалась студенческая столовая, где обед — восемьдесят сан-

тимов, ужин — двадцать, вместо завтрака — «Трибюн де Женев», газета. Выходит она, кстати, пять раз в день, и нет такой новости политической, бытовой, уголовной, которая бы не отражалась в «Трибунке». Эмигранты селятся в пансионах или в общежитиях-коммунах. Неплох пансион госпожи Рене Морар на площади Пленпале, тоже недалеко от Каружки. Госпожа Морар благоволит русским, плату берет божескую и на вопрос полиции, чем ее жильцы заняты, отвечает, что все они с утра до вечера читают молитвы, очень набожны, что не совсем верно, и круглый год постятся, что совершенно точно. Паспорта («башмаки» — босой на улицу не выйдешь, так надо понимать) здесь в ходу почему-то болгарские, можно купить на рынке за четыре франка. Заработок всякий — таскать вещи на вокзалах, разгружать вагоны, по городу тьма ресторанов, кафе, пивных, накормят, если возьмешься мыть посуду, бутылки, можно еще подстригать газон, давать уроки, чинить велосипеды...

— Нечаев здесь рисовал вывески,— закончил перечисление Дан.

— А вот этого монстра вспоминать не следовало бы.

Дана это задело — яйца курицу учат.

— У Нечаева были и положительные качества,— решительно возразил Дан.— Смелость, ненависть, страсть к разрушению. Личность отнюдь не слабая. И суд его над Ивановым — как посмотреть.

Да хоть как смотри на это диво, на это чудо подлости и бесчестия. Подделал мандат от имени Бакунина, явился в Москву, из отдельных пятерок создал «Народную расправу». «Наша цель — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». А для этого все средства хороши — шантаж, запугивания, провокации. «Временно даровать жизнь палачам царизма, чтобы они своими зверствами заставили народ бунтовать». Вот и все цели «Народной расправы», а для начала Нечаев рас-

правился со своим же — убил студента Иванова. Тот, видите ли, усомнился в целях и отказал Нечаеву в повиновении. «Суд над Ивановым — как посмотреть».

— Избавь меня от этаких судей,— сказал Владимир без особого яду, мирно — у них еще будет время поспорить — и сменил тему: — А откуда вы знаете Моисеева? По Москве?

С Сергеем Дан учился на естественном факультете у Тимирязева. Сергея выслали в Нижний за беспорядки после того, как забрали в солдаты около двухсот студентов в Киеве. А Дану пришлось эмигрировать, он замешан в подготовке теракта...

Они поселились под одной крышей. Дан рассказал новичку о Женеве, что знал, и коротко о себе. Владимир о себе тоже сказал в общих чертах — первомайская демонстрация, суд, ссылка, побег. И пока хватит, подробности потом. Он прибыл в Женеву, чувствуя себя несколько растерянным. До этого он побывал в Берлине, побывал в Лозанне, посмотрел, послушал... Было над чем призадуматься, было от чего растеряться.

Он переходил границу с надеждой на живое дело, полное отваги и риска. Эмиграция сулила не только спасение от ссылки, но и совсем другую жизнь, не только избавление от российской кабалы, но и саму заграницу, культуру, Берлин, Париж, Лондон, каких-то новых, значительных людей, новые содружества, а с ними и новые возможности борьбы. Заграница жила в его представлении как некое пребывание на несравненно более высоком уровне. И без помех. Там тебя не преследуют ни жандармы, ни шпики, ты недосягаем для них, а, к примеру, в Германии социал-демократы действуют легально, даже газеты свои издают свободно. Одним словом, заграница для него сейчас — это прежде всего свобода. От ссылки, а затем еще и все другие свободы: слова, собраний (один Гайд-парк в Лондоне чего стоит), действий.

Однако скоро ему пришлось убедиться, что помимо свободы «от чего» существует еще и свобода «для чего». Для чего ты избавился от ссылки, для чего ты можешь здесь говорить все, что думаешь, — для чего?

Сначала Берлин.

Сразу же стало ясно, что в Германии русским политэмигрантам живется туго: власти требуют вид на жительство, как минимум — губернаторский заграничный паспорт. Если он есть — живи, но опять же не забудь явиться в полицейский участок и доказать, что ты не станешь бременем для Германии и ее подданных, а для этого предъяви кругленькую сумму наличными или текущий счет в банке.

По слухам, такое же положение было во Франции, не легче и в Бельгии. Поменьше преследовались эмигранты в Англии, может быть, потому, что там вообще было тяжело жить: ни работы не найдешь, ни приюта.

А до Швейцарии добраться не так-то просто.

Русская колония в Берлине состояла в основном из студентов, среды Владимиру знакомой. Приехали они сюда легально, учиться, большинство из состоятельных семей, и каждый, как правило, считал своим долгом участвовать в революционном кружке. Разные были кружки, и о единстве, разумеется, не заходило и речи, поскольку истина многозначна и пути к ней неисповедимы. Особенно много здесь было сионистов, бундистов, поменьше эсеров и совсем немного эсдеков. Они входили в группы содействия, знали явки, собирали деньги, устраивали собрания и жили, как скоро убедился Владимир, по священному писанию: в начале было слово, все через него начало быть. Говори вслух, что думаешь, говори даже, не успев подумать, иначе другой влезет со своим словом и начнет самоутверждаться, говори, будто растет твой революционный стаж не годами борьбы, а за счет вот этих минут звучания на тему «долой» и «да здравствует».

Сионисты презирают всех одинаково, бундисты тоже, но особо эсдеков, ведь совсем недавно Бунд гордо покинул съезд РСДРП, заявив, что только он вправе представлять еврейский пролетариат и никакая другая революционная организация не должна вмешиваться в их дела.

Эсеры превозносят террор, «Дело второго апреля» — убийство министра внутренних дел Сипягина студентом Балмашевым.

— Вот подлинно революционное дело! — И запевают хором: — «Радуйтесь, честные правды поборники, близок желанный конец. Дрогнуло царство жандармов и дворников: умер великий подлец».

А что эсдеки?

— Параграф первый — это принципиально важно.

— Параграф первый — сущая чепуха. У Ленина генеральские замашки.

— А у Мартова обывательские нежности вместо революционного долга.

— Мартов энциклопедист! Он в уме перемножит пятизначные цифры быстрей, чем другой на бумаге.

— Пускай идет в цирк! Ха-ха!

— А что говорит Плеханов?

— Плеханов говорит: и корова ревет, и медведь ревет, и сам черт не разберет, кто кого дерет. Все это дрязги кружковой жизни.

— Потому Ленин и стоит за такую формулировку параграфа первого, которая бы из кружков сделала партию.

— Ленин централист!

— Плеханов вызвал Мартова на дуэль.

— Мартов поэт! Он написал «Туруханскую».— И тенорок заводит: — «Там, в России, люди очень пылки, там к лицу геройский наш наряд, но со многих годы долгой ссылки живо позолоту соскоблят. И глядишь, плетется доблестный герой в виде мокрой курицы домой...»

Вот именно, молодец Мартов. Все подхватывают и поют, Знать революционный фольклор — дело чести каждого.

Песня стихает, страсти гаснут, но не надолго, и снова:

— Мартов великий теоретик.

— Ленин — Робеспьер. Остряки так и называют его.

— Плеханов умница, говорит: не могу стрелять по своим.

— Господа марксята! Если революция пролетариата неотвратима, то призывать к ее содействию так же нелепо, как создавать партию содействия лунным затмениям. Так сказал Штаммлер в своей последней книжке.

— Что ему книжка последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет.

Осведомленность, зубастость, остроумие, бенгальские огни полемики становились для Владимира привычными. И все-таки удивляло: почему за меньшевиков большинство, а за большевиков — наоборот?

— Потому что беки по одному частному вопросу на съезде оказались в большинстве и за это ухватились.

Вполне возможно.

— Потому что большевиков здесь уже нет, все в России, на местах, делом заняты, а не болтовней.

Что ж, и такое не исключается.

Вначале он слушал их во все уши, речистые собрались, артисты, любо-дорого посмотреть, как они перенимают друг у друга жесты, позы, выраженьица, гремят цитатами из Герцля и Герцена, Бакунина и Некрасова, даже знают, что Зубатов за чаем сказал. Но все больше стало возникать ощущение, что он тут вроде как зритель, сторонний человек, они для него словно за стеклом, что ли, или как в синематографе Шарля Лемона — посмотреть и идти дальше по своим делам.

Но куда дальше? И по каким делам?

Он думал прежде: достаточно вырваться в Европу, как он окажется в монолитном строю единомышленников.

Куда там. Он никак не мог влиться в эту пеструю среду, она словно расступалась, и он оказывался в одиночестве со своими сомнениями. Никто ничего не искал, все уже что-то вполне определенное нашли, и теперь каждый отстаивал свою истину до хрипоты, желая уничтожить в споре того, кто еще ничего не выбрал или выбрал не то.

Ему же не хотелось спорить — почему? Нечего отстаивать?

Но ведь он не с луны свалился в эту среду, он из ссылки бежал, он в тюрьме сидел, под знаменем шел «Долой самодержавие!» и защищал его от жандармов. Так что не в стороне он, а в бороне. Но им нет до этого дела, каждый стремится утвердить свое. Долой-то долой, слава богу, что хоть это бесспорно, но у каждого свое «долой», каждому надо провести в жизнь именно свою тактику, да поскорее бы, лучше немедля, не то другие свергнут ненароком помазанника божия, тогда уже поздно будет проявлять себя, утверждаться и самовозгораться.

А самовозгорание напоминало ему несчастного Германа Ливена...

В Нижнем все, как будто бы, было ясно. Или просто он моложе был и не задумывался, что к чему, да и некогда было задумываться. Нельзя сказать, что все там дули в одну дуду, споров хватало, как-никак, народ собрался грамотный — студенты из Москвы, Петербурга, Казани и даже из Томска (нашли куда ссылать сибиряков — в Нижний, важнейший промышленный город, где из всех губерний самая высокая концентрация рабочих).

Были споры, но и дело было, и мыслей о выборе как-то не появлялось. Там он рос вместе со всеми, здесь вдруг почувствовал, что расти ему некуда, слишком велик выбор и нет ясности — куда же, в какую сторону?

А может быть, он уже вырос, уже заявил о себе и теперь ждет, когда его самого выберут обстоятельства, позовут, вовлекут?

Он жаждет программы, четкой, ясной, недвусмысленной — что делать?

Делать, господа, а не буесловить.

Все-таки поразительно, как они ловко, пылко, страстно раздергивают одну задачу, каждый готов знамя поднять, не щадя живота своего, только не мешайте ему. Все больше возникало ощущение, что они это знамя единое — «Долой самодержавие» — раздербанят в клочья, каждый таща к себе, желая поднять собственноручно, имея на то право, только не мешайте ему! Так думает один, но так же думает и другой, и он не только словом, он зубами тебя порвет, если кто-то не позволит ему утвердить себя.

Вожди массы — это хорошо, но когда масса вождей...

Временами ему казалось, все они на какой-то сцене, только нет зрителей, одни актеры, и он посреди них — статист, учится никак не научится произнести свой минимум, выговорить «кушать подано».

Однако где же зрители, кому все это предназначается? Неужто это и есть арена истории? Арена, сцена, а в сумраке зала, в туманных российских далях — народ. Слушает и ждет, чем же их лицедейство кончится, с усмешкой смотрит и с любопытством праздным, будто схватились между собой дьячки и дерутся в кровь, и все у них не по-людски — и одежда, и волосы косичками, и замах не тот, и матерки пресные, но подбадривает народ: «Давай-давай!» — пусть-ка они себя проявят и нас потешат, а мы посмотрим, мы что, мы народ, нам лишь бы хлеба и зрелищ...

Рослый белокурый красавец в серой тройке, устав от абстракций, развивает мечту конкретную:

— Окончу университет, женюсь на Гретхен — и прощай, немытая Россия, страна рабов... «Этого нельзя избежать, но можно презирать», говорил Сенека.

— Он имел в виду Гретхен.

Впрочем, мог бы и Владимир плюнуть на Россию, зачем она ему? В Нижний дороги нет, да и по другим городам и весям циркуляр разослан о его повсеместном розыске, вернись — упекут в Якутку, а здесь активно действует партия немецких социал-демократов, у них своя пресса, читай, учись и впрягайся в дело подготовки и проведения мировой революции. Она-то и вовлечет Россию, как некую часть мира, и все будет ладно и складно.

Так-то оно так, социал-демократия действует, но революцией здесь почему-то не пахнет. Как будто немцы уже добились если не всего, то во всяком случае многого и закрепляют достигнутое. Но их завоевания, да простит его немецкая социал-демократия, Владимира почему-то мало касаются.

Только Россия ему нужна! Именно там он давал клятву на всю жизнь вместе с Яковом: служить народу, все силы отдавать борьбе за его лучшую долю; страдать вместе с народом и для народа за его судьбу и счастье.

Но разве не все равно, где начинать революцию, если ты знаешь — всюду растет пролетариат, могильщик капитализма, и всюду звучит призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Почему бы ему не работать по соединению? Все нации равны, а перед лицом грядущей революции тем более.

Так-то оно так, но... куда денешь любовь к родине? Наверное, каждый жаждет прежде всего счастья своей любимой, а потом уже вообще всем...

Но лучше об этом помолчать, можно сильно себя скомпрометировать, прослыть шовинистом. Хотя ярый немец Ницше сам утверждал: Россия — единственная страна, которая имеет будущее.

А что говорит Маркс? «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Бродил-бродил и забрел наконец в Россию.

В России труднее, народ закрепощен крепче и нужда-

ется в твоей помощи больше, чем германский рабочий. Здесь — легче, там — труднее. Выбирая себе легкий путь, ты поступаешь неблагородно.

Российскому народу тяжелее, чем всем народам Европы. Представь: политэмигранты — борцы за свободу в Германии, Англии, Франции ринулись бы в Россию спасаться от своих правительств. Смешно подумать!

Не забывай, Россия еще и жандарм Европы.

А ты ее любишь... И чувствуешь себя здесь — на чужбине.

Здесь компромиссы и эволюция, там непримиримость и революция — таков характер нации. Неправда, что Россия сонное царство, спит вековечным сном, нет. Россия давно не спит, с тех пор, как рванулась из-под татар. Не могут сонные дать Разина и Пугачева, декабристов, Бакунина, народовольцев. Вешала бояр, жгла усадьбы, стреляла по царям, бросала бомбы — и казнила мятежных, рубила головы на плахе, гноила в тюрьмах, заселяла каторжную Сибирь. Слишком много крови и муки для сонных тетерь, жажды жизни, движения и борьбы. Покажи прокламацию — и с обеих сторон забурлит, заклокочет и самодержавие и народ. Безграмотная, дикая, лапотная Россия, но первый перевод «Капитала» — русский, чтобы нести его по стране на своем языке. Кровь и дрёма несовместимы.

Он вернется в Россию. Непременно.

Но прежде вооружит себя целью — зачем? Знанием вооружит — что делать?

В начале февраля добавила керосину в огонь весть: из Женевы прибыл агент Ленина. Собирается выступить на общем собрании русской колонии.

— Посмотрим на монстра.

— Послушаем, о чем говорят те, чья песня спета.

Здесь уже побывали сторонники Мартова, сразу трое, по пути в Россию. Они называли себя представителями

Центрального Органа и Совета РСДРП — солидно, звучно, убедительно. Успокоили собрание, сообщив, что подлинно демократическому крылу партии удалось завоевать законным путем место в «Искре» и в Совете партии, сохранить единство своих рядов, уберечь партийную кассу, двинуть лучшие силы на завоевание русских колоний. А Ленину ничего не остается, как эмигрировать за океан, в Америку, что он и намерен сделать в ближайшее время.

Мартовцы отбыли в Россию, чтобы о том же самом оповестить комитеты партии на местах.

И вдруг — агент Ленина. Казалось бы, не о чем говорить представителю царства теней, но публики собралось больше, чем в прошлый раз. Почему?

Допустим, любопытно, что собой представляет один из поверженных. Каковы намерения большинства, оказавшегося по воле истории в меньшинстве. Кто-то пришел просто из сочувствия к побежденным. А кто-то — из опасений перед взрывчатой силой тех, кто идет наперекор. Из любопытства к мятежнику. Наконец, дерзость сама по себе занятна. Он называет себя агентом, не страшась аналогий с агентурой охранки. Кроме того, глядя на смельчака, можно получить хоть какое-то представление о самом генерале. Скажи мне, кто твой друг...

Агент не друг, агент — исполнитель чьей-то воли. Он может быть просто пешкой. Ему говорят: сделай, и он делает. Передаточное звено в механизме, шестерня. Шестерка в карточной игре. Адепт. Светски выражаясь, поклонник. Нет такого движения, особенно в русской среде, которое бы не собрало приверженцев. Секты, партии, союзы, лиги, земства, землячества, конфедерации — нет такой шапки, по которой не нашелся бы Сенька.

Однако шестерку в игре выгоднее держать в масть с тузом.

Одна существенная деталь стала известной до его выступления — беглый каторжник из Иркутской губернии. Кандальник, не чета студентам, разбойникам фразы.

Он пришел не один, а с горсткой эсдеков, среди которых был известный в Берлине доктор Вечеслов.

Аудитория встретила их неприветливо, показным равнодушием. Владимир разглядывал агента, надеясь в его повадке увидеть какие-то черты Ленина. Хочет того или не хочет агент, волей-неволей он в чем-то передает своего вожака, подражает ему в жесте, в манере говорить, вести себя. Если он, разумеется, не платный агент, не материальный, так сказать, а идейный.

Прежде всего,— не юноша, за тридцать, облик зрелого человека, у которого шатания и поиски остались, надо полагать, позади. Горделивая осанка. Худощав, губы сжаты, видно, волевой. Очки и бородка, однако без усов, этакий шкипер в очках. Редко встретишь такое лицо, очки, как правило, обезличивают, придают книжность, интеллигентскую хлипкость, у этого же, минуя очки, прет смелость. Красивое, можно сказать, лицо. Человека, который ничего не боится. В том числе и общественного мнения. А оно здесь не в пользу Ленина, значит, и не в его пользу. Лидеры немецкой социал-демократии не признают большевиков. Карл Каутский так и заявил: Ленина мы не знаем, он для нас человек новый, только появился, но уже виноват — провалил выборы Аксельрода и Засулич, которых мы хорошо знаем. Роза Люксембург отрицает всякую принципиальную подоплеку раскола. Август Бебель вообще относится к русской партии, как к детям, которые учатся ходить и потому спотыкаются на каждом шагу. Одним словом, являться агенту Ленина в Берлин хоть к немцам, хоть к русским и собирать колонию было по меньшей мере безрассудством. О чем он, вероятно, знает и, возможно, потому держится несколько вызывающе, не ломает осанки.

Глядя на него, Владимир подумал, что и Ленин, скорее всего, в очках, с такой же шкиперской бородкой и так же строптив. Облик агента, повадка вызывали предчувствие, что он здесь напорется на протест, если не на скандал. Пожалуй, уж слишком он ничего не боится, слишком высоко себя держит.

Вопреки ожиданиям, он заговорил не о расколе на съезде и не о распрях в Женеве, а о событиях в России — о начале русско-японской войны и о еврейском погроме в Кишиневе. Сразу же стало ясно: об этом в Женеве, хотя она и дальше от России, знают куда больше, чем в Берлине, который ближе.

Он и говорил, как выглядел,— уверенно, четко, без пустых междометий. О задачах социал-демократической партии, о том, что должно объединить революционную молодежь, будто не знал, с кем имеет дело, за версту видно — собрались сионисты, бундисты, анархисты и бунтари вообще, по инерции, по обычаю. Он словно стоял над схваткой, не видел различий, будто не было никаких дрязг в Женеве, смертоносного для его партии раскола.

Когда заговорил о Кишиневе, слушали его в гнетущей тишине, видно было, факты погрома действуют на всех удручающе.

— Можно не сомневаться в том, что погром организован русским правительством. Натравливая одну нацию на другую, царизм стремится отвлечь народные силы от надвигающейся революции. Подлинные революционеры обязаны противопоставить пропаганду единства всех национальностей России в борьбе с царизмом под руководством рабочего класса...

Он предложил вынести резолюцию с осуждением погрома и призвал помочь пострадавшим. Сбор провели тут же, быстро и щедро отдавали последнее и эсеры, и эсдеки, и бундисты, и сионисты, само собой. Объединились наконец. Но атмосфера становилась все более нервозной.

Первым в прениях выступил сионист, колоритный, рыжий до красноты студент.

Кишиневский погром возмутил и взволновал всех, не было здесь двух мнений, но рыжему что-то почудилось — либо возмущение лицемерно, либо не все имеют на него право. Или ему показалось — кто-то недостаточно раскошелился.

Глухо, через душевную боль или злость, давясь словами, он начал:

— Мы выслушали... доклад представителя... русской революционной партии.

Почему русской? — российской. Среди эсдеков люди разных национальностей.

— Теперь они выступают с докладами в помощь евреям.— Возник недовольный шум, и рыжий, перекрывая возгласы, закричал: — А давно ли русские народовольцы сами призывали к погромам, видя в них революционное пробуждение народа?!

— Клевета!

— Провокация!

Рыжий сионист поднял над головой лист бумаги, как вымпел.

— Вот она! Не провокация, а прокламация! Вот что писали киевские народовольцы от имени своего Исполнительного комитета 30 августа 1881 года: «Еврейские погромы являются протестом...»

— Долой!

— Сионистский трюк!

— Фальшивка!

— «...протестом народа против эксплуататоров».

— Это возмутительно, прекратите!..

Сионистов вкупе с бундистами большинство, они орут громче:

— Молчать, черная сотня!

— Продолжай!

— Я к вам обращаюсь не как к евреям, а как к гражданам! — кричал агент, не сдаваясь.— Звание гражданина выше звания еврея!

Лучше бы ему помолчать.

Собрание взорвалось, пошли в ход кулаки, началась потасовка.

Распихивая дерущихся, Владимир пробрался к агенту, желая ему помочь, полагая, не за что его бить, агент говорил разумно, к тому же он сейчас в меньшинстве и ему может попасть.

Крики, гвалт, ругательства, уличная драка, хуже уличной, там хоть принцип улица на улицу, двор на двор, а здесь? Сионисты с бундистами — на поляков, на русских, на украинцев.

— Бей меня! Бей меня! — вдруг завопил рыжий.— Как в Кишиневе! Бе-ей! — Глаза стеклянные, ничего не видит, зашелся в крике, разодрал себе в кровь губы, рвет на себе рубашку.

— Замолчи-и!—К нему подскочил бородатый крепыш, озверело скалясь, тряся перед собой белыми кулаками.

Владимир метнулся к ним, оттолкнул крепыша — нельзя бить безумного,— чувствуя в то же время, что и сам вот-вот взбесится от всей этой первобытной мерзости.

— Полиция!..— наконец закричал кто-то благоразумный.

Скандал в благородном собрании. Приехали в Европу учиться, чтобы потом вернуться в Россию и сеять «разумное, доброе, вечное». Избавлять народ от невежества, пробуждать ненависть к угнетению, гасить национальную рознь...

Агент вскоре снова собрал всю колонию и призвал выступить против наглой, как он сказал, выходки министра иностранных дел Германии. Оказалось, что пока студенты выясняли отношения после скандала, агент вместе с Карлом Либкнехтом собрал сведения о российских

шпионах и сыщиках, орудовавших в Берлине (взламывали ящики с письмами, устраивали грабежи квартир с целью обыска), и уговорил Бебеля выступить по этому поводу в рейхстаге. «Да, мы следим за русскими студентами,— отвечал министр Бебелю,— потому что все они анархисты. А русские девицы, студентки, приезжают сюда только для свободной любви».

На собрании выступал Либкнехт. Приняли предложение агента: составить протест министру, перевести его на все европейские языки, разослать по газетам...

После собрания Владимир искал встречи с агентом. Хотелось поговорить. Его интересовали трое: Плеханов, Мартов и Ленин. Но агент исчез. Оказалось, берлинская полиция искала с ним встречи более активно, и агенту пришлось вернуться в Женеву.

Нужна позиция. Она была прежде — и растворилась в разноголосом хоре. Наступила некая пауза в его судьбе. Надо ее заполнить, а для этого ответить самому себе на простой вопрос: кем ты был, кем стал и — камо грядеши?

Он стал бунтовщиком с детства, не думая о том, нечаянно. Жил неподалеку от Старо-Солдатского человек лет двадцати пяти, не больше, но даже и взрослые называли его «дядя Павел из депо». Его все любили, потому что он все умел. Летний вечер на улице, мальчишки — в городки или в бабки, и чей-то крик, клич: «Дядя Павел идет!» Усталый, черный, ватага с шумом навстречу, окружают, передние пятятся, глаза его веселеют, лицо разглаживается, тянут его к городкам, ставят потруднее фигуру, «письмо», например, четыре чушки по углам, пятая посередке, подносят биту, и дядя Павел, улыбаясь, топчется, прицеливается, на биту посмотрит, на ребят, долго готовится, вокруг уже дышать перестали, а он все медлит, не хочется ему ребят огорчить, промазать, потом резко вскинет биту, застынет на миг — и в тишине со свистом

летит бита, залпом щелкают чушки, и все пять — с поля долой! «Еще-о!» — взрывается общий крик, но дядя Павел идет домой, его удерживают, и он бежит трусцой, детвора за ним, ловят за пиджак, держат, слышат запах машины, чугунки, дальних гудков, пространства. Дядя Павел бежит, стучат сапоги, и все бегут с ним вприпрыжку, крича и радуясь неизвестно чему, просто жизни и хорошему человеку...

Стучат сапоги, бежит дядя Павел, и уже не трусцой, а изо всех сил, а за ним жандарм: «Сто-ой!» С бегу прыгает дядя Павел на тесовый серый забор, жандарм с трех саженей стреляет, и так хорошо стреляет, как мог это сделать только сам дядя Павел. Но сейчас он застыл на досках, будто раздумывая, надо ли перелезать, раз такое дело: со стуком упал сапог, словно для облегчения, и рухнуло тело, длинно откинулось и головой — о булыжник с арбузным звуком. «Чевой-яй-сделал?! — закричал, завыл молодой жандарм.— Чевой-яй-сделал! Встава-ай!..» Мальчик шел из гимназии, за спиной ранец, тихо на улице, осень, ледок хрустит,— вдруг... Стоял, оцепенев, толпа набежала, загородила. Штаны, сапоги, галоши. «Что это?» — думал мальчик, и никто ему не мог объяснить. Ни мать, ни отец. Ни братья, ни сестры. Один ответ: бунтовщик дядя Павел — и всем все ясно. Всем, но не ему. Гремит в ушах выстрел, звенит крик, и не понять мальчику, что за страшная сила сделала одного убитым, а другого убийцей, почему и зачем? Должен быть кто-то третий — над ними, над всеми. Кто же? Что же? Другие этим не мучились, а он мучился и не заметил в себе перемены, другие заметили: бунтовщик!

Броское, емкое, бьющее: бун-тов-щик! Заряд звучит в этом слове, снаряд, да еще «щик» в конце — по горлу буржуя, по ребрам тирана щщик! — и вот она, свобода, воля, разогни спину, раб!

«Бунтовщик!» — и шарахаются от тебя в гимназии

маменькины сынки, замирают от страха и недоумения домашние: кого взрастили?.. «И песню громкую пою про удаль раннюю мою».

Если выразить задачу в двух словах, то: разрушить старое и построить новое. Легко ли?

Сначала разрушить. И не сожалеть о том. «Была без радости любовь, разлука будет без печали». Российское государство — это три це: царь, церковь, цугундер. А культура, наука, искусство, хлеб и розы, молитвы и песни — это народ. За что ему любить империю, за что жалеть? Пушкина сослали, Герцена изгнали, Чернышевского заморили, Толстого отлучили. Холопство, изуверство, пьянство. «Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал». Нет в империи такой обители, и потому нечего ее жалеть.

Но когда-нибудь «оковы тяжкие падут, темницы рухнут — и свобода вас примет радостно у входа...»

Он будет строить новую Россию, где в основе будут три эр: революция, республика, разум.

Их организация так и называлась: Нижегородская социал-демократическая. Рабочие говорили: молодежная, студенческая, и звучало в этом некое сомнение — вроде бы не слишком серьезная. Может быть, потому, что был еще и комитет РСДРП, взрослый, так сказать. Но и молодые и взрослые — все социал-демократы, и никаких таких особых разногласий между ними не было. У молодых больше страсти, презрения к мелочам, к предосторожностям, но тут дело не в программе и целях, а в темпераменте. Возрастной довесок. Объединились рабочие, объединились студенты и — никаких распрей. Рабочие устроили демонстрацию в Сормове, молодежь устроила демонстрацию в самом Нижнем под тем же знаменем — «Долой самодержавие!». Поднялись одинаково дружно. И зачинщики схлопотали тоже одинаково.

Там тогда не было между ними ни трений, ни расхождений.

А здесь — братоубийственный спор. Социал-демократы готовы сожрать друг друга. Почему, зачем?

Что ж теперь, если ты социал-демократ, то обязан ввязаться в драку? Бей своих, чтоб чужие боялись?

Хочешь не хочешь, а придется.

Но прежде надо принять чью-то сторону. Надо выбрать. А для этого надо знать, из чего выбирать. Разобраться, вникнуть, а тогда уже действовать.

«Мы столько можем, сколько знаем». Он знает Бельтова: «Найти скрытые пружины общественного развития — значит научиться содействовать ему, значит облегчить себе работу на пользу людей». Найти! Скрытые! — легко ли? Но надо. Ему уже двадцать один, он совершеннолетний, пора уже не жить попусту. Он никогда не был последней спицей в колеснице и, надеется, впредь не будет. Он займет место на переднем крае борьбы.

Какой борьбы? Мартова с Лениным? Этого он сказать не может. Не готов, не знает. И подсказать некому. Так что пусть самодержавие пока поживет спокойненько и даже понаблюдать может издалека, как они тут друг друга за грудки взяли да в каких словесах изощряются, златоусты.

Понять берлинское окружение несложно. В конечном счете они хотели стать врачами, присяжными поверенными, инженерами, литераторами. У них это пройдет — кружки, явки, витийства, как корь проходит, для него же борьба неотвратима, как призвание, как рок. Как сама смерть.

И Дана тоже можно понять с его террором, с его богами одномоментного действия. Бомбой, выстрелом достигается максимум впечатления, что и говорить. Людям не надо шевелить мозгами, напрягать внимание, чтобы понять: да, это сила. Было время, когда и на историю

смотрели только как на подвиги отдельных лиц, не замечая массу. Но так можно смотреть на историю только до тех пор, пока сама масса не поняла своей силы и своего значения.

Он хочет стать личностью, героем, он надеется стать таким. Обязан. Но не по заветам Ницше.

Героем, но не сверхчеловеком. Он не из тех, кто мнит всех других нулями, а единицею себя. Он марксист, следовательно: исторический деятель может проявить себя только тогда, когда сама толпа станет героем исторического действия, когда в народе разовьется самосознание. К этому и сводится роль личности в истории и твоя конкретная роль: развивать самосознание трудящихся.

В одиночку? Нет, вместе со всеми. В стане социал-демократов.

Но где тот стан?

На месте стана — арена драчки. Чтобы разобраться в завихрениях спора, надо попасть в самый центр циклона, в Женеву.

Если вернуться к мысли, что выбираешь не только ты, но одновременно и тебя самого выбирают обстоятельства, идет встречный процесс, пробный поиск, то в Женеве он уже, можно сказать, выбран «Искрой».

В Москве товарищи показали ему 29-й номер «Искры» за 1 декабря 1902 года. Он увидел свое имя в газете. Удивился, порадовался и тайком возгордился. «По нижегородскому делу двое оправданы и двое — Моисеев и Лубоцкий — лишены всех прав и ссылаются на поселение в места отдаленные. Все обвиняемые держались геройски, не только не отрицали своего участия, но и говорили речи, в которых открыто признавали себя революционерами и что таковыми всегда останутся».

Он признан «Искрой», главной газетой социал-демократов, он выбран «Искрой», значит, там его встретят как

лицо вполне определенное, как революционера, каковым он всегда останется...

И вот он в Женеве.

Знакомство с Даном, знакомство с городом, пристальное, дотошное — как-никак, это последнее заграничное пристанище перед рывком в Россию.

А история у города славная. Здесь Герцен и Огарев издавали «Колокол» под девизом «Зову живых!». Здесь состоялся первый конгресс I Интернационала во главе с Марксом и Энгельсом. Здесь основана первая группа русских марксистов «Освобождение труда» во главе с Плехановым.

Город своеобычный, средневековый и современный, романтический и бессердечный. Прозрачные воды Лемана, снежные вершины Савойи, в ясную погоду можно увидеть Монблан. Разноликий, разноязыкий люд, толпы приезжих, которые, однако, не в силах повлиять на давний характер города.

Пуританская строгость, воздержание и бережливость здесь высшие добродетели со времен Кальвина. Когда-то давным-давно, почти четыре века назад, молодой протестантский миссионер остановился на ночлег в городе-крепости, сначала удивил, а потом и порадовал горожан своей проповедью. Удивил тем, что вместо смирения провозгласил деятельность: «Полагайся сам на себя, и бог тебе поможет». А порадовал новой точкой опоры: твоя опора — в твоих доходах. Успешность твоих земных начинаний есть знак твоей угодности богу. А если говорить проще, новая вера без греха позволяла брать проценты при выдаче ссуды. Миссионер быстро нашел приверженцев среди горожан — через кошелек — и остался здесь до конца дней. Основал университет, кстати сказать. Обрел здесь свою судьбу и определил судьбу города, в котором «никто никогда не смеется», как сказал позднее Вольтер.

Высший свет Женевы — это владельцы банков (девиз

на фасаде: «Надежность и тайна»), часовых и ювелирных фирм, знаменитых на весь свет своими изделиями. Гостиничные династии. Старейшая в Европе биржа.

Слава Женевы росла за счет иностранцев. Здесь жили Байрон и Шелли. Поэма «Шильонский узник» еще больше привлекла внимание европейцев к этим местам. Здесь бывали Ламартин и Гюго, Лист и Вагнер, Флобер и Толстой. Вольтер здесь написал «Кандида», Достоевский здесь писал «Идиота».

Но не только поэтов и композиторов привлекала, утешала и спасала Женева. После Варфоломеевской ночи здесь нашли приют тысячи протестантов, бежавших из католической Европы. Собор святого Петра стал для них таким же символом веры, как для католиков собор того же имени в Риме.

После политических переворотов, авантюр, социальных бурь сюда стекались политики и торговцы, герои и отщепенцы, каторжники и коронованные особы. На гербе Женевы появилась женщина. Она протягивала руки пришельцу, и жест ее подкрепляли слова: «Женева — город-убежище».

Можно было подумать, появилось наконец-то на грешной земле пристанище для мятежных, гонимых и непокорных, земля обетованная...

Однако же не верится. И если вера крепка незнанием, то неверие, наоборот, от знания. Того факта, к примеру, что Жан-Жака Руссо, который родился здесь, Женева изгнала в молодости, предала огню его книги и до самой смерти не пускала великого женевца в «город-убежище». Так что ничто человеческое и Женеве не чуждо...

Из русских, пожалуй, один Кропоткин удостоился такой чести — быть изгнанным из Женевы. Однако если учесть, что во Франции с ним обошлись и того хуже, упекли в тюрьму на пять лет, то Женева обошлась с ним милостиво.

В начале века в районе улицы Каруж проживало около двух тысяч изгнанников Российской империи. Этот околоток с желтыми шестиэтажными домами так и называли Русской Женевой, а сами русские — Каружкой, на манер Покровки или Варварки.

Дан здесь прожил уже более двух лет и хорошо знал состав русской колонии — сколько анархистов, бундистов, эсеров, эсдеков, со многими был знаком лично.

С Даном они сошлись быстро. Владимир вообще быстро сходился с людьми. Естественно, первым делом разговор о принадлежности — ты чей? И если в России на такой вопрос следовал ответ: Иванов я, Сидоров или Петров, то здесь уже — из какого ты государства, из-под чьей короны, а затем уже и что исповедуешь, какие псалмы намерен петь, чьей программы, линии, тактики придерживаешься. Здесь своя родословная.

— Я социал-демократ,— заявил Владимир.

— Стаду марксят прибыло,— усмехнулся Дан.— Бек или мек?

— Хочу разобраться сначала...

— Значит, ни бе ни мек.

— А что бы ты предпочел?

Дан возмутился:

— Позор! Тюрьму прошел, ссылку, и все еще выбирает.

Да, выбирает. И «не все еще», а — уже выбирает, пришла такая пора. Появилась, наконец, такая потребность — думать, «читать связно евангелие чувств». Он уже зрелый муж, совершеннолетний.

— Но ты, наверное, не сразу пошел в эсеры.

— Я родился эсером. И эсером умру.

— Воля твоя. Хотя в двадцать пять лет («носится он с этим возрастом, как курица с яйцом!») пора понять, что террор устарел. Сипягина убили, а на его месте новый похлеще.

— Террор — это прежде всего дело, а не болтовня. «Дело прочно», сказал поэт, «когда под ним струится кровь». Наш орган — «Революционная Россия», а не какие-то там искры в ночи, то потухнут, то погаснут. Из-за свары. Кто из них тебя привлекает?

— Трое: Плеханов, Мартов, Ленин.

— Для начала губа не дура. Один из них даже мне импонирует.

— Твое великодушие безмерно. Кто же?

— Мартов. У него всегда есть свое мнение. Цитату любит, свободу ценит, подчиняться не хочет. Наш человек. А стрелять научим. Но Плеханов! Этому определенно грозит. На что Засулич, дама резвая, стреляла в Трепова, и та: «Смотрите, Жорж, они в вас бомбу бросят». К тому идет.

— А Ленин?

— Ленина сами эсдеки съедят. Его ненавидят, верный признак сильной личности, но не мой кумир. Брат его — наш брат, метальщик. И виселица для него лавровый венок. А Ленин — Старик. Не зря ему такая кличка дана. Не за лысину в тридцать лет, а за натуру, за постепенность, за тактику малых дел. Не хватает ему полета, романтики, грома, молнии. Осудил выстрел Балмашева, но наши дали ему отповедь.— Дан помолчал, больше вроде и сказать нечего.— Почему ты со мной не споришь, эсдек?

— Я бы и сам хотел знать почему.

— Надо тренировать полемическую находчивость.

— Опираясь на что-то.

— Ищи да пошевеливайся, а то на корню засохнешь...

Первым из троих Владимир увидел Мартова в кафе «Ландольт», где собиралась русская эмиграция. Никто его не представлял, не показывал: вот он, Мартов Юлий Осипович, Владимир его сам узнал сразу по тому особенному вниманию, которым был окружен этот худощавый, не

очень опрятный, лет тридцати двух-трех субъект с большими грустными глазами, ушастый, если не сказать лопоухий, словно гимназист после визита к парикмахеру. И глаза детские, ничего лидерского в нем, ничего лютого, если вспомнить, какую кашу он заварил на съезде,— да и он ли? Деликатный, мягкий, видно, покладистый. Сидел за столом и что-то писал, время от времени отхлебывая пиво из высокой кружки, писал и одновременно говорил, подавал реплики, должно быть остроумные, поскольку окружение сразу взрывалось хохотом, а он продолжал писать, запоздало улыбаясь, как бы спохватываясь: да-да, вы правы, это действительно смешно. Отхлебывал глоток-другой из кружки с несвежим осевшим пивом и снова к своим бумагам. Если герой Грибоедова говорит, как пишет, то о Мартове можно было сказать: пишет, как говорит, как дышит. Отрешенный и в то же время вовлеченный в стихию кафе, привычный, обыденный, будто здешний служащий. Другие придут, поострят, погалдят и уйдут, а он останется со своим пиджаком обвислым, набитым, как бювар, брошюрами, справками, выписками, и будет писать дальше. Владимиру он показался чрезвычайно симпатичным, доступным, с ним наверняка можно было сразу заговорить, и он не откажется выслушать и помочь, но подойти к нему мешал павлиний хвост приверженцев, они роились и прилипали к нему, как мухи к пролитому варенью. Их реакция на его остроты выглядела преувеличенной, бодряческой, слегка нервозной. Они как будто заряжали друг друга агрессивностью, лихостью перед схваткой с каким-то неведомым, невидимым врагом, отсутствующим, но существующим.

Во всяком случае, облик Мартова его обнадежил — это не позер, не авантюрист, а безусловно порядочный, честный, слегка замордованный российский интеллигент, и Владимир для себя отмел все слухи про него и сплетни.

«Мартов и Ленин друзьями были,— вспомнил он.—

Вместе начинали «Искру». Если учесть, что часто дружат натуры противоположные, то Ленин, видимо, совсем не такой. Но молва может преувеличить их тогдашнюю близость, чтобы подчеркнуть нелепость их теперешнего разлада. Что ж, посмотрим».

Ленин остается загадкой. Говорили, будто он тоже бывает здесь, в «Ландольте», но сейчас — совсем редко. Будто бы занят, пишет книгу о съезде, готовит, надо полагать, мину, и потому мартовцы подогревают свою боевитость, оттачивают мечи.

Плеханова Владимир встретил на улице Кандоль, неподалеку от его дома, он уже знал: каждый вечер Георгий Валентинович возвращается из библиотеки в одно и то же время. Первое впечатление — без неожиданностей. Именно таким он и представлял себе Бельтова, выдающегося марксиста, революционера, писателя. Если в облике Мартова было нечто кроткое, то в облике Плеханова — нечто неукротимое. Не слишком высок, но держится как высокий — осанисто и с достоинством, лицо умиротворенное, вдохновенное, как у хорошо поработавшего человека, и вообще в облике его — полная гармония между тем, что он утверждает в своих трудах, и тем, как он сам выглядит. При виде его как-то сразу отлетают выдумки, будто живет барином, занимает целый этаж, будто дочери его забыли русский язык, говорят только по-французски в присутствии людей из России, что, конечно, может обидеть. Даже если все так и есть, Плеханову-Бельтову Владимир прощает все за его умную прекрасную книгу, которая просветила многих, очень многих в России. Не может такой гордый человек окунаться в какие-то дрязги, он выше.

«Было бы болото, черти будут»,— вспомнилась вдруг фраза из его книги. Почему-то именно она вспомнилась, для противовеса, что ли. Конечно же, он не так прост, как Мартов, разница за версту видна, тем не менее

облик его вызывает безоговорочное уважение, и Владимир пойдет к нему не дискутировать, не разбираться в склоке, а с простой просьбой: дайте мне какое-нибудь дело, поручите, доверьте, пусть самое незначительное, но чтобы оно служило революции.

Но надо прежде добраться до Ленина. Отвести его, исключить.

Странно, что такой немалый и закаленный отряд эсдеков не может без него обойтись. Почему-то не может его игнорировать. Допустим, он что-то там сейчас пишет. Ну и пусть себе! Напишет, ему ответят, не впервой. Не было в свое время большего властителя дум, чем Михайловский. В «Отечественных записках» служил вместе с Некрасовым и как писал! Им зачитывались. Публицист выдающийся, что и говорить. Один из первых легальных марксистов. Однако же Н. Бельтов камня на камне не оставил от его построений, и закатилась звезда Михайловского.

Ленин по сравнению с Михайловским ничем себя не проявил. Или почти ничем. Разве что помешал единству социал-демократов, расколол съезд. Проявил характер, видать, недюжинный. Допустим, Дан прав, сильная личность. Но сила, как известно, еще не правда.

Справедливо ли выводить из Центрального Органа Павла Борисовича Аксельрода, первого русского социал-демократа, члена группы «Освобождение труда», умнейшего человека, к тому же больного, он лечится у Фореля, измотан десятилетиями эмиграции, ему уже далеко за пятьдесят...

Справедливо ли выводить из «Искры» знаменитую Веру Засулич, героиню, стрелявшую в Трепова. Вера Ивановна великая труженица, перевела на русский главные труды Маркса и Энгельса, работает не покладая рук. Она страстно любит Россию, тоскует по ней, дрожит над каждой весточкой оттуда, трепетно перебирает письма в

редакцию, чтобы лишний раз ощутить биение пульса русской жизни, и лишать ее такой возможности безнравственно. К тому же ей тоже за пятьдесят, нервная, курит, у нее больное горло, Мартов всячески за ней ухаживает, говорят, не расстается с ней.

Неуважительно отнестись к таким людям — значит попытаться перечеркнуть все самое передовое в истории освободительного движения в России.

Но почему Ленин-то сам этого не видит, не понимает, не чувствует? Ведь у него брат революционер, известный всей России казненный Александр Ульянов, казалось бы, семейная традиция должна верно его сориентировать. Да и сам он уже побывал и в тюрьме, и в ссылке, человек, надо полагать, в революции не случайный. Однако же перечит, противоречит всему и всем настолько упрямо и несговорчиво, что теперь сам факт существования этого человека вышибает из колеи политическую жизнь всей русской социал-демократии.

В кафе «Ландольт» Владимир вскоре увидел того самого агента, шкипера, который приезжал в Берлин и вызвал там скандал в благородном собрании. Тот узнал Владимира,— а ведь виделись мельком да еще в такой обстановке, посреди ералаша,— приветливо улыбнулся, чуть-чуть растянув губы, подал руку.

— Мне бы хотелось повидаться с Лениным,— сказал Владимир, решив без лишних слов сразу брать быка за рога.

Агент, однако, не спешил отозваться на просьбу, деликатно, осторожно, но все-таки как-то так взыскующе стал расспрашивать: а как вы здесь устроились, давно ли прибыли, откуда? Одним словом, старался прощупать, кто ты и что ты, будто к нему то и дело обращались с подобной просьбой, отбоя нет, и он вынужден фильтровать бесчисленных визитеров. Легкую его улыбку можно было понимать двояко: либо он доволен вниманием к своему

патрону, либо он не воспринимает всерьез намерения этого молодого человека. Либо сам Владимир стал уже тут страдать мнительностью. Во всяком случае, агент не спешил вербовать сторонников, а ведь их у него не густо, беков здесь, если верить Дану, десятка два-три, не видно их и не слышно.

— Давайте встретимся завтра,— наконец решил он, перестав улыбаться.— Здесь же, в три часа. Думаю, Ильичу будет интересно поговорить с земляком. Возможно, завтра же и пойдем к нему. Меня зовут Мартын.— Он помедлил в надежде, что Владимир назовет себя, не дождался, однако отступать не стал: — А вас?

— Владимир,— тоже помедлил,— Михайлович.— Фамилию не назвал. «Участник, сослан». А про демонстрацию в Нижнем вся Россия знает и вся эмиграция.

— Отлично, Володя, условились: завтра в три.

Наверное, от него и пошло — Володя, так стали его звать в Женеве...

Наконец-то он был удовлетворен. Вполне! Завтра — последняя встреча. И разговор прямой, беспощадный.

Пока в пользу Ленина говорило только одно обстоятельство, одно-единственное, но оно сугубо личное, настолько личное, что не каждому о нем и скажешь.

Владимир побывал в «Искре», как и хотел, как мечтал об этом на пути в Женеву. Трудно сказать, повезло ему или, наоборот, не повезло, станет ясно позднее, но ни Мартова, ни Плеханова он в редакции не застал. Встретил его гордый брюнет с чеканным профилем, хоть на монеты его, совсем молодой, самоуверенный, если не сказать наглый, и сразу заявил скромному пришельцу из России, что между старой и новой «Искрой» лежит пропасть. Можно было догадаться, что и между ними тоже. Получилось, Владимир со своими надеждами остался по ту сторону. Может теперь взирать на мир, ковыряя в носу.

— И моста через пропасть нет,— улыбнулся Владимир.— Сожжены мосты.

Брюнет фыркнул.

Спеть бы ему матанечку: «Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу, перекинь, милый, тесиночку, к тебе перебегу». Брунэт.

Если лежит пропасть, то, надо полагать, существует старая «Искра» как некая гора, твердыня, на равнине пропастей не бывает. Значит, остаются и старые искряки, и отделены они пропастью от этого артиста по имени Лев Троцкий, по прозвищу Балалайкин.

Его заявление, высокомерие сразу настроили Владимира предвзято, если не сказать враждебно. Как-никак, в старой «Искре» Лубоцкий назван революционером, а этот не читал или мимо ушей пропустил и теперь полагает, что достаточно одной только броской фразы насчет пропасти, как ты должен сразу за эту максиму ухватиться и ринуться сломя голову, как всякий, кто сердцем молод, в новую «Искру», живую и дерзновенную. Н-нет, милсдарь, спешить не будем.

И опять тупик. «Искра» потому и стала другой, что Ленин оскорбил прежних своих соратников, позволил себе резкие выпады против ветеранов, даже с Плехановым не мог ужиться.

Теперь Плеханов и Мартов пригрели в редакции Троцкого, хотя Георгий Валентинович возмущался его статьями: портят физиономию «Искры». Зато теперь есть кому дерзить и отвечать на выпады Робеспьера-Ленина, уж этот-то за словом в карман не полезет и деликатничать не станет. Тоже агент. Шестерка по масти с тузом. Даже с двумя сразу. Он неприятен Владимиру, но это не должно бросать тень на Плеханова, который, между прочим, сказал: вина за раскол в партии лежит целиком на Ленине.

Разговор предстоит серьезный. Владимир — свежий

человек в Женеве, не предубежденный, не вовлеченный никуда и никем, он, можно сказать, социал-демократ в чистом виде, вне фракций, вне группировок. И потому у него есть моральное право явиться к Ленину с упреком: что вы делаете? Кому на пользу? И в его упреке прозвучит голос многих социал-демократов из далекой России, которые вынуждены с огорчением наблюдать за свалкой здесь. Действительно, было бы болото...

— Завтра иду к Ленину,— объявил он Дану торжественно.

— А чему радуешься?

— Появилось дело: убедить человека в неправильности его позиции.

— А без тебя его не убеждали?

— Все здешние погрязли в склоке, у всех эмигрантские между собой счеты, он никому не поверит, а я человек со стороны. Мне легче убедить его.

Дан рассмеялся:

— «Убедить Ленина». Его топором не убедишь. «Человек со стороны». Настолько со стороны, что ни к тыну тебя, ни к пряслу. Я уверен, с эсдеками тебе вообще не по пути. Ты молод, не любишь пустых слов, жаждешь дела, но вцепился ты в этих теоретиков, как пес в онучу, в то время как здесь колоссальные возможности выбора.

— Вот я и выбираю.

— Не там, юноша, не там. Есть такая притча: вырос лев в овечьем стаде и не знал своих сил до того момента, пока ему не открыли глаза на его природу другие львы. Вот чего тебе не хватает — львов. Как видишь, я тебя высоко ставлю. А львов здесь предостаточно.

— Одного видел, Троцкого.

— Я тебе дело говорю! — вспылил Дан.— Здесь Кропоткин и Савинков, Чернов и Брешко-Брешковская, Махайский, на худой конец, а не только Плеханов да Ленин.

— Ян Махайский? — удивился Владимир.

— Он самый. Издал здесь труд «Умственный рабочий». Суть: надо вешать интеллигенцию, пока не поздно, как главного врага рабочего. Тоже эсдек, твой соратник. А что тебя так удивило?

— Я не думал, что на самом деле есть такой. То есть слышал, но... Хотя он и содействовал моему побегу.

Пришел черед удивиться Дану:

— Вы что, вместе были?

— Нет, но... так получилось.

И Владимир рассказал ему о своем побеге, коротко, выбрав главное. Рассказал комканно, испытывая неловкость от того, что пришлось то и дело повторять: я думал, я полагал, я не мог иначе, я, я, я — без конца.

Дан, слушая, смотрел на Владимира с усмешкой старшего, многоопытного, сначала слегка иронически, потом потеплел, в конце Дан уже улыбался, как милому детскому пустяку.

— Если ты намерен этим гордиться,— заключил Дан,— то позора не оберешься. Деньги — материнское молоко политики, заруби себе на носу. А ты, выходит, от них отказался принципиально. Я понимаю, движение чистой души, совесть и прочее. Все это мило, но старо и сопливо, мой мальчик. Это всего лишь жест, игра, которая чуть не стоила тебе каторги. Не советую тебе рассказывать таких историй.

«Таких историй», будто Владимир все это выдумал.

Почему-то чистая правда стала похожей на выдумку. Зря он все рассказал. Даже на пробу зря. Не попадет его история ни в какие анкеты, ни в биографию, не место ей там. Он и Дана попросит: забудь, Дан, мне все это приснилось. Или тебе, как хочешь.

Досадно — зачем делился? К сонному попу на исповедь не ходят. И дело даже не в сонном, пусть он бодрствует, но все равно поп, ему нужно соответствие катехизису. А что вне его, то от лукавого.

Дан словно угадал его мысли:

— Тебе, должно быть, известен «Катехизис революционера», составленный Бакуниным и Нечаевым.— И хотя Владимир кивнул, да, известен, Дан продолжал: — Революционер должен презирать общественное мнение. Он ненавидит нынешнюю мораль во всех ее проявлениях. Революционер должен увеличивать и множить пороки общества, чтобы вызвать озлобление против всех старых мерзостей. Революционер может пойти на любую подлость — с точки зрения обывателя, конечно,— и она будет оправдана интересами революции. Следовательно, ты поступил совсем не как революционер.

— Сов-сем,— косо усмехнулся Владимир, и голос его от обиды дрогнул.— А если бы ты... если с тобой!..— Не стал продолжать, не мог, сжал кулаки. Шел голодный, оборванный, боялся зверя, но ведь пересилил страх! Бросил вызов судьбе. Во имя чести революционера.

А рассказать некому.

«Должен увеличивать и множить пороки». Вон что мешает ему, видите ли, быть революционером — нехватка подлости.

— Катехи-изис,— презрительно выговорил Владимир.— Маркс по поводу таких твоих революционеров сказал четко: чтобы установить анархию в области нравственности, они доводят до крайности буржуазную безнравственность.

— Носитесь вы с этим Марксом, как с писаной торбой. Нет ничего бездарнее слепого подчинения экономии.

Владимир лишь усмехнулся победно. Он уже взял себя в руки. Не опустился до базарной перепалки: а что у тебя за плечами, Дан? Скаканул в Европу, ничего не пройдя, из-за подмоченного фейерверка. «Тер-а-акт». Нет, он выше личного оскорбления, он мужчина.

— Ты любишь цитату, Дан,— пожалуйста.— В голосе металл, звонкость: — «Чувствительные, но слабоголовые

люди потому возмущаются Марксом, что принимают его первое слово за последнее». Плеханов.

...Он зря рассказал, но поступок его не зряшный.

Не игра, не жест, а поступок. Своя поступь. Шаг в росте.

Глава четвертая

В теплый погожий день на исходе августа Лубоцкий косил траву в пойме речки Усолки. Помогал ему хозяйский сынок Дениска, если можно назвать помощью суету мальчонки, которому едва исполнилось пять лет. Кудрявый, чистенький, в новых портках, в косовороточке с петухами, белокурый мальчик из сказки бегал по зеленому лугу, время от времени подбегал к косарю, осторожно просил:

— Дядя Володя, да-ай покосить.— И услышав отказ, не обижался, лишь бы не прогнали совсем, бежал по лугу дальше, сгоняя бабочек, пугая перепелов и сам пугаясь, когда из-под ног с шумом вспархивала птица.

Мальчонка с первых дней привязался к Лубоцкому, ходил за ним как привязанный, готов был ночевать в его халупе. Вдвоем с дядей Володей они играли в бабки и в «чижика», и даже в городки. Мать его говорила: он у нас мудреный, потому что болел часто, мучался, обо всем судачит, как старичок, все знает, вот его на улицу и не тянет.

А Лубоцкий после передряг — тюрьма в Нижнем, суд, Бутырки в Москве, долгий этап — с удовольствием и сам предавался детству, заливал свинцом биту на зависть деревенским пацанам, срезанный им «чижик» взмывал вверх искрой, едва прикоснешься к острому кончику.

Бабки, городки, «чижик», но главной игрой было для них рисование и всякие самоделки. Дениска обожал ка-

рандаши, краски и обожженные до угля палочки. Еще зимой дядя Володя нарисовал Терзая и позволил Дениске взять уголек и бумагу. И Денис тоже нарисовал пса, голову, туловище, хвост и дюжину ног. «Зачем так много?» — удивился дядя Володя. «У тебя лежит, а у меня бежит,— пояснил Денис.— Лапами топ-топ-топ!» Дядя Володя рассмеялся, погладил Дениску по голове. «Молодец. Только карандаш, уголь, кисть надо держать вот так, кончиками пальцев, как цветок».

С тех пор, если дядя Володя уходил на весь день (нанимался то к одному мужику, то к другому), Дениска рисовал и рисовал на чем попало, хоть на земле, там, где пыли побольше.

Сестра Дениса Марфута, похожая на мать остроглазая девка шестнадцати лет, иногда принимала участие в их игре, но чаще смотрела на их забавы, скрестив руки у пояса, и посмеивалась, будто они оба маленькие. Дениска быстро обижался, толкал ее в живот обеими руками, приговаривая: «Иди, иди, не дразнись!» Он ревновал, чувствуя, что его старший друг меняется при Марфуте, начинает ее смешить словами, а она и рада, рот до ушей, заливается, шею свою показывает, как гусыня.

Дениска извелся, пока дядя Володя в день троицы рисовал Марфуту на большой бумаге. Расфуфыренная, в красном сарафане, она сидела на чурбаке возле плетня, притянув к своему плечу подсолнух с серой лепехой семечек в короне из желтых листьев. И все старалась притоптать лопухи, чтобы сапожки ее были видны.

Отец похвалил портрет, сделал рамку из кедровой рейки, взял бумагу под стекло и повесил портрет над кроватью, где спали Марфута с Дениской. Отец любил дочь, заботился о приданом — невеста ведь, берег для Марфуты расписную скрыночку, а в ней — бусы, серьги, кольца и золотой староверский крест с ладонь длиной, восьмиконечный. О скрыночке он вспоминал часто, хотя

и не нарочно, слова о ней будто сами срывались с языка, принося хозяину удовлетворение.

Бородатый, статный сорокалетний мужик, он был стражником, замерзал в тайге, и правую ногу ему отрезал уездный лекарь в Канске, сказав в утешение: «Во вред она тебе, Шаньгин, весь от нее сгнил бы».

Сам он беду свою объяснял коротко: «Ловили каторжника, бежал из этапной избы. Головни́к, убивец. А напарник мой совсем околел, Синегуб, не спасли...»

Называл он себя Яшкой на деревяшке, но другие звали Лукичом, кличка не приживалась. Мужик самолюбивый, упрямый, он хорошо приспособился к деревянной ноге, ходил на белку, на соболя, метал стога, рубил лес и в седле держался не хуже других двуногих, будто стремясь доказать, что хватит смертному и одной ноги, а вторая в обузу.

Любил выпить и пьяным заводил арестантские песни, особенно свою любимую «Прощай, этап, и дым привала, и ты, уснувший часовой. А я, мальчишка-каторжанин, уйду урманами домой». Пел протяжно, тоскливо, будто жалел, что не суждено ему стать мальчишкой-каторжанином... И все это — бывшая служба и утраченная по служебному рвению нога — давало ему особые права, как он сам думал, на любого преступника: убью — и все простят, и бог простит, и царь. За покалеченное тело, за инвалидность, за пропащую его жизнь.

Когда Лубоцкого привезли в этапной телеге к дому старосты и туда сбежалась вся деревня, Лукич первым предъявил свое право, причем в форме неожиданной — взял его к себе на постой добровольно. И все согласились, так оно и должно быть, кто, как не он, сумеет укорот дать? Во всяком случае, если бы ссыльного направили на чей-то другой двор, Лукич посчитал бы себя обойденным, значит, заслуги его перед царем-батюшкой ни во что не ставят.

А может, он просто-напросто грехи замаливал, и все знали, а если и не знали, так, наверное, этого ему желали.

Лубоцкого он звал не иначе как Бедовым — с первого дня, когда молча привел его на свой двор. Едва они открыли калитку, как Терзай, волчьего облика кобелина с вершковой шерстью на загривке, звякнул цепью, как выстрелил, на мгновение застыл, набирая свирепость, и пулей ринулся на пришельца, гремя звеньями и рыча, как сто чертей; и тут же короткая цепь будто дернула его за ошейник, Терзай подавился рыком, перевернулся через спину, взметая пыль, как лошадь, мгновенно вскочил и, уже ощущая и ошейник и цепь, заметался вокруг кола по кругу, задевая плетень так, что по плетню пошла волна до самых ворот, и горшки на кольях загремели, словно колокола. Лукич, однако, не бросился усмирять пса, не поднял голоса, даже залюбовался кобелиной яростью и мощью, которая будто дополняла и его хозяйскую мощь и намерение: смотри, дескать, своевольничать тут тебе не дадут. А поселенец побледнел пуще прежнего, губы в ниточку, одни глаза черные на лице, опустил котомку к ноге и — пошел на пса, встал столбом ему поперек дороги. Терзай с маху припал к земле в шаге перед ним, шерсть дыбом, желтые клыки ощерены. Лукич все стоял как завороженный, уже не только своим кобелем любуясь, но и придурью этого малого.

— Бедо-овый! — покрутил головой Лукич и рывком за плечо дернул Лубоцкого к себе, а иначе и нельзя было, если бы хозяин шагнул к псу, тот бы принял это за последнюю команду и порвал бы бедолагу в клочья.

Провел его в старую землянку с кустом бузины на крыше — когда-то Лукич сам в ней жил, во времянке, пока не отстроил дом,— и сказал:

— Живи тут.

Помолчал, потоптался.

— Какой тебе срок-то? — спросил, стоя у косяков, уже на выходе, боком к избе.— Года два-три?

— Пожизненно.

«Такому меньше и не дадут,— подумал Лукич.— А голос ломкий, дитё еще».

...Они косили с Дениской, дышали запахом свежего сена, слушали жаворонка в небе. Дениска резвился, гоняя бабочек, звонко голосил: «Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели, на полянку сели», а потом вдруг подбежал к дяде Володе и потянул его за рубаху.

— Глянь-ка! — сказал с опаской и показал пальцем на дорогу.

По дороге в сторону села уходила телега, виднелась желтая дуга с зелеными цветочками и согнутая спина возницы в рыжем армяке, а от дороги, направляясь к ним, шел человек в шапке и с сундучком на боку, явно чужой, нездешний.

Лубоцкий погладил мальчонку по кудрям:

— Не бойся, Дениска, это просто дяденька проезжий. Кваску попросит и дальше пойдет.— И продолжал косить.

Но Дениска не отходил, переступал рядышком вместе с ним по стерне и неотрывно смотрел туда, на пришельца. А тот шел легким коротким шагом, привычные к ходьбе шагают шире, размашистей, этот же частил, видно, ноги затекли от долгого сидения в телеге.

— Бог помочь, труженики! — Человек снял с плеча ремень, поставил сундучок на траву.

— Спасибо.— Лубоцкий отставил косу, приветливо глянул на подошедшего. Лет двадцати трех — двадцати пяти, чернобородый, крепкий, с крупными рабочими руками, из-под шапки торчат черные пряди. В теплой косоворотке из сукна, в темной потертой куртке, похожей на железнодорожную. На ногах сибирская обувь — бродни, прихваченные кожаным шнурком у щиколотки и под коленом. Выговор городской, «труженики» здесь не скажут.

Возможно, ссыльный из соседнего села. С правом передвижения по уезду.

— Позволите,— не спросил, а скорее разрешил себе чернобородый, снял шапку, положил ее на сундучок и сел сверху.— А ты, я вижу, нездешний, отрок.— И в тоне не столько вопроса, сколько утверждения.— Откудова?

— Нездешний,— отозвался Лубоцкий.— Как и вы. Мимоездом или к нам, в Рождественское?

— На «о» ударяешь. Из Самары или из Нижнего, я угадал?

— Угадали,— согласился Лубоцкий, однако уточнять не стал.

— Отца сослали, небось, а ты за ним, так?

Лубоцкий усмехнулся, покачал головой — нет, не так.

Последовало изумление:

— Самого, что ли? Сколько ж тебе годков?

— Хватило, как видите.— Лубоцкий насупился, быть этаким мальчиком для сочувствий ему совсем не хотелось.

Бродяга достал кисет из мятой кожи, протянул Лубоцкому. Тот жестом отказался и взялся за косу,— мол, вы можете покурить, а у меня дело.

— Да ты садись, я помогу, разомну затекшие члены.

Лубоцкий не стал упрямиться, присел в двух шагах от нежданного, пока на словах, помощника. Дениска сразу же пристроился у него между колен. На пришельца он смотрел с прежней настороженностью, как смотрят на чужих деревенские дети, и не без причины — их с пеленок пугают родители чужаками, бродягами, беглыми. Пока тот готовил самокрутку, слюнявил бумагу, проводил языком из конца в конец, готовил себе усладу, стояло молчание. Дениска следил за ним, раскрыв рот, и, чтобы не быть похожим, Лубоцкий поинтересовался:

— А вас каким ветром к нам?

— Попутным.— Закурил наконец, затянулся, выдох-

нул клубок дыма, лицо расслабилось.— Иду я из Тасеевской волости. Зовут —Тайга, конспиративное. Сам из Ростова, имел два года ссылки за забастовку в одна тысяча девятисотом году. А ты?

— Я из Нижнего. Имею побольше.

— Я понимаю, можно имя свое не говорить, фамилию и все такое прочее, но зачем срок скрывать, какой тут секрет, скажи на милость?

Курево на него подействовало, он стал благодушнее.

— Никакого секрета, пожизненно.— Лубоцкому не хотелось повторять это слово без особой нужды, как-то так получалось, будто он хвастает своим сроком.

— Ого, брат! — восхитился Тайга.— Оженили тебя, однако, а по виду не скажешь.— Тон его сменился с покровительственного на уважительный.— Что ж, есть об чем поговорить, надо поговорить, на-а-до.— Он воодушевился, найдя нежданно-негаданно собрата среди чужих здешних.

Да и Лубоцкому интересно будет узнать, как у них было там, в Ростове, чем люди жили, да и как было в Тасеевской глухой волости, как там наши живут, о чем говорят, на что надеются.

— Значит, всю жизнь здесь, на пятнадцать целковых в месяц?

— Нет, без пособия.

— Не понимаю. Административным полагается.

— У меня ссылка по суду.

— Я, видать, отстал, опять новость — по суду. Небось террор?

— Нет, демонстрация первомайская. Ну и... еще кое-что.— Лубоцкий улыбнулся.

— Уж поговорить, так основательно, а так, мимоходом, не стоит, конечно,— понял его Тайга.

И все-таки какая-то ненадежность была в его облике, в манерах, не мог Лубоцкий сразу ему довериться. Это-

му, возможно, способствовала настороженность Дениски, детская острая неприязнь, видно, передалась и Лубоцкому.

Даже в тюремной камере, под одной крышей, на одной баланде всякие могут быть люди. И поступки у них разные, и цели. Незачем раскрываться встречному-поперечному. Хотя здесь-то чего опасаться? Шпиков? Сколько же их надо плодить тогда, если даже там, в центральных губерниях, где не утихает брожение, их нехватка, вербуют из всякого отребья. Шпикомания там естественна, но здесь-то зачем? Для того и отправляют в Енисейскую губернию, чтобы с глаз долой и перевести око государево на другую жертву.

Видимо, просто парень не вызывает у него особой симпатии, бывает. Какой-то он нарочито простоватый, бесцеремонный, проломный, можно сказать.

А может быть, годика этак через два-три и Лубоцкий изменится? Станет таким вот развязным, самоуверенным, с прокуренными зубами. И с коротенькой походочкой...

И все-таки появление Тайги взволновало его. Даже тоска взяла, отвык он здесь за зиму от слов — тех, заветных. Вот сказал Тайга «стачка», и сразу застучало сердце.

— Вечерком перед сном и поговорим,— предложил Тайга.— Как с ночлегом?

— Я попрошу хозяина, думаю, не откажет.

— Ночи пока еще теплые, и у меня, как у зайца, дом под кустом. Лег, свернулся, встал, встряхнулся,— сказал Тайга вроде бы скромненько, но проскользнуло бахвальство, никак он не похож на кроткого зайчишку. Впрочем, он на этом и не настаивал.— Хотя я и не такой шут гороховый. Пока ни разу под кустом не спал, бог миловал. Бог-то бог, да сам не будь плох. Спасибо за приглашение, отдохнуть не повредит. Да и поговорить по некоторым вопросикам нам обоим полезно.— Он выразительно по-

смотрел на Дениску: — Тебя как зовут, мужик? Иваном небось? Или ты не мужик, а барин?

— Я не мужик, не барин, я мальчик! — горячо возразил Денис.

— Вижу, вижу. Сначала мальчик, а потом мироед.

— Нет, он хороший,— вступился Лубоцкий и погладил Дениса по напряженной спине.

Тайга докурил цигарку, тщательно загасил ее, вкручивая окурок между травинками, поднялся, отряхнул ладони, как после еды.

— Ну что ж, товарищ, за дело! — Снял куртку, не спеша, сложил ее вдоль, карманами внутрь, положил на свой сундучок с замком, поплевал на руки, взял косу, встряхнул ее пару раз, будто приручая, давая понять, что в другие руки попала и, значит, держись, коса, будет жарко.

— Косу надо вести равнобежно,— сказал Тайга, приподнимая лезвие параллельно земле.— Носок вровень с пяткой, чтобы она не клевала. Устаешь, конечно, быстрей, нужна выносливость, зато попусту меньше туды — сюды.

И зашагал размашисто, только коса влажно посвистывала, вонзаясь в гущу травостоя, посверкивала при замахе, и валки ложились пакетами, как на подбор.

Глядя на его ловкость, сноровку, стать, Лубоцкий подумал, что он и лес рубит с неменьшим умением, и пни корчует ай да ну, и в любой работе мастак. Плечи Тайги взмокли, волосы прилипли ко лбу, но он махал и махал азартно и жадно. Парень сразу вырос в глазах Лубоцкого, понравилась его умелость.

К заходу солнца, берясь за косу по очереди, они успели пройти гораздо больше намеченного Владимиром на сегодня.

Устали, выпили весь квас и пошли в село.

Лукич встретил пришельца хмуро.

— Мы с ним одного поля ягода,— сказал Лубоцкий предупредительно.

— Поля-то может и одного, да ягодки разные,— не согласился Лукич и спросил строго: — На сколько дней?

— Да на денек-другой, а понравится, навек останусь, женюсь на красивой девке, детей напложу, я охоч до энтого дела,— забалагурил Тайга и подмигнул Марфуте.

— Смотри мне,— угрюмо предупредил Лукич и перевел взгляд на Лубоцкого — дескать, мое слово и тебя касается. Может быть, он за дочь беспокоился? Что ж, не зря, Марфута так и постреливала на Тайгу синими своими глазами.

Они наспех поужинали в землянке Лубоцкого, после чего Тайга сбросил свои бродни, развесил портянки, закурил и начал круто, будто они только встретились на лесной тропе:

— Ты кто? — сурово так, устрашающе, упер руки в колени, локти фертом, такому невпопад ответишь — выкинет из избы.

Лубоцкий рассмеялся:

— В рай меня или в ад?

— Нет, ты мне всерьез давай. Кого ты держишься, Бакунина, Лаврова, Маркса, народник ты или ты без роду-племени, просто так воду мутишь, по молодости, по глупости.

Слово «молодость» стало уже для Лубоцкого той красной тряпкой, которой дразнят быка. Каждый старается досадить.

— Наша организация называлась социал-демократической. А ваша?

Тайга и ухом не повел на вопрос.

— Объясни мне, что такое социал-демократ, с чем его едят. Против кого вы боретесь, за что боретесь, какую цель имеете?

Если бы он не знал и хотел узнать — другое дело, но он знал, конечно, и хитрил непонятно зачем.

— Мы за свержение самодержавия,— терпеливо начал Лубоцкий,— за уничтожение всякой эксплуатации, за установление нового строя, где будет общественная собственность и широкая демократия. Достаточно?

— Значит, в главарях у вас Маркс, так?

— Если сказать точнее, марксизм. И не в главарях, а в основе.

— Во, правильно! А Маркс кто такой? Рабочий? Нет, верно? Буржуй? Тоже нет. А если не рабочий и не буржуй, то кто? Интеллигент, правильно? Да ты шевели мозгой, у нас ведь сходка, сидишь, глазами блымаешь.

— Допустим, интеллигент.— Лубоцкий мог бы сказать, что интеллигенция понятие российское, на западе его нет, но Тайге это не нужно, у него какие-то свои соображения, и пусть он ими громыхнет поскорей.— Дальше что?

— А дальше то. Пока я был в Ростове, забастовки устраивал, горло драл, «долой самодержавие, царя долой» и прот-чее, я был слепым кутенком. Да, да! — Бичевал он себя с восторгом.— И только здесь умные люди мне глаза раскрыли и я увидел правду-матушку. И тебе ее вдолблю с большой охоткой, потому что вижу в тебе себя тогдашнего, слепого кутенка.

Тайга живо затянулся, выпустил дым, поерзал на топчане, уселся, скрестив ноги.

— Все великое просто, заруби себе на носу. Все явления имеют два знака, ни больше ни меньше, только два, остальное от блудливого ума. Есть день и есть ночь, есть свет и есть тьма, есть орел и решка, мужчина и женщина, луна и солнце. И есть два люда на земле — производители и потребители, труженики и паразиты, рабочие и капиталисты, куда входит и ее величество интеллигенция. Она в тысячу раз опаснее любой буржуазии,

потому что грабит не открыто, а замаскированно, с помощью своих знаний.

Знания интеллигенции — это и есть средства производства, хитромудро скрытые от невежественных ручных рабочих.

Знания — капитал, и потому каждый интеллигент есть эксплуататор, паразит, трутень, объедающий трудовых пчел. И капитал этот наследуется с еще большей определенностью, чем любой другой. Дети интеллигентов уже никогда не станут ручными рабочими. Если помещик, фабрикант, купец может разориться, погореть, проиграться в карты, то знание никогда не пропадет, оно не подвластно ни огню, ни мечу, ни ценам на мировом рынке. Знания делаются наследственной монополией привилегированного меньшинства.

Таким образом, социализм, который придумала интеллигенция, опираясь на свой капитал-знание, есть чудовищный обман ручных рабочих, кормильцев мира...

У Тайги даже голос сел под тяжестью и величием откровения.

— М-да-а,— протянул Лубоцкий. Поразительно, с какой наглой логикой все у него поставлено с ног на голову. И так связно, черт возьми, даже интересно.— Социализм разрушает капитализм, освобождает рабочих, так или не так?

— Так, золотая у тебя голова, та-а-к. Разрушать-то он разрушает, да только для чего? То-о-лько для того, чтобы утвердить господство интеллигенции. А ручной рабочий как ишачил, так и будет ишачить, но вместо царя-батюшки и купчины толстопузого помыкать им будут интеллигенты, монополисты знания, всегда способные свихнуть рабочему мозги набекрень. Если раньше он видел свое рабство и боролся с ним, то потом он перестанет видеть и бороться, ибо рабство, скажет ему интеллигент, уже не рабство, а, наоборот, господство. Вникаешь?

— Ясно, пусть лучше царь, церковь, цугундер, там интеллигентов нет.

— Ца-а-арь,— передразнил Тайга.— А что царь, престол не вина его, а беда, он ему по наследству достался, как таксе кривые ноги. Логика есть?

— Есть логика, есть,— согласился Лубоцкий. «Мужик, что бык, втемяшится...» — Есть логика, только скажи, как твоя теория...

— Не моя! — перебил Тайга.— Наша!

— ...отвечает на такой вопрос. Для чего передовая интеллигенция стремится вместе с рабочими к свержению капитализма? Раз уж ей так хорошо живется, зачем ей социализм?

Тайга прямо-таки заликовал:

— Молодец, ай молодец, Владимир нижегородский. Ну прямо за ребро меня взял.— Он поерзал от предвкушения близкой своей победы, от сокрушительного своего ответа на заковыристый, казалось бы, вопрос Лубоцкого. Действительно, зачем ей, интеллигенции, рваться куда-то в дебри социализма от сладкой жизни? Зачем трутням что-то там ломать и переделывать для трудовых пчел? — А потому, мой Соломон премудрый, что капитализм мешает интеллигенции хуже всякого пролетария. С рабочего буржуй дерет ворохами, а интеллигенту платит крохами. Вот он и рвется избавиться от конкурента, похоронить его руками пролетариата, могильщика капитализма. И когда эту могилку выроют рабочие руки, интеллигенция тут как тут, уже у власти сама собой, потому что пролетарий по причине своей темноты не может управлять ни производством, ни обществом, ни государством. Вникаешь?

— Можно было бы поспорить с тобой,— сказал Лубоцкий в затруднении,— если бы ты перестал складывать аршин с пудами.

— Ты туману не наводи. «Аршин с пудами». Ты мне

доводы давай, спорь со мной, а то мне скучно лежачего добивать.

«Доводы». Любой посыл для него, что полено в печь, только жару больше для дурацкой догмы. Но ведь не сам же он ее выдумал, это не его, Тайги, самодельная теория, она накручена кем-то грамотным, выражена в понятиях, угадывается знакомство с марксизмом.

— Ладно, Тайга, память у тебя крепкая, ничего не скажешь. Не сам ты, конечно, выдумал, а наверняка интеллигенция помогла, узурпаторская, кровожадная, жарозагребательская.

— Тот, кто раскрывает глаза ручному рабочему, уже не интеллигент. Эта теория и это всенародное движение созданы известным Яном Махайским. Когда мы с тобой пешком под стол бегали, он уже был марксистом, но сумел пережевать его и пошел дальше. Он сидел в Варшаве, целых пять лет баланду гонял в «Крестах» в Петербурге, страдал в Иркутском централе. А где твой Маркс сидел? Нигде. То-то.— Тайга понизил голос.— Недавно Ян Махайский бежал из Александровского централа, теперь жди шороху. Первого мая в Иркутске вышла его листовка. Отзвуки по всей России. Его труд в двух частях отпечатан на гектографе.

Когда чья-то теория дополняется еще и трудной личной судьбой, то это уже серьезно. Вызывает сочувствие. А если теория к тому же ложная, то и опасно.

— Ты прав, Тайга, общество разделено на два класса, угнетенных и угнетателей. Но интеллигенция никогда не была классом, она не владеет средствами производства, не связана с определенной формой собственности, ее труд не является капиталом.

— Я тебе сказал, капитал — это ее знания.

— Интеллигенция с помощью знаний просто-напросто выполняет социальный заказ того класса, с которым связана по своему происхождению и положению.

Тайга сдвинул брови, наморщил лоб — искал довод.

— У нее не может быть своего идеала,— напирал Лубоцкий.— Она выступает как поставщик идеалов для буржуазии или для пролетариата. Идеал пролетариата вырабатывается при участии той интеллигенции, которая приняла точку зрения рабочего класса.

Тайга думал недолго, спросил:

— Все?

— Можно еще добавить, кому выгодно оставлять рабочие массы в темноте и невежестве.

— А кому выгодно забивать мозги рабочей массе? Махайский требует запретить свободу печати. Интеллигенция всегда переспорит, переубедит, охмурит.

— Значит, уничтожить интеллигенцию — и нет высшей цели?

— Есть. Нужна всемирная рабочая стачка. Только это сметет господство буржуазии с интеллигенцией. Задача дня: создать партию всемирного рабочего заговора, единую и неделимую. Никаких анархистов, народников, социал-демократов, только одна партия всемирного заговора. Что скажешь? Давай без Маркса.

— Две тысячи лет тому назад апостол Павел сказал: «Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням».

— «Апостол Павел». Ишь, паразиты, до чего умеют уши тереть. Ладно, я все понял.— Тайга грустно покивал бородой.— Ты смирился. Видал я такого революционера в Тасееве. Женился на челдонке, четверо детей, борода до пупа, от живого слова его косоротит. «Оставьте, кому все это надо? Одни благоглупости». Так и ты здесь — батрачишь на хромого живодера за три гривны в день и еще слушать меня не хочешь. Кем ты станешь тут через год-два? — поставил вопрос ребром Тайга.

— Через год меня тут не будет.

Тайга на него посмотрел с интересом, даже голову к плечу склонил:

— А почему через год? Выслуги ждешь, помилования?

Под потолком плавал дым, воняло махрой, портянками — Тайга развесил их по избе. Лубоцкий приоткрыл дверь, ему стало душно от вопроса Тайги — почему через год, почему не раньше?..

Еще в тюрьме Лубоцкий и Сергей Моисеев дали друг другу слово бежать при первой возможности. Иначе сам не заметишь своего оскудения, пропадешь, и ничто тебя не возродит заново.

Нет такого человека, который бы сам, по своей воле желал маразма, угасания всех порывов, это происходит само собой. А точнее, под влиянием окружения. И никакое самовоспитание тут не поможет. Был некогда меч, сверкающий, звонкий, острый, шло время, лежал без дела — и видят люди перед собой археологические останки...

Где-то в других местах политические живут группами, занимаются самообразованием, организуют чтение рефератов, вместе растят надежду, организуют побеги. Он же здесь один как перст. Сонная муха в сонном селе. За зиму научился стрелять, охотничать, бродить по тайге, за лето научился косить, пни корчевать, а рыбу ловить еще на Волге привык, что дальше? А дальше утешься песней: «Не быть мне в той стране родной, в которой я рожден, а жить мне в той стране чужой, в какую осужден». И если у других еще есть надежда на конец срока, то у него такой надежды быть не может, значит, что-то другое должно прервать его прозябание.

— А что ты сделаешь через год? — продолжал гнуть свое Тайга.

— Уйду.

— А зачем откладывать? Зима на носу, будешь тут

горбатиться за копейку в голод, в холод, ради чего?

Бежать как можно раньше надо еще и потому, что в Москве остались друзья Моисеева, студенты, они помогут. В Нижнем ему делать нечего, туда и носа не сунешь.

Он корил себя не зря — и зря. Потому что бежать без денег нельзя. Он их копил всю зиму, просил помочь свою добрую, отзывчивую матушку, и она выслала двадцать рублей. В семье кроме него еще два сына и четыре дочери, и все работают. При желании могли бы наскрести младшему некую толику, но желания нет, и причина проста — они боятся за него, не понимают, не верят в его дело. Отвернулся от прежней жизни, возжаждал новой — и получил ее, Сибирь пожизненную. И ничегошеньки в мире не изменилось, ни в Нижнем Новгороде, ни тем более на Руси великой. Сломал себе судьбу молодую, а жизнь как текла себе, так и течет, и никакие слова громкие и звонкие не повернут ее вспять.

Они боятся высылать ему деньги — сбежит сын. А куда бежать, если для него кругом силки да капканы? Уж лучше ссылка, чем каторга. А деньги верней потратить на хорошего адвоката, поехать в Москву, проторить дорожку к министру, какому нужно, авось и помилуют. Тем паче осудили его в порядке исключения, в приговоре особо сказано: «Несовершеннолетний Лубоцкий подлежит тому же наказанию, как совершеннолетние». Судил его не простой суд, не местный, а Московская выездная судебная палата. Погорячились другим в назидание, а теперь, должно быть, горячка схлынула, можно и помиловать неразумного. Лишь бы денег собрать побольше.

А сыну досадно, у сына свои доводы — столько лет прожили родители на белом свете, а ума-разума не набрались и понять не могут: не будет милости. Именно потому не будет, что царь-то видит, какую опасность представляет их младшенький в числе прочих. Сверху

видней, кто под престол роет, а матушке бедной невдомек, считает, сын ее временно такой непутевый, придет пора, одумается, остепенится, тем более якшаться не будет с такими неугомонными, как Яков Свердлов,— в пятнадцать лет из дому ушел...

А что, если не откладывать больше, уйти с Тайгой?

Лубоцкого бросило в жар, он уже знал себя, взбредет — не остановишь. А побег не одномоментное дело, нужна холодная голова. Для начала хотя бы перед Тайгой не подать виду, что уже готов, собрался и сам черт ему не помеха.

— А что ты посоветуешь, Тайга?

Тот, похоже, загорелся не меньше Лубоцкого. Если он теорией не спас заблудшего, пусть поможет практика.

— Собирай манатки — и айда! — решил Тайга.— Одному с тайгой шутки плохи, а вдвоем в самый раз, так все каторжники идут. Правда, иногда третьего берут, на мясо, но нам голод не грозит, харч возьмем у твоего хромого. План у тебя какой?

— Нет у меня плана.— Сейчас Тайге что ни скажи, он из принципа переиначит, лишь бы по-своему.— А что бы ты предложил?

— До Канска пешком, там на поезд и до Ростова. Добудем тебе паспорт и начнем освобождение пролетариата, рабов ручного труда. Принимаешь?

— Принимаю.— Лишь бы поскорее расстаться с Енисейской губернией.

— Сколько у тебя денег? — спросил Тайга.

— Рублей тридцать.

— Не густо.— Тайга непритворно вздохнул.— Один билет до Ростова рублей шестьдесят. Голова садовая, о таком простом деле не мог позаботиться!

Теперь можно выложить и свой план. До Канска пешком он согласен. Восемьдесят верст. Там сядут на поезд, согласен. Но ехать — до Красноярска. На билет

хватит. В Красноярске у Лубоцкого родственники, седьмая вода на киселе, но хоть как-то помогут. Относительно Ростова он ничего сказать не может, полагается на Тайгу. Если же отбросить Ростов, остается Москва, но и тут Лубоцкий не уверен, сохранились ли связи, может быть, студентов уже на цугундер взяли. Одним словом, после Красноярска придется действовать наобум. Хорошо еще, Тайге не нужен вид на жительство, он законно покидает Сибирь.

— Москва для меня закрыта,— сказал Тайга.— Давай будем держаться Ростова.

— Важно отсюда выбраться. На какой день назначим?

— То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра,— изрек Тайга.— Скоро белые мухи полетят, околеешь в бегах.

Все-таки судьба милостива, будто с неба спустился избавитель на нескошенный луг. Хоть и махаевец, но простим. О человеке судят не по словам его, а по делам.

— Тридцать целковых мало.— Тайга поцокал языком.— Пошевели мозгой, где взять еще.

Шевели не шевели, больше негде.

— До Красноярска хватит,— успокоил его Лубоцкий.

— Не имей сто рублей, а имей сто родственников. Ладно. Значит, так: с утра пойдем косить, честь по чести, к вечеру вернемся, на ночь — мое почтение.

— А не лучше сразу в тайгу, с утра? Пока хватятся, мы уже верст пятнадцать отмахаем. А то и двадцать.

Тайга напряг лоб, что-то прикинул,— нет, к вечеру они должны вернуться, успокоить хозяина.

— Он на меня и так косяка давит. А к ночи двинемся. Уговор такой: ты мне не перечь, не спорь, во всем подчиняйся. Я старше.

Лубоцкий не спал всю ночь. Казалось бы, надо думать о будущем, он же думал о прошлом. Ведь чуть не пропал

здесь! Какой же он был глупец, откладывал, все откладывал, прожил долгую зиму здесь и вот уже почти прожил лето — и все закатывал рукава. Так бы и другую зиму, и другое лето, и опять зиму... У него мурашки шли по спине от тревоги за себя вчерашнего. Стоял над бездной! И лениво позевывал. Захолустье засасывало, а он даже и не брыкался. Вот что значит остаться наедине с этой дремучей жизнью. Не замечаешь, как изо дня в день ко дну идешь. А охватит тревога, ты ее легко прогонишь: сбегу, дескать,— и дальше тонешь.

Хотелось прямо сейчас подняться и пойти, срочно наверстать упущенное. Об опасности он сейчас и думать не мог. В болоте увяз, страшней некуда, и не заметил бы сам, как пузыри пошли бы от его бурных надежд.

А еще с Волги, земляк Стеньки Разина, бурлацкая душа! «Буревестник гордо реет»! Дыхание перехватывало от страха — чуть не пропал, надо же!

Спал он совсем немного, но проснулся бодрым. Марфута уже подоила коров, шастала по двору, повязала красный в горох платочек в честь нового постояльца.

Поднялся и Тайга, позевал, почесался и зарядил свое:

— Ты мне не перечь, во всем подчиняйся. Я школу прошел, закаленный не только духом, хочешь знать, но и телом. Глянь сюда.— Тайга повернулся к Лубоцкому задом и быстро, одним движением стянул порты до колен — на белых ягодицах четко синела татуировка, портреты царя и царицы.— Для чего, как ты думаешь?— сурово спросил Тайга, пряча свою иконографию, затягивая очкур.— А вот как станут пороть, рубаху на затылок, штаны на пятки, а там — чета царская, божией милостью самодержец и самодержица. Никакой палач руку не посмеет поднять.

— Это у всех махаевцев так? — спросил Лубоцкий.

— А ты не ехидствуй. Снимут с тебя порты да высекут за спасибочки, а меня...

— Политических не порют, Тайга.

— А на Карийской каторге? Женщину до смерти засекли. А меня — пусть попробуют. Державные лики! Мы вольны душою, хоть телом попраны.

Чего только не понамешано в этом парне! За все хватается и все приемлет. Табуля раза — чистый лист, пиши что хочешь. Вот ему и написали и Махайский, и некий художник. Открытость и невежество, жажда знать — и вали все до кучи, без разбору хватай и хапай.

Марфута принесла им молока в долбленой миске и полбуханки хлеба. Расстелила полотенце на широком чурбаке посреди двора, поставила миску, положила две деревянные ложки. Постояла чуток, парни — как в рот воды, вильнула подолом гордо и ушла.

Тайга благоговейно накрошил хлеб в миску, обтер ложку о штаны и полез в молоко ловить набухший хлеб.

Не успели они дохлебать миску, как явился староста, при бляхе — по делу.

Лукич загнал Терзая в конуру, и, пока шел во дворе разговор, пес бился там, как в бочке, того и гляди случится по-писаному: «вышиб дно и вышел вон».

— Что за человек ночевал? — зычно спросил староста Лукича, делая вид, что на парней возле чурбака не обращает внимания.

И когда успел заметить? Поистине око недремлющее.

О старосте, степенном, крепком, с окладистой бородой — дохлого, безбородого никто и выбирать не станет,— с широким плоским лицом и припухшими глазками, Лукич говорил: «Мужик вумный, челдон настоящий, из донских казаков». Прежде Лубоцкий считал челдонов неким мелким народцем, что челдоны, что чухонцы — племя забитое, темное да холуйское. Но здесь говорят: челдон — человек с Дона, казачий потомок, аристократ своего рода. Лет триста-четыреста тому назад будто бы так их и называли полностью, а потом писаря по своей лености стали

сокращать «Чел. Дон», пока два слова не слились в одно по звучанию, как слились некогда «спаси бог» в «спасибо». Челдоны высоко держали свой гонор, не очень-то почитали поздних переселенцев из России, крестьян и ремесленников, ниже себя они считали и осевших по Сибири ссыльных и бывших каторжных, презирали их и называли всех одинаково — лапотонами.

Глядя на старосту, можно было не сомневаться, так оно и есть, с Дона человек, потомок Ермака. Лет ему под шестьдесят, все зубы целы, соболя бьет в глаз, а очки в золотой оправе висят на шнурке как довесок к бляхе.

Вовремя он явился к Лукичу, ничего не скажешь, себя успокоил, а заодно и Лубоцкого — был, проверил.

Тайга развернул перед ним бумаги, заблажил:

— Гляди-гляди, служивый, на зуб попробуй. Поселюсь туто-ка, женюсь, детей напложу, разбойник на разбойнике.

Тайга блюл бунтарский кодекс — подерзить, подергать за нервы всякого должностного, надуть, обмануть околоточного, стражника, старосту, судью, прокурора — всех.

— Зайдешь завтра ко мне, внесу-ка тебя в реестр,— сказал Тайге староста и ушел.

Пошли косить. Дениску не взяли, он надулся, вцепился в подол Марфуты, прося скандала, она щелкнула его по руке раз и два, Дениска заревел на весь двор. Слезы не помогли, дядя Володя ушел, как чужой.

Косили в две косы, добросовестно, говорили мало.

Вернулись в село перед заходом солнца. Небо ясное, вечер сухой, из тайги потянуло прохладой, завтра будет погожий день.

— Сорока на колу хвост расшиперила,— удовлетворенно заметил Тайга.

Слово «побег» они сегодня не произносили, старались все вокруг да около, хотя и не сговаривались.

Зашли в лавку, взяли штоф водки десятириковый на двенадцать чарок.

— Навестим хозяина, выпьем на дорожку, он крепче спать будет. Только ты мне не мешай,— попросил Тайга.

— Да чего ты пристал — «не мешай, не мешай»! В чем я тебе могу помешать? — возмутился Лубоцкий.

— Цыц! — наказал Тайга.— Слушай меня во всем!

Зашли к хозяину. Он и кислой браге всегда рад, а тут штоф казенной водки.

— Прозрачная, как слеза ребенка,— сказал Тайга с порога и со стуком выставил на стол четырехгранную посудину с коротким горлом и наклейкой сбоку.

Лубоцкий прежде пить отказывался, но сейчас Тайга вынудил его поддержать компанию. Он выпил чарочку, закусил капустой. Ему хотелось уйти, побыть одному, подумать, но — приказ Тайги, надо высиживать. Он молчал, замкнулся, лицемерить перед хозяином даже под чаркой не мог, и Тайгу это забеспокоило.

— А ты иди, иди,— неожиданно предложил он.— Мы тут без тебя управимся.— И пощелкал по штофу.

Лубоцкий ушел в свою избенку. Нетерпение все больше охватывало его. Скорее бы!..

Прибежал Дениска.

— Они теперь песни шуметь будут. Можно у тебя посидеть?

Лубоцкий погладил его кудряшки. «Прощай, Денис, вряд ли мы теперь встретимся...» Мальчик прижался к его коленям, соскучился по нему за день.

— А можно, я у тебя ночевать буду? Мне боязно, когда пьяные.

Шумно дыша, вошел Тайга, в бороде застряло колечко лука.

— Домой, домой, оголец, спать пора, мамка тебя ищет.— Вытолкал Дениса за дверь.— Значит, так: выходим поврозь. Поутихнет на улице, иди первым, в роще

возле речки подождешь. А я выйду, когда он под стол свалится.

И снова ушел к хозяину.

Лубоцкий оглядел свое пристанище. На подоконнике коробки с краской, кисти, рулон бумаги, на дощатом столике кружка, солонка, зеленая лампа с треснувшим пузырем, под топчаном горка книг. Нагнулся, достал Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Легальная, в Петербурге издана. Теплая, пухлая, оттого что листал часто. Вот ее он и возьмет с собой, остальное не трогать. Ушел будто сено косить, к вечеру вернется... Книгу, соли и побольше спичек.

Прикрутил фитиль лампы и в полумраке прилег на топчан, заложив руки за голову. Тишина... В такие моменты обращаются к богу. Слабые. А он сильный. И обращается к самому себе.

Жил он здесь — никаким. Обходительный, незлобивый, вежливый, говорил обычные слова — с Дениской, с Лукичом, с Терзаем, принимал рутину, и тянулась некая длинная песня без напева и ритма — так, бытовое-кормовое. А душа молчала. Принципиальны в быту и значительны люди мелкие, сутяги по преимуществу. Он среди них безлик. И обывателю не понять — он поглощен идеей: как человеку стать челом века...

Чернели стекла окна с крестовиной рамы. За окном ночь, утихает тайга, засыпает село.

Больше он не увидит ни Лукича, ни Марфуту, ни Анисью Степановну, ни Дениску. Он будет бороться и рисковать, но в Сибирь больше не попадет. Говорят: не зарекайся. Он же дает зарок: стать неуловимым.

«Средь мира дольнего для сердца вольного есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким идти!»

Пора.

Вышел во двор, прислушался — утихли голоса, не

слышно мычания скотины. Посмотрел на звезды — Большая Медведица повернула свой ковш к полуночи.

Вернулся в избу, перемотал портянки. Завернул в полотенце буханку хлеба, сложил в холщовую сумку. Туда же Бельтова, соль в бумажке, мытую картошку. Надел пальто и шапку.

Терзай загремел цепью, пошел к нему из конуры, стукая по земле тяжелым хвостом. Черт возьми, какая цепь у него гремучая, длинная, пока протянет, полсела разбудит!

Вот тебе первый промах — как выйдет со двора Тайга? Попортит ему Терзай царские лики, будет ему лазарет вместо Ростова.

Терзай помахивал хвостом, обнюхивал пальто, тычась носом. Лубоцкий крепко взял его за ошейник.

— Пойдем, Терзай, пойдем, дружок, помоги нам.— Подталкивая тяжелого пса, впихнул его в конуру и закрыл на вертушку. Терзай поскулил, поскребся и затих, будто выжидая, что дальше.

Вышел за калитку — а скрипу-то, скрипу! — осторожно опустил тяжелую, как лемех, щеколду.

Тишина... Захотелось сразу же, от калитки, скакануть в темноту — и на край села стремглав ринуться, пока не вышел Лукич. Стражник ведь, по привычке насторожен, чует. Куда, скажет, на ночь глядя, Бедовый?

Мягко ступая, легкой тенью, держась подальше от чужих плетней, чтобы не тревожить псов, он пошел по дороге, и не пошел, а поплыл будто по воздуху, пригибаясь к земле и вглядываясь, чтобы не бухать сапогом по колдобинам, не сотрясать ночную тишь.

В роще вздохнул наконец полной грудью. Вспотела спина. Снял пальто, сложил его валиком и умостился сверху. Поднял лицо к звездам — свобода.

Ждал Тайгу. Время остановилось.

А вдруг что-нибудь там такое по пьяному делу?

Лукич горячий. Но Тайга не должен бузить, знает же — момент ответственный.

А если сорвется?

Не сорвется. Обратно дороги нет. Если Тайга не придет к рассвету, Лубоцкий пойдет один. Точка!

Смотрел на звезды, ждал. Секунды тикали, стучали кровью в висках.

Прокуковал Тайга.

— Не хватился? — первым делом спросил Лубоцкий.

— Еще хватится,— злорадно пообещал Тайга.

— Он мне ничего плохого не сделал.

— Еще сделает! — сразу почему-то озлился Тайга.— Подбери свои буржуазные сопли. «Не сде-елал!» — презрительно передразнил он.— Иди, целуй его в задницу, стражника царского, революционе-е-ер.

— Ладно, не кипятись перед дальней дорогой.

Наверное, все-таки поскандалили, но мирить их уже поздно да и незачем.

Вышли на дорогу. Тайга понемногу успокоился, хмель стал выходить от свежего воздуха.

— Если что, не гоношись, не паникуй,— наставительно начал он.— Не беги за мной как хвост, а сразу в разные стороны и вперед по ходу. Побежим в куче, в куче и схватят.

Ночью они будут идти по дороге, а днем отсыпаться в тайге. И снова шагать. Днем по тайге, ночью по дороге.

Шли молча, ночные голоса далеко слышны. Тайга шагал уверенно, не смотрел под ноги, будто уже ходил тут. Шли бодро, споро, казалось, так и пройдут до самого Канска. Без остановки. Восемьдесят верст.

Полотно дороги местами прорезало взгорки, и тогда казалось, идут они по оврагу с откосами сажени по две, а где и больше. Откосы оплетены прутьями, кольями, выложены дерном во избежание оползней. Если что, вскарабкаться по ним нетрудно, а наверху сразу спаситель-

ная темень тайги. Попадется встречный между откосами — не разминуться. А ночью на большой дороге встречный вполне определенный — либо разбойник, либо жандарм, добра не жди, что тот, что другой вытрясут душу из бренного тела.

— Полторы тыщи шагов,— неожиданно сказал Тайга.— Верста.

Все-таки молодец Тайга, опытный, дал занятие Лубоцкому — считать шаги.

На рассвете, в сером легком тумане они свернули в кусты и легли спать. Около полудня проснулись, шли по тайге до вечера, перед заходом солнца еще вздремнули. Тайга четко соблюдал порядок.

Только на третий день Лубоцкий почувствовал усталость. Спотыкался, натыкался на сучья, исцарапал лицо о еловые лапы, но терпел. Натер ноги, но молчал, крепился, дабы не выглядеть в глазах Тайги слабее ручных рабочих. Пятки сначала жгло, потом стало саднить, покалывать, потом будто онемели пятки, боль перешла вверх и остановилась в зубах, и Лубоцкий держал ее, стиснув челюсти, не давая ей опуститься в ноги, ибо ногами надо спасать душу. А Тайга все шел и шел впереди, легко отклоняя ветки то рукой, то плечом, огибая кусты, выбирая пореже заросли, и одному богу ведомо, как он находил тропу. Лубоцкий уже не шел, а тащился, держа в себе одну простую задачу: идти и молчать. «Все это мне пригодится, боль, мука, ничто не пройдет бесследно...»

Под ногами кочки, корневища, тугое сплетение валежника, силки из сухой травы. Перед лицом хвойные лапы, колючие, немилосердные — ты их в сторону, а они, спружинив, снова к тебе, и он идет, как бычок, лбом вперед, надвинув шапку до самых бровей. Вчера перематывал портянки трижды, но всякий раз оказывалось, что зря, прежде было лучше. Потом садился и опять перематывал, лишь бы отдохнуть чуток.

«Терпи, казак!..» Будет Канск, будет поезд, крепкий сон в вагоне до самого Красноярска, двести с лишним верст, ноги будут отходить, отдыхать. Много им придется еще топать по разным путям-дорогам, а мозоли будут кондовыми, крепкими — из Енисейской губернии, из канской тайги.

— Все, хватит, спать давай! — сказал наконец Тайга и сбросил сундучок на траву. В два счета распутал бродни, размотал портянки и повалился на траву.

— Верст десять прошли сегодня,— сказал Тайга, зевая, но лучше бы промолчал — всего-навсего десять...

Лубоцкий положил голову на котомку и уснул сразу. Усталость снимает все — и радость побега, и опасность поимки, оголяет тебя от переживаний, от всех надежд и всех тревог, ты просто валишься в траву, как подпиленная сосна на порубке.

Утром, глядя на его растертые ноги, Тайга ворчливо сказал:

— Приложи подорожник. Ты его в глаза-то хоть видел?

Не только видел, но и применение знает. В Нижнем, бросив гимназию, Лубоцкий пошел работать в аптеку. Провизор любил травы. «Природа сильнее химии». Но стоит ли говорить об этом Тайге — лишний повод для обличений.

Тайга поднялся, быстро нашел продолговатые, с крепкими прожилками листы подорожника и подал Лубоцкому.

— Намотай, оттянет.

Пожевали хлеба с салом, пошли.

— Ближе к Канску тайга пойдет реже,— пообещал Тайга.

Они стали меньше таиться, переговаривались, молчание тоже изматывает.

От подорожника ногам стало легче. Мог бы и сам по-



заботиться, не ждать Тайги. Почему-то аптекарская служба не пошла ему впрок, он не помнил о лекарствах применительно к своим или чужим хворям. Он не готовился стать провизором, аптека промелькнула станцией для транзитного пассажира.

— Там, где совсем глушь, в Шелаевской или Выдринской волости, челдоны одичалые выходят на охоту за лапотиной, понимай, за нашим братом,— сказал Тайга.— Я уж не стал тебя пужать.

Значит, правда — охота за лапотиной до сих пор сохранилась? Он слышал об этой дикости в Нижнем, в детстве еще. Сибирь, каторга, кандалы, этапы, побеги — знать обо всем этом было знаком доблести для реалистов, гимназистов, студентов. Не помнить, где дом генерал-губернатора, забыть, что его фамилия Унтербергер, но охотно показывать, где жил Каракозов или где родился Добролюбов. Не засорять, не загаживать свою память самодержавным мусором, оставлять место для чистого и святого.

Володя и Яков хорошо помнили полукаменный двухэтажный дом дьячка Варварской церкви Федора Селицкого. Здесь живал Каракозов, он дружил с сыном дьячка Иваном, который учился в Петербурге и бывал в кружке Добролюбова. После выстрела Каракозова Ивана Селицкого забрали в Петропавловскую крепость. Были аресты не только в Нижнем, но и в других городах, расправа выглядела так, будто Каракозов перестрелял по меньшей мере весь дом Романовых, а он и в одного-то не смог попасть. После четырех лет крепости Иван Селицкий вернулся в Нижний с чахоткой и вскоре помер.

Знали они с Яковом и дом врача Серебровского на Острожной улице. Весной 1874 года там находили себе приют ходоки в народ. Закупали павловские изделия, висячие замки, кухонные ножи, всякую нужную в обиходе мелочь и шли офенями в Арзамас и по деревням. Опростившиеся, в зипунах, в портах, лаптях, грязные, обо-

вшивленные, с евангелием от Матфея на устах: «Воскресить богочеловека, и побороть человека-зверя...»

В том же семьдесят четвертом привели однажды к Серебровскому осанистого человека в костюме немецкого колониста. Он назвался доктором Николаевым, несколько дней прожил у Серебровского и успел признаться, что вдвоем со своим товарищем они ездили на Вилюйскую каторгу устроить побег Чернышевскому. Они уже успели соорудить маленькую крепость из бревен для укрытия, но побег не удался, их самих чуть не изловили, да вдобавок на обратном пути в глухой тайге встретили их охотники за лапотиной. Они убивали беглых без всякого предупреждения и обирали донага. Выходили с ружьями, в стволах жаканы, как на медведя, устраивали на тропе засаду. Тела оставляли зверю, отличались от дикарей в одном — не снимали скальпов. И никто их не судил за душегубство, не преследовал — как-никак, батюшке-царю подмога. При желании таких охотников можно и понять — беглые лиходеи, убийцы, черный люд, изголодавшись в тайге, нападали на селения и тоже не разбирались в средствах.

Почитают каторжных, душевные песни про них поют там, в России, на Волге, за многие тыщи верст, где их не видят, не знают, как они тут людей губят, голыми руками задушат, чтобы шкуру свою спасти. Живых свидетелей не оставляют беглые, только трупы. Потому ненавидят их здесь и боятся, пугают друг друга в селах былями и небылицами.

Из Нижнего доктор Николаев уехал с комфортом, в костюме судейского чина. Жандармы, выставленные с наказом «задержать колониста-немца в сером суконном костюме домашнего производства», козыряли Николаеву, и он снизошел, спросил одного из них: «А скажи, голубчик, был ли поезду второй звонок?» Тот пузо подобрал, глазами барина ест: «Никак нет, ваше высокоблагородие! Счастливого пути!» Через день в квартире Серебровского

при обыске нашли серые брюки доктора Николаева. На допросе Серебровского жандармский полковник между делом заметил: «Это князь, кня-азь, конечно...» В голосе его была сложная гамма — и досада на свою нерасторопность, и восхищение удальством князя и вроде бы даже благодарность ему за то, что посетил вверенную полковнику губернию и даже след оставил в виде серых штанов — ученый географ, философ, анархист, враг рода Романовых, князь Кропоткин из колена Рюриковичей.

Может, то вовсе и не Кропоткин был, но легенда жила, и на тех, кто пробовал усомниться, смотрели косо. Важен был не факт его биографии, а сам сюжет — еще одно свидетельство неукротимости, отваги, смелости и нашей, нижегородской, причастности.

...От Рождественского они все дальше, тревога задняя вроде бы улеглась, а тревога передняя — что там их ждет в Канске — еще не подступила, и потому путники на четвертый день почувствовали себя вольготней и опять заспорили. Лубоцкий пытался не ярить Тайгу, возражал осторожно, сводил на шутку, но тщетно: Тайга не имел и малой толики юмора.

— Значит, в Ростове первым делом достаем тебе паспорт и беремся за интеллигенцию.

— Твой Махайский тоже интеллигент, не так ли?

— Не мой, а наш! Учитель пролетариата.

— Раз учитель, значит, уже монополист знания. И знание свое превратил в топор — рубит сук, на котором сам сидит.

— Правильно, голова два уха, он себя не щадит. Ты вот мне лучше скажи, что такое свобода совести?

— Как хочу, так и ворочу — свобода! — прикинулся простаком Лубоцкий.

Тайга рассердился:

— Все шутки шутишь. Я тебя сурьезно спрашиваю: как ты понимаешь свободу совести?

Сам-то он доподлинно знает, но этого мало, важно, чтоб и напарник не колбасил, а для этого он должен высказаться. Если его занесет, Тайга тут же выправит его кривую линию.

— Свободу совести я понимаю так: каждый гражданин земли...

Тайгу перекосило:

— Что еще за гражданин земли?!

— Человек, я хотел сказать.

— Так и говори: человек!

— Просто человек, обыватель может быть и бессовестным, а гражданин не может.

— Ну болтуны, ну словоблуды, ну крохоборы! Человек — это человек, мера всех вещей, понял? Кандехай дальше. Нет, сначала давай: каждый человек... дальше?

— Имеет право поступать так, как ему велит совесть: ходить в церковь или не ходить, почитать бога или не почитать...

— Все?

— Признавать Махайского или послать подальше.

Тайга взвился, направо зыркнул, налево, яро ища, чем бы таким суковатым вразумить своего подопечного. Вздохнул, негодуя, отложил расправу на потом, сначала просветить надо.

— Ты забыл главное. Наиглавнейшее,— размеренно начал он.— Что именно? А вот что. Пролетарий во имя свободы совести обязан отвергать буржуазные предрассудки. Ты не можешь их отвергать, у тебя, чую, гнилое происхождение. Оно не позволяет тебе принять Махайского. Буду над тобой работать.

Шутить он не собирался.

— Головой будешь работать? — подсказал Лубоцкий.

— Головой. Мыслями.

— Значит, ты не ручной рабочий, а умственный. Хочешь силой своего могучего знания закабалить меня.

— Не закабалить, заполнить твою пустоту.— Тайга постучал согнутым пальцем по своему лбу.— А теперь скажи мне, что такое экспроприация?

Не признавал Тайга интеллигенцию, презирал знания, но то и дело старался показать, как много знает, все такие-этакие словечки научные разобрал и усвоил. А для чего, спрашивается? Для того, конечно, чтобы бить врага его же оружием. Пролетариат, как известно, ничего, кроме цепей, не имеет, поэтому оружие он должен позаимствовать у враждебного ему класса.

— Может, хватит, Тайга? Нам что, больше делать нечего, как забавляться терминами?

— Это не забава! — убежденно сказал Тайга.— Для тебя это имеет наиважнейшее значение. Именно сейчас. Что такое экспроприация, я тебя спрашиваю, ну?

— Отчуждение фабрик, земли, заводов, средств производства...

— Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова,— перебил Тайга.— Начина-а-ет от сотворения мира. Ближе к делу.

— Изъятие ценностей, банковских средств для нужд революции.

— А у кого? У кого изъятие? У буржуазии, голова два уха.

— Естественно, у пролетариата же нет ценностей и банковских средств.

— Лишний раз помянешь буржуазию как врага, она больше трепетать будет.

— Одни слова лишь сотрясают воздух.

— А у нас не только слова, не только,— заверил Тайга. И оборвал тему: — Давай жрать картошку.

Не есть, а именно жрать, еще один удар по врагу.

Не надо на него брюзжать, Лубоцкий. Не будь Тайги, ты бы и сейчас дремал в Рождественском. Жизнь Тайгу поправит, когда он от слов перейдет к делу. А сейчас

важна солидарность, порука, потому он и злится, когда ты перечишь.

Тайга выгреб из золы картофелину, покатал ее по траве, обтирая сажу, затем острой палочкой поддел ее, как на вилку. Лубоцкий проделал в точности то же самое под контрольным взглядом Тайги.

— Через день будем в Канске,— пообещал Тайга.— А сейчас дрыхнем.

Проспали они почти до полудня. Тепло, солнце, птахи чирикают. С дороги донеслись голоса, стук колес. Ближе к Канску дорога ожила — чугунка близко.

Просыпаясь, Тайга всякий раз долго зевал и чесался, скреб ногтями за пазухой, скреб поясницу, спину, задирая локти до ушей и приговаривая: «Не одна меня тревожит, сорок на сорок помножить». Лубоцкий поежился — может, и у него?

— Да ты не боись, не боись,— успокоил его Тайга,— это меня один политкаторжанин научил, самомассаж называется.— Еще почесался, покряхтел и приказал: — Давай ложись так, чтобы пятки на солнце были. Голые. Ложись, тебе говорят!

Лубоцкий лег на живот, задрал пятки в ожидании еще одного открытия.

— Если потом кто спросит,— не спеша, рассудительно продолжал Тайга,— что ты делал в ссылке, в дремучей Енисейской губернии, то ты скажешь: лежал на солнышке да пятки грел. Полное право имеешь.— Тайга лег на спину, закинул ногу на колено, выставив к солнцу желтую пятку.— Никакая буржуазия не заставит страдать пролетарскую душу, понял? Везде будешь говорить, если спросят: лежал на солнышке да пятки грел, тики-так...

Они идут уже пятые сутки. Ноги привыкли, не болят, и вообще тела как будто нет, одно ожидание — завтра Канск.

В Рождественском наверняка хватились, погнали нарочного в уезд. На вокзале их могут ждать, нужна предельная осторожность.

Но Хромой может и промолчать, мужик упрямый, если решит не доносить, то и не донесет. «Сам знаю, чево мне делать, а чево не делать». Но с какой стати станет он покрывать беглых?

Ладно, прочь страхи, ко всем чертям, надо верить в успех!

— В каком классе поедем, Тайга? Хочу на диване спать, на пружинах, разлюли малина!

— Не загадывай,— проворчал Тайга. Он шел впереди, прокладывал, можно сказать, светлый путь, а Лубоцкий, иждивенец, блажил.

— Не бойся, Тайга, я не верю в приметы.

— Сплюнь! — Тайга приостановился, обернулся, приказал быстрым зловещим шепотом: — Кому говорят?! — как приказывают ребенку, когда ему в рот сулема попала или что-нибудь в этом роде.

— А куда?

— Через левое плечо, баран.

«Жаль, Тайга, нет у тебя чувства юмора. Что ж, зато есть другие достоинства».

Пойдешь на поводу у примет, станешь их рабом. Старый мир рухнет не оттого, что ворон каркнет,— от всенародного гнева рухнет, от единой воли угнетенных масс. А привяжешь себя к приметам, а им несть числа,— лишишься воли, будешь уповать на силы небесные.

— «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный».

Тайга не перебивал, революционную поэзию он признавал.

— «Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике».

Завтра они сядут в поезд, если не в вагон, то в тамбур, на тендер, на крышу, куда придется, на товарный, если не будет пассажирского, лишь бы сесть! Завтра!

— «Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает...»

— Завтра мне сволокем шерсть,— неожиданно сказал Тайга,— сбреем бороду.

— Ладно. И свяжем варежки. «Он над тучами смеется, он от радости рыдает!»

— Давай «Сокола»! — потребовал Тайга.— Жарь! — Как будто Лубоцкий на гармошке играл.

Детство. Володе тринадцать лет. Всероссийская Нижегородская выставка. Скуластый, усатый, похожий на мордвина Алексей Пешков заказывает себе визитные карточки сразу от двух газет: «Одесские новости» и «Нижегородский листок». Заказ выполняет отец Якова, гравер в Бразильском пассаже. Пешков забирает с собой мальчишек и ведет их в синематограф Шарля Лемона...

— «Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью. Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни...»

— Буржуйское лапотьё нам бы не помешало,— опять не к месту сказал Тайга.

Лубоцкий в поднебесье витает Соколом, вещает Буревестником, а Тайга на земле, о деле заботится. Да, приличный костюм помог бы им навести тень на плетень. Но приличного не было у Лубоцкого и в Нижнем, разве пока учился в гимназии. А потом они с Яковом носили только рабочее — косоворотка, грубые сапоги. И сосланные в Нижний студенты тоже преображались, сбрасывали опостылевшие тужурки, одевались попроще.

То одно всплывало, то другое, он перескакивал с подробности на подробность, стараясь отогнать тревогу,— вре-

мя от времени уже доносился раздольный гудок паровоза.

На рассвете последний привал. Днем, уже сегодня, они будут...

Тайга захрапел, а Лубоцкий не успел долго.

«Надо считать овец,— учил его в камере Сергей Моисеев в ночь перед судом.— Не столбы, не деревья, а нечто в движении, медленном и размеренном». А сам тоже не спал, готовил речь, перебирал варианты. Он был недоволен проектом речи Петра Заломова, критиковал его за недостаток революционности, петушился, и Лубоцкий заодно с ним. «У вас звучит примиренчество! — наседал Сергей.— Что это за слова «хотел обратить внимание правительства и общества на невыносимое положение рабочих»? Мы хотим уничтожить правительство, а не обратить его внимание. Я вот им все скажу». Заломов, с десятилетним революционным стажем, знаменосец, шедший грудью на штыки солдат, слушал их наскоки с улыбкой. И смеялся, когда Сергей, ухоженный дворянский сынок, хватался изящной ручкой за решетку и кричал в окно: «Солдаты! Нас заставляют работать по двенадцать часов в сутки, а мы хотим работать по восемь!» Ну а в общем-то Заломов относился к ним с симпатией: «Веселые вы, как котята», но в революционность их не очень верил: «Пройдет ваша детская болезнь». Почему они, сормовичи и нижегородцы, были вместе и все-таки врозь даже на суде, об этом Лубоцкому еще предстоит подумать.

А Сергей свою речь сказал, да такую, что все решили: каторга ему обеспечена. Обошлось. Пожизненно, с лишением всех прав состояния. Где-то в Минусинском уезде сейчас.

Тайга храпел, а Лубоцкий смотрел на звезды и считал баранов. «В крайнем случае мы пройдем тайгой до следующего разъезда, где поезд хотя бы замедлит ход.

Не станут же они выставлять жандармов по всей сибирской магистрали».

Вместо баранов можно посчитать жандармов. Один... второй... третий... По перрону идут, плывут. Селедка сбоку. Кокардой крутят — ищут... Вот руки расставили, шире, шире, хватают за ногу!..

— Кончай ночевать!

Светило солнце, сопели хвойные лапы, рядом сидел Тайга и зевал. Сегодня он дольше обычного потягивался, тщательнее проделал свой почесон — за пазухой, под мышками, на загривке, чесал поясницу, икры, до пальцев добрался, помял их, поразводил в стороны веером, кряхтел и крякал. Можно поверить, что и на самом деле никакая каторга, никакая ссылка не отнимут у него и капли здоровья. Чесался и все посматривал на Лубоцкого, посматривал, наконец спросил:

— Ты хоть чуть-чуть на меня надеешься? Только почестному.

— Хватит, Тайга, на кого мне еще надеяться.

Но знать бы не помешало о его планах, чтобы не растеряться в случае какой-нибудь неожиданности.

Тайга начал издалека, окольным заходом:

— Кто ты сейчас есть? Как твоя фамилия, как имя твое и отчество? — И не дожидаясь, пока Лубоцкий раскачается, сам же и ответил: — Никто ты сейчас, уясни себе крепко-накрепко. Нет у тебя сейчас ни роду ни племени, не Лубоцкий ты и не Владимир. А когда и кем будешь, одному богу ведомо, но не раньше победы мировой революции. Ты сейчас как на свет народился, ни имени у тебя, ни фамилии, ни чина, ни звания. Может, ты станешь Иванов, а может, Петров, какой-нибудь Хведько или пан Пшибышевский, не имеет сейчас значения. Лубоцкого уже нет. Или ты не согласен?

Лубоцкий в ответ только кивал. Все правильно: ты беглый ссыльнопоселенец, у тебя нет прошлого, только

будущее, тебе нужен паспорт и совсем другая биография, где родился, где крестился, а что было прежде — забыть. Вылезть из прошлого, как змея из кожи, и на останки свои отслужившие не оглядываться.

— Ты мне не мотай башкой, как лошадь от мух, а вслух отвечай. Понял, что тебя нет?

— Понял, что меня нет,— повторил Лубоцкий и получилось уныло, грустно. Пятый день уже, как его нет. Всплыла строчка в памяти: «И не изглажу имени его из книги жизни...»

— На все прошлое плюнуть, растереть и забыть. Повтори за мной!

— Плюнуть, растереть и забыть.

— Во имя грядущего,— подсказывал Тайга.

Лубоцкий повторял, и его все больше охватывала тревога. Слишком тщательная, нервная подготовка у Тайги, суетится, глаза бегают. Что дальше? Клятва на крови?

— Клянусь, что не выдам друга в беде!

— Клянусь...

— А теперь садись вот тут, напротив меня.— Тайга подождал, пока Лубоцкий усядется, расчистил траву перед собой, даже подул слегка, будто ворожить собрался, и поставил между бродней свой сундучок. Поклацал ключиком, снял замочек. Открыл осторожно, будто оттуда могло выскочить живое и верткое, и извлек на свет божий уже знакомый Лубоцкому предмет, до того неожиданный здесь, неуместный, что Лубоцкий не сразу и вспомнил, где он его видел.

Это была расписная скрыночка Лукича, приданое дочери. То ли похвастал Лукич спьяна, то ли Тайга сам узрел. Перстень с жемчугом, перстень с бриллиантами, кулон в золотой оправе на цепочке, золотые червонцы граненой колбаской, крест деда Луки — все здесь было, все наследство, гордость Лукича и надежда.

— Экспроприация,— сказал Тайга честно.— Для нужд революции.

Лубоцкий отвернулся. Обида сдавила горло — все рухнуло!

Где-то птахи чирикали над головой, хвойные лапы так же тихо сопели, вздыхали, и тихо было, даже Тайга примолк, ожидая, что скажет спасенный им напарник, чуть не плачет от благодарности, а как же иначе, тут не только до Ростова хватит, любого черта-ангела можно с потрохами купить. В Канске перво-наперво они переоденутся.

— Каторга мне за это,— удовлетворенно проговорил Тайга. Лубоцкий, как слепой, нашарил возле себя пустую котомку, сжал ее в обеих руках, что-то маленькое попалось, похоже, луковица. «Сволочь, грабитель!» — хотел сказать он, распороть тишину, глянул на Тайгу, а в глазах его преданность собачья и ожидание, вот сейчас его погладят по шерсти, потреплют за уши ласково, ах ты, мой друг-дружок.

— Э-эх ты! — едва выговорил, выдохнул Лубоцкий и встал.

— Экспроприация.— Тайга будто подсказал отгадку бестолковому гимназисту.— Сокращенно экс.

Лубоцкий отвернулся и пошел к дороге.

— Ты куда? — приглушенно вскрикнул Тайга.— Куда, я тебя спрашиваю? Эй, слушай!

Лубоцкий только ускорил шаг, продираясь сквозь заросли.

— Стой, кому говорят!?

Тайга захлопнул сундучок, сгреб его и вдогон.

Лубоцкий вышел к дороге, на край откоса и, вспахивая рыхлый дерн каблуками, скатился вниз. Тайга скатился за ним.

— Стой, дубина, дурья башка, обожди! — Догнал его, сильно схватил за плечо.— Ты чего? Куда? Клятву дал!

Лубоцкий сбросил его руку:

— Отстань! Я обратно.

Лицо Тайги перекосилось, глаза побелели.

— Для кого я старался?! — закричал он бешено.— Чистоплюй поганый, для себя, что ли?! — Орал так, будто Лубоцкий бежит, не вернув долга.

Он на голову выше, сильнее, и ярость у него подлая. Лубоцкий нагнулся, схватил камень. Против нечистой силы чистую.

— Ты сволочь, грабитель, вор! Уходи!

Вдоль дороги кудрявилась тайга, из-за поворота, будто прямо из лесу выкатила пароконная телега, стуча колесами по камням. Тайга снова схватил его за рукав, дернул к себе:

— Подумай, что тебе грозит, охолонь, слышишь!

Лубоцкий вырвался, чуть не упал, пошел навстречу телеге. Захлестывала досада, мутило — кому доверился?! Будто сразу не видно было, когда он еще на лугу появился, шел по траве босяцкой походочкой, иноходью мелкого жулика.

В телеге сидели двое челдонов, правил вожжами молодой в красной рубахе, стриженый под скобку, второй же, в черном картузе и поддевке, бородатый, широкий, перегнулся назад, поднял с задка винчестер, чиркнул стволом по небу и, не скрывая, как при встрече со зверем, положил винчестер на колени дулом в их сторону.

— Бежим, пристрелит! — прохрипел Тайга.

— Иди своей дорогой! Ручной рабочий.

— Пропадай тут, подыхай заживо, в бога мать, баран! Рожденный ползать летать не может.

Тайга по-кошачьи, на четвереньках, двумя прыжками скаканул по откосу, перевалил гребень, исчез.

Лубоцкий отбросил камень, кинул котомку за плечо, пошел обочиной. Телега приближалась. Он не боялся. Ничего. Никого. Хуже, чем есть, не будет.

В красной рубахе смотрел на него с любопытством и сумрачно, в черном картузе — насмешливо и зло, с вызовом.

Разминулись, телега застучала по камням чаще.

«Свобода совести!» Все оплевать, забыть, ринуться за предел!

Он быстро пересек дорогу, взбежал по откосу на другую сторону, нырнул в заросли. Хотелось отряхнуться скорее, умыться, очиститься.

В кустах, в сумраке, в тишине вздохнул с облегчением. Не оттого, что телега простучала дальше и не раздался ни выстрел, ни окрик, нет,— избавился от Тайги.

Синее небо, белые облака и желтые круги в глазах. Лубоцкий покачнулся, нащупал рукой ствол сосны, уткнулся лбом в теплую кору. Постоял, подышал, глотая слюну, прошло...

Спасибо тебе, сволочь, что показал. Мог бы и утаить.

Теперь он шел днем, а ночью спал, как и все люди. Собирал кедровые орешки, грибы, жевал мяту. Грыз понемногу луковицу.

Если сбежишь за пределы Сибири, дадут каторгу, три года или даже четыре. Если будешь пойман в пределах губернии — ссылка в места более отдаленные, в Туруханский край или в Якутию.

Деньги при нем, двадцать шесть рублей, он мог бы и сам пробраться в Красноярск, мог бы... но прежде надо вернуться.

Идет он вольный по широкой дороге. Открыто идет, как правый. Нет пока слов объяснить — почему? — но ему легко. «Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую...»

Считал по верстовым столбам, сколько ему осталось до Рождественского. Не село ему нужно, а только одна изба Лукича. Пусть его пристрелит Хромой, топором зарубит — он должен вернуться. Иначе — гибель идеи, по-

срамление всей его жизни одним кратким словом — вор! Клеймо ему на лоб, тавро.

«У беглого нет прошлого, не Лубоцкий ты и не Владимир, наплевать, растереть и забыть. Ты останешься жить при условии, если тебя не будет». Логика — деньги духа, говорил Маркс. Разменная монета.

Побег забирает имя, но разве он забирает честь? Двадцать лет ты строил себя, растил в себе идеал, а теперь — тьфу, наплевать и забыть по воле жандарма, выездной палаты, царизма, они ведь того и хотели — растоптать тебя, твою честь и совесть, сделать тебя скотиной. «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет». Года не прошло, как они уже своего добились.

А если бы Тайга не показал краденое?

Ушел бы честным и незапятнанным. И жил бы честным, принципиальным и от других того же требовал. И никто бы никогда не упрекнул тебя прошлым — некому упрекать. Никогда не встретился бы ты ни с Хромым, ни со старостой и ни с кем другим из дремучего села глухой губернии. Ушел и навсегда исчез. «И трупа птицы не видно было в морском пространстве».

Но Тайга сказал, Тайга, спасибо ему, показал: ты вор! Ты подлый, лживый, способный на всякую пакость во имя великой цели. Цель останется, а тебя от нее отторгнут.

Листва опадает — меняются имена; исчезают люди. Листва опадает именитая и безымянная, крещенная от роду Иваном и перекрещенная судьбой в Петра, всякая опадает, а дерево жизни стоит, растет, крепнет от живительного сока отлетевшей, прахом ставшей листвы...

Быстрее туда, быстрее. Пусть как можно меньше досужих домыслов прозвучит среди людей, над рекой, над тайгой, под солнцем!

Отобрать у Тайги награбленное он не мог, просить

встречную телегу на помощь бессмысленно. Бородатый в картузе уложит их двумя выстрелами, а молодой в красной рубахе поможет ему оттащить трупы в кусты. И даже зарывать не станут — помолясь, дальше поедут. Бей беглого, копейка при нем всегда на дорогу собрана. А тут не копейкой пахнет.

Он не гадал, не думал пока, как его встретят, лишь бы скорее дойти и доказать, убедить: знайте, люди, и помните, идея его нерукотворная чиста.

Не-рукотворная! Сколько смысла вдруг появилось в этом слове и как поразительно увязалось оно с махаевщиной Тайги, с его рукосуйным, рукоблудным делом!

Он не может вернуть серьги, кольца, червонцы, но вернет нечто гораздо большее, как ему кажется, никакой вещной ценой не выражаемое.

День и ночь, еще день и ночь, и еще...

Ягоды, грибы, орешки. Рубашкой наловил рыбы в речке, испек в золе. Обходил жилье, не заходил в станки, не просил: подайте Христа ради. Боялся теперь, что схватят за грабеж прежде времени и он не успеет рассказать Лукичу правду. А уж коли схватят, никто не поверит, в кандалах всякий врет, изворачивается.

Жевал солодку до тошноты, мяту. Шел легкий, слабый и светлый, без сомнения и уныния.

Все ему пригодится в той большой жизни, ради которой он готовил себя двадцать лет. Он волгарь, потомок Минина — гражданина, и Стеньки Разина — бунтаря, он земляк Горького — Буревестника, есть ему на кого равняться.

Он говорил в Рождественском о светлой жизни, где не будет места грабежу и несправедливости. Вот и вспомнят они его слова теперь, вот и оценят... Стражники узнают, молва дойдет, и сознание их пронижет правота их черного дела — держать и не пущать, казнить и убивать. И все увидят тщету его усилий, поскольку на поверку он

вор, обманщик. И такое представление о нем будет жить само по себе, витать в воздухе, даже без слов оно станет вестью. Путь истины скроется в поношении.

Совесть — это со-весть. Как со-участие, со-страдание. Со-весть — весть ко всем и от всех к тебе. Взаимовесть. Молчащая, но живет в каждом, возвышая человека над зверем. Зло-вещая и благо-вестная.

Голодный, оборванный, с черными от ежевики губами, на десятый день после побега Лубоцкий пришел в Рождественское. В сумерках подошел к калитке, взялся за ручку щеколды, виновато позвякал раз-другой, толкнул калитку, вошел во двор. Терзай бросился на него, отвык, Лубоцкий кротко посторонился. Пес узнал, заскулил, отходя, вяло погремел цепью.

Лукич сидел на пне посреди двора, отставив деревяжку, в нижней рубашке и курил. Он только сегодня или, может быть, вчера вышел из долгого запоя, руки дрожали, глаза слезились, мелко дергалась щека в щетине. Посмотрел вяло, даже обозлиться не хватило сил, будто ничего не случилось. Бедовый уходил на покос и вот к ужину вернулся.

— Я ничего не брал у вас, Яков Лукич,— как можно тверже сказал Лубоцкий.— Только поэтому я вернулся — сказать.— Больше он не мог говорить, горло перехватила спазма, едва-едва не заплакал.

Лукич вяло сплюнул, плоский серый окурок застрял в бороде. Опираясь о пень, помогая себе руками, он тяжело поднялся.

— Пойдем в избу...

Пошел впереди, сильнее обычного припадая на деревяжку, будто она короче стала, усохла за эти дни. Полотно рубахи прилипло к худым лопаткам.

От печи испуганно глянула на беглого Анисья Степановна, отставила ухват и сразу засморкалась в передник, будто в доме покойник. Марфута что-то шила возле

стола, уставилась в упор на Лубоцкого и словно пригвоздила его:

— Красть у нас больше нечего!

Лубоцкий переступил с ноги на ногу.

— Не гневайтесь на меня. Я не виноват перед вами.

В полной тишине на кровати за занавеской всхлипнул и сразу в голос заревел Дениска.

Марфута отложила шитье, с укором выговорила:

— Из-за тебя все.— И пошла к брату.

Лубоцкий потерянно стоял у порога, стараясь держать голову прямо. Приютили на свою беду. Не возьми его Лукич от конвоя, не привел бы он в дом Тайгу. Не увидит чужого горя Тайга, не услышит.

А словами их теперь не утешишь, слова не золото. Найдено оно или потеряно, безразлично — оно золото, с ним свяжись!

— Мать, браги! — приказал Лукич.

— Да не поспела еще,— сердито отозвалась хозяйка.

— Сходи к соседям. Хватит мне рассолом кишки полоскать.— Лукич сел за стол, вздохнул длинно, как больной после жара.

Анисья Степановна взяла из шкафчика пустую четверть, обходя Лубоцкого, сказала:

— Проходи, коли зашел.— Хотела сказать грубо, но не сумела, то ли от страху, то ли все же блюдя достоинство.— Денис-то слег, бедный, как ты ушел, осиротел. Зачем было ласкать его? Эх, барство все.

— Я не виноват перед вами.

— Ладно, заладил. Я, что ли, виновата? — проговорила Анисья Степановна, не бранясь, терпя, не вернешь теперь.— А тот супостат ушел?

— Ушел.

— Бог его покарает.— Зажав четверть под локтем, она обеими руками взялась за передник, снова засморкалась.— Мне-то что, Марфуте готовилось.

— Хватит! — Лукич стукнул по столу, напоминание разозлило его.— Хватит,— повторил он спокойнее и пояснил: — Он от воли своей отказался. Проходи, Бедовый.

От воли он не отказывался. Волю свою он проявил.

Анисья вышла. Марфута за занавеской бормотала Денису вполголоса:

— Дениска, Денюша, медовая груша, в печи не бывал ты, жару не видал ты. Заиграли утки в дудки, журавли пошли плясать, долги ноги выставлять, долги шеи протягать...

— Садись, Бедовый! — приказал Лукич.— Ты барин, да и я не татарин.— Он оживился в надежде на лечебное зелье, за которым ушла жена.

Лубоцкий опустил котомку возле порога, она осела тощим комочком, тряпкой, Лукич последил за его движением, наверное, все-таки надеялся — может, хоть доля там...

Лубоцкий сел к столу. На скобленых желтых досках в темной долбленой тарелке лежал хлеб. Никогда он прежде не думал, что хлеб может так источать запах!

Лукич молчал.

— Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели, на полянку сели,— бормотала Марфута за занавеской.

— Марфута, чай поставь! — велел ей Лукич.

— Иду-у! — живо отозвалась она, будто ничего и не было.

Горе у нее отраженное, от родителей, сама она еще не успела узнать, чего они стоят, кольца, броши, червонцы, но сердится — наше забрали, посмели, наше не смейте трогать.

Лубоцкий не смотрел на хлеб, но видел пористый срез ломтей острым ножом. Один, два, три, четыре... восемь ломтей хлеба с хрусткой корочкой. Лежат себе...

Смотрел на хозяина и молчал. Он все готов принять,

упреки, обвинения, угрозы, но сказать ему пока больше нечего.

— Значит, вернулся? — спросил Лукич почти весело.— Совсем? — Лицо его оживилось, глаза заблестели не только от предвкушения выпивки, но и оттого, что хоть что-то прояснилось. А то ведь держал политического, опекал его, опекал и доопекался, остался обворованным.

Лубоцкий опустил голову, посмотрел на свои руки.

— Нет, Яков Лукич, не совсем. Все равно уйду. Потом.

— «Пото-ом»,— беззлобно передразнил Лукич.— Потом на тебя такой глаз положат, в нужник будешь ходить под ружьем.

— Я обязан был вернуться, когда узнал. А узнал я уже под Канском.

Лукич уставился на него, долго смотрел, пытливо, даже с легким страхом, как на привидение, потом взгляд его словно потерял опору, не на кого стало смотреть, и он заговорил отрешенно, как сам с собой:

— Хлипкий, тонкий, сморчок сморчком, а свое гнет. На чем стоит, обо что упирается? Какая у него за спиной сила всемогущая, бог или сатана? — Взгляд его вернулся, глаза стали осмысленными.— Синегуба вспомнил. Не любил покойник политических, убил бы, говорит, распотрошил — что внутрях? Знать, у них особая становая жила, двойной хребет. Что ты скажешь, Бедовый?

— Они знают больше, Яков Лукич. Больше думали. И не год-другой думали, а тысячелетия. Они душой болели за всех. И за Синегуба тоже.

Марфута вышла к ним — Дениска, похоже, уснул,— стала возле стола, скрестила на груди руки. Она не ожидала мирного разговора.

— А был он Синегуб или его по-другому звали, я тебе и сказать не могу,— признался Лукич, рассеянно глядя в

стол.— Может я его сам прозвал так, губы у него были синие, когда я его по тайге волок мертвого, и нос костяной...— Снова поднял глаза на Лубоцкого.— Чую, сделаете вы все, как ты говорил. И волю вольную, и землю общую, все сделаете.— Посмотрел на Марфуту, она открыто внимала, ей хотелось подсесть к столу и сказать что-нибудь в свое оправдание, шибко рьяно она напустилась на постояльца с порога, так выходит. Лукич сказал ласково, про чай забыл: — Иди, Марфута, иди. Ты корову доила?

— Само собой!

— Ну иди, дочка. А то уши развесила, нехорошо.

Марфута самолюбиво фыркнула, но послушалась, ушла во двор.

— А вот детей своих я бы тебе не отдал,— признался Лукич.— По вашему пути не пущу. У тебя отец есть?

— И отец, и мать. И еще два брата и четыре сестры.

— Во-от видишь,— отозвался Лукич проникновенно и покачал головой с укоризной.— Семеро по лавкам у твоих родителей, а ты им еще такое горе несешь.

— Не я несу, жизнь такая, зовет, приказывает.

— Она была такой во веки веков, Бедовый. Родители за детей всегда муку несут. Потому и секут их, и порют, чтобы ровней держались в одной упряжке.

— Если бы дети ровней держались, человек бы до сих пор из звериной шкуры не вылез, Яков Лукич. Дети исполняют думу своих отцов. Только кажется, что они поперек идут, а на самом деле — вдоль, дальше и выше. Поколение за поколением.

...Дальше и выше, вперед и вперед, и если семья висит гирями, революционер расстается с ней. И чем горше для него разлука, тем выше ставит он свое дело, дабы искупить жертвы. Он уходит из-под отчего крова, унося беду из семьи. Иначе, подавленный материнским горем, он смирит себя и никогда не увидит зарю свободы и не при-

близит ее час. Родители хотят жить спокойно, по заповедям — будь послушным, сын, подальше от тюрьмы и сумы, держись гнезда, сначала нашего, потом своего, и строй его по родительскому же образцу. А вылетишь из гнезда прежде времени — опалишь крылышки. Но птенцы вылетают, и видят зарю раньше, и поют о ней. Восход грядет, и грядущему нужны проводники и глашатаи в образе нового человека, а не старой заповеди.

Но есть ведь и такие гармоничные семьи, где дети продолжают борьбу отцов. И если глянуть на человечество как на одну семью, то убедишься: старшие призывают младших идти вперед не страшась. Казнен Александр Ульянов, земляк, уроженец Нижнего, а его младший брат печатает за границей газету: «Из искры возгорится пламя».

— Не научат ни порка, ни даже виселица холопскому смирению, Яков Лукич, хватит, Россию не усмиришь.

— Подрастешь, дети у тебя будут, запоешь по-другому! — сердито перебил Лукич.— Тебе легко язык-то чесать. А у меня двое, Марфута, Дениска, куда пойдут, за кем?

— Неспроста же вы ставите такой вопрос, Яков Лукич, куда и за кем. Значит, и здесь, в глуши, ощущается неизбежность перемен.

— Грешен я, насмотрелся на таких вроде тебя, наслушался, пока этапы водил, уши-то не заткнешь, а то бы... — не договорил, махнул рукой.

Десять лет, пока он был стражником, он постоянно видел людей, которые переступают — законы, обычаи, сокрушают устои. Видел не только лиходеев, извергов, но и честных, умных, почтительных, которым «ваше благородие» подходило лучше, чем приставу или уряднику. Они свои кандалы несли, как священник крест.

— Дениску отдадите учиться, он очень способный мальчик. Все средства — на его учебу.

— Одной приготовил средства,— мрачно усмехнулся Хромой.

Вошла Анисья Степановна, поджав губы, поставила на стол мутную белесую четверть.

Лукич налил себе, налил Лубоцкому, поднял стакан.

— Ладно.— По лицу его прошла гримаса, вспомнил утрату, сказал злее: — Ладно! С возвращеньицем.— Пил долго, цедил сквозь зубы, будто глотку заткнуло колом, но одолел-таки, выпил до дна и сразу вспотел.— Ты хоть знаешь, Бедовый, что теперь тебе грозит?

— Главное, я перед вами чист.

Лукич покривился, передразнил:

— Чи-ист. Душа чиста, так и мошна пуста.— Он покачал головой.— И что вы за народ такой? Право слово. «Душа чиста». Да кому она нужна, твоя душа чистая? Вот придут, под микитки тебя — и поминай как звали.— Он помолчал, посмотрел на бледного Лубоцкого.— Но ты ведь ко мне шел, верно? На мое понимание рассчитывал, так, Бедовый? Знал, я тоже не пальцем деланный.— Он налил себе еще стакан, выпил уже без судороги, обтер, расправил усы, горделиво выпрямился — к нему шел Бедовый, на него надеялся.— Когда гонют этап, считается вроде одним тяжело, а другим легко. Это еще как глянуть. Подорожная на всех общая. Перед богом, перед погодой. С одной стороны тебе говорят: преступники, уберечь от них надо честной народ православный. А с другой стороны — и они люди. Синегуб-то за что пропал? Наказание получил за ненависть свою, я так считаю. И мне его смертью знак даден — ноги-то нет. Вот ты пришел, а что я теперь должен делать, а? Ты на воровщину ушел, все знают. На каждый рот не навесишь ворот — упреки мне. Весь уезд я должен поднять. Староста нарочного послал в Канск, вас бы на чугунке и заковали.— Ему стало легче от браги, бледность сошла с лица, даже сивая щетина на щеках улеглась.— Теперь скажи

мне толком, зачем вернулся. Не торопись. Чтобы я все понял.

— Разве для вас не важно, как о человеке думать?

— Для меня важно, чтоб не обокрали.

— А для меня — избежать позора.

— Тебя судили, отправили за тыщи верст, ты преступник против царя, мало тебе позору?

— В этом для меня честь.

— Кому она нужна, твоя честь, про тебя там уже забыли.

— А я напомню. Я буду продолжать борьбу,— пробубнил Лубоцкий.— Но совесть у меня всегда будет чистой.

— Ре-е-звый ты, Бедовый, ре-е-звый. А вот возвратился зря.— Он вдруг оскалился не без торжества.— Понапрасну. Попусту.

— Мне важно самому...

— Все самому да самому! — прервал Хромой.— А что другие думают, наплевать. Еще раз скажи мне, втолкуй: значит, вор не ты, а другой, ты не крал, так? Или еще как?

— За революцию с нечистой совестью браться нельзя.

Зарядил, как пономарь,— совесть, совесть. Упрямство Бедового, его настырность задевали Лукича. Бедовый будто упрекал хозяина, да не только словом — делом, вернулся же, охломон, наперекосяк всему, а ты, Хромой, вроде так не сможешь.

Лукич заговорил сурово, роняя слова веско:

— Ты чистый, значит, а другие, выходит, грязные. А если подумать и повернуть, на попа поставить да помозговать? Кое-что другое откроется, промежду прочим. Ящичек тот, скрыночку я твоему проходимцу сам отдал. Сидели вот как с тобой, водку пили, он слезы лил про свою нищету, а я вот так повернулся,— Лукич отставил ногу, стукнув деревяжкой по плахе пола, потянулся к

иконам,— взял ее, на! Держи и уходи с богом. Не нужно мне такое добро, трясись из-за него денно и нощно. Вот теперь и скажи, Бедовый, была ли нужда тебе возвращаться? — Он осклабился, снова расправил усы, победу праздновал над Лубоцким.— Малое дело, сущий пустяк, а как все меняет. Вот что ты мне теперь наборонишь, если не было кражи?

— Навыдумывать, Яков Лукич, накрутить можно всякое.

— А чего тебе стоило так подумать? Отдал, мол, хромой стражник, грехи замолить — и вся недолга. Ты же грамотный, книжки читал, так бы и сказал по-писаному: добрая воля Якова Лукича на пользу революции.

— Так ведь не было доброй воли.

— А тебе почем знать?! — поднял голос Хромой.— Была! Так себе и скажи: была его воля! И другому, пятому-десятому громогласно заяви, всем своим дружкам боевым — была на то его воля. И потому я чист. Ты мне все про народ да про народ, а разве я не народ?

— Плохую вы игру затеяли, Яков Лукич.

— А вы какую затеяли, хорошую? Может, я не хочу царя сымать, а ты вот за меня решаешь: такова воля народа. Давал я тебе наказ? Дарит тебе мужик свое, или ты у него крадешь?

Не так он прост, как может показаться, хотя и пьян. Думай, Лубоцкий, думай.

— Мы реалисты, Яков Лукич. Мы обязаны видеть подлинную необходимость. Выдумать можно всякое, попы всю жизнь рай обещают. Мы не попы. На выдумке одни страдания. Не было у вас нужды отдавать кому-то свое накопленное.

Хромой помрачнел, заскрипел зубами:

— Зачем вернулся?! — вскипел он.— Ты мне руки связал! Пригонят политического, я его на первом суку повешу! Зачем вернулся?! Уходи с глаз долой!

Лубоцкий посидел несколько мгновений оглушенно. Ожидал, предвидел, но...

Сказал твердо:

— Я не мог поступить иначе.— Поднялся, пошел к двери за котомкой.

— Стой,— потребовал Лукич.— Обожди.— Лоб его покрылся испариной, он вытер пот ладонью, стряхнул капли на пол.— Обожди, остынь... Не серчай... Садись, куда ты пойдешь,— устало говорил, хрипло, тяжело ему далась вспышка гнева.— Пойми, вора бы я скорей простил, на то он и вор, а вот политического...— Он еще налил в стакан, жадно выпил.— Все равно что девку совратил на святом причастии. Не серчай... И бежать никуда не надо, сгинешь сейчас, меня послушайся, я к тебе уважение имею, Бедовый.— Глаза его заблестели от пьяных слез.— Мне тебя жалко, Бедовый. Посиди со мной, тоска меня берет, поговори со мной про то, про се...— просил жалобно, с дрожью.— Как мне детей определять, на что равнять, скажи... Помру я скоро, Бедовый.— Он слабо поднял руки на стол, подпер голову, локти разъехались, он ткнулся головой в столешницу, помычал, подложил ладонь под щеку и заснул.

На другой день Лубоцкий чувствовал себя скверно. Долго не вставал с лежака, разбитый, больной после десятидневных скитаний. Он то дремал, впадая в забытье, то снова приходил в себя, пытался что-то прикидывать, не получалось, зияла пустота, он снова закрывал глаза. Устал он. Зевает, как рыба на сухе, раскрывает рот. Полно воздуху, есть чем дышать, да незачем... Оскудение — это когда нет даже желания желать.

Заходила Марфута, принесла молока и хлеба, подождала немного — он не пошевелился — и тихо вышла.

Встал, поел и опять лег. Сколько это продлится?

Когда нет желаний — нет ни счастья, ни несчастья, ни беды, ни удачи, все равно.

Протукала по двору деревяшка хозяина, быстро, часто, рывком распахнулась дверь, Лубоцкий успел подумать: снова напился — и услышал его хриплый голос:

— Быстро за мной, Бедовый! Жандармы из уезда. Чтоб духу твоего не было! — Он завертелся по избе, хватая его шапку, пожитки, запихивая в мешок.— Сбежал — и крышка. Шевелись живей!

Наклоняясь вперед, углом, подволакивая ногу, он проскакал по двору в избу. Справа у порога схватил бочку за края, качнул ее на ребре, откатил в сторону. Дернул за кольцо крышку подпола.

— Лезь! Пускай поищут, Синегуб тоже искал, старался.

Взявшись за края подпола, Лубоцкий спустил ноги, и провалился, как в прорубь. Над головой плотно, как каменная плита, легла крышка из толстых плах, глухо загремела бочка, Лукич ее перекатил на место.

Темнота. Тишина. Не то спасение, не то ловушка.

Остро пахло укропом, холодной плесенью, погребным духом. Лубоцкий потер переносицу — не расчихаться бы. Надо подальше от крышки.

Плавая в темноте руками — не свалить бы что, не загреметь,— он стал пробираться подальше от лаза. Бочка, еще бочка, бутыль, корзина, наконец пустота, нащупал холодную стену, положил свой мешок и присел на него. Притянул колени к груди, на колени — руки, на руки — голову. Когда ничего не видно, лучше закрыть глаза, избавишься от темноты и будет спокойнее.

Тревога его приободрила, от укропа легче дышалось. «Надо думать о чем-нибудь таком, бойком. Веселее, Бедовый! Без жандармов тебе уже и жизни нет, киснешь».

Однако, как ни веселись, погреб — это уже лишнее. В приговоре о погребе не говорилось.

Чем отличается погреб от погребения? Тем же, чем поезд, к примеру, от пассажиров. Тайга в поезде, а он

здесь. Пассажир может сойти, погребенному сходить некуда...

Тяжелые шаги, смутные голоса, казенные, требовательные, и в ответ громкий и дерзкий голос Лукича — не очень-то он их боится.

Поймали они Тайгу или нет? Вряд ли, Тайга ловкач, да и бумаги при нем. А поймать им хочется, чтобы пустить политического по уголовной статье. Как ни крути, он политический, в стачке участвовал, административно сослан. К тому же человек свободной совести. Экспроприатор. Со всех сторон политический, с любой точки, даже с пятой — эвон куда приспособил царя и царицу.

Наверху, похоже, строгости кончились, разговор слился, не поймешь, кто говорит, кто слушает. Лукич наверняка выставит им бочонок браги.

Сколько ему здесь сидеть? Надо подремать, сон в укропе полезен для здоровья. Чем его погребение кончится, воскресением? Вознесением? Напьется Лукич, раздобрится — как-никак, со своими встретился, взыграет в нем служивое: братцы, да я вам помогу, чем смогу. Сдвинет бочку, дернет за кольцо крышку — берите его, вора. Вознесут за уши, бока намнут, бросят в телегу и...

На транспорт ему везет. В тот красный день, пятого мая, жандармы окружили их, откуда-то собрали целый конный обоз, хотели побросать их в телеги, но толпа отбивалась. Так и прошествовали они до самой тюрьмы с песней, со знаменем, в кольце жандармов и с хвостом из пустых телег. Из тюрьмы на суд повезли в трамвае, конвой скакал по бокам вагона и сзади по рельсам, редкое зрелище, жаль только, что ночью, не все видели. В здание суда Лубоцкий и Моисеев отказались идти своими ногами — презираем! Солдаты потащили их на руках...

Дениска обиделся, слег, бедняга, от огорчения. Предал его друг, ушел с бродягой и вором. Надо ли бежать, если от этого ребенок плачет? И можно ли учесть все

слезы и только на слезу ребенка настраиваться?

Огорчил Дениску, Лукича огорчил, Марфуту. Огорчил губернское жандармское управление, а также уездное, департамент полиции огорчил. Слава богу, хоть там не плачут.

А кого порадовал? «Все себе да себе»,— говорит Лукич...

Сонливость, как перед судом. Есть в нем такая особенность — в минуту опасности пропадает всякая резвость, как вода сквозь сито уходит энергия, но — только на время и словно для того, чтобы освободить место пружинистой силе, действию, для которого в тебе уже приготовлен простор, место для разворота.

Голоса наверху стали громче, развязнее — пьют служивые. Хозяин свой человек, герой к тому же, ноги лишился, надо его уважить, отведать его хлеб-соль. Дело сделано, бумага на предмет побега составлена, а теперь хлобыстнем, раз хозяин просит.

Голоса слились в гул, гул вылился в песню, любимую песню хозяина. Чей хлеб ешь, того и душу тешь.

— «Приду домой, родные скажут, ты нам теперя-а не родня-а, и пес у вотчего-о порога залаить злобно на меня-а...»

Ямщики поют свои песни, кандальники поют свои. У студентов есть песни и у рабочих, только вот у стражников нет, не придумано, не слагается и не поется, нет такой лирики — жандармской. И не будет. Хотя есть и у них свои драмы и свои трагедии, но именно свои, не народные. Умер Синегуб, а песню про него не сложили. А ведь тоже был человек, «человек два уха». Народ от головника спасал, погиб, околел, а народу наплевать. Ни жалости, ни интереса. «И сказок про них не расскажут, и песен про них не споют».

— «Спозабыт, спозаброшен с молодых юных ле-ет...» Как будто про себя поют.

— «...и никто не узнает, где могилка моя-а».

Нет к ним ненависти у Лубоцкого. Почему-то нет. А у Тайги есть. Тайга бы его вразумил, за что и почему должна быть к ним лютая ненависть.

Была бы у них возможность другой жизни, не стали бы они напяливать на себя мундир. Ходили бы в поле за сохой, ребятишек нянчили, растили хлеб. Но кабала гонит их топать сапожищами по сибирским холодным трактам, по тюремным коридорам, орут, злобятся, стреляют, губят головы, которые за них думают...

Изба гудела, ходила ходуном, плясать пошли, а Лубоцкий спал. И видел сон, будто плывет по Волге, в широком потоке, шумит лес на берегу, утесы высятся, а его несет, потом впереди запруда, бревна поперек потока, а наверху, на взгорье — деревня и церковь, груда церквей и стены. Вода несет его к самым бревнам, вот-вот шибанет о них, он прыгает из воды, как хариус, на эти бревна и лежит на них лицом к небу, к желтому солнышку, дышит жадно и слышит, как кричит Лукич:

— Эй, Бедовый, ты жив аль нету тебя, опять сбежал?

Крышка подпола поднята, виден желтый квадрат света от лампы и ступеньки вверх, пушистые, будто в желтой муке.

— Вылезай, Бедовый, ушли супостаты, пировать будем!

Лукич возбужден и весел, как после хорошей охоты, удачной купли-продажи.

— Поехали дальше тебя ловить, приговор исполнять. В Якутку тебя на двенадцать лет! — с восторгом сообщает Лукич.— Сейчас пойдешь или до утра погодишь?

На столе плоские тарелки с остатками еды, разбросаны огурцы, картошка, лохмотья квашеной капусты, все как будто раздавлено, будто они плясали на столе. Запах сивухи, пота, гуталина и лошадиной сбруи от ремней и сапог. Отвели душу служивые.

— Я их сначала на фатеру твою сводил — глядите, потом в чулан, потом на сеновал загнал всех троих, показал им, как надо шарить. Взял вилы в две руки, воткнул с одного краю, воткнул с другого, а потом с размаху ка-а-к всадил в середку, да к-а-ак завизжу, будто боров резаный, они аж присели! — Он захохотал довольный.— Садись, Бедовый, допивать будем. Отвезу тебя на станок к охотникам, за двенадцать верст, будешь соболя бить, на меня работать...

Ночевал он на всякий случай на сеновале. Ворота на запоре, Терзай спущен.

За что же ему Якутка, да еще на двенадцать лет? Будто он Чернышевский по меньшей мере. Никакой градации. Авансом, что ли, ему выдают?

«Ликуйте, тираны», а он сбежит все равно. Опыт у него есть. Не сладкий, но верно сказано: опыт может быть только горьким. Минуты счастья опыта не составляют. «Наше счастье всего лишь молчание несчастья...» — слова, слова...

Не в словах суть, а в том, как их сопрягать с делом. Кражу Тайга называет экспроприацией, ненависть к людям — свободой совести.

Утром Марфута принесла ему на сеновал полкрынки молока, хлеб и кусок холодного мяса. Ушла не сразу, села напротив, закрыла ноги подолом и смотрела, как Лубоцкий ест.

— Взамуж я не пойду, не хочу,— наконец, объявила Марфута.

— В монастырь уйдешь?

— Не хочу, и все! Батяня все похвалялся, похвалялся, а зачем мне его богатство? Разве в этом краса? Украли — и ладно.

Она его успокаивала, а на него напоминание стало действовать уже, как и на Лукича.

— Дело, Марфута, не только в серьгах-кольцах...

Она фыркнула:

— Я и сама знаю! Пойду, соболей набью, снова будут кольца да серьги.— Помолчала, поправила подол, решилась: — А вы дураки оба два. Сказали бы, я бы сразу с вами ушла. Ох, как было бы хорошо! — Она даже глаза прикрыла.— Надоело мне, хочу другой жизни. Э-эх вы, городские, грамотные! — закончила она с досадой, взяла пустую крынку, ушла.

Дениска сам с собой играл во дворе в «чижика» и косился на сеновал. Лубоцкий негромко позвал:

— Иди сюда!

Дениска подобрал «чижика», зажал его в кулачке, подошел к лесенке и остановился, опустив голову.

— Залезай сюда, посидим поговорим.

— Не надо...

— Почему?

— Ты опять уйдешь.

Щадил себя малыш, учитывая опыт, тоже горький. «В печи не бывал ты, жару не видал ты...»

— Залезай, Дениска, не бойся, я тебе сказку расскажу.

Денис поколебался:

— Только ты мамане не говори...— Полез.

Лубоцкий усадил его рядом с собой, положил ему руку на плечо.

— Ты ничего не бойся, Дениска, и не грусти. Все люди так живут, расстаются, потом снова встречаются. Ты вот подрастешь и приедешь ко мне. И мы с тобой будем жить в большом городе, в Москве, например, или в Петербурге, хочешь?

Денис кивнул, вздохнул прерывисто, как после плача.

— А ты когда уйдешь?

Не хотел он, чтобы горе свалилось опять неожиданно. Уйдет дядя Володя насовсем, и придется Дениске идти на улицу и ладить с пацанами, которые его обижают. «Я не хочу знать много, умным быть не хочу,— признался



он однажды Лубоцкому,— за это огольцы побьют». Просто и ясно объяснил Лубоцкому самосохранение улицы, маленькой копии большого мира.

— Я тебе слово даю, Денис: как подрастешь, я тебя разыщу и к себе позову. Хорошо?

Дениска кивнул, глазенки его загорелись:

— А когда?

— Скоро. Только ты расти побыстрее и обязательно учись, в школе, потом в гимназии, дальше и дальше. А я тебя позову.

— Краски и кисточки ты заберешь, а потом опять пришлешь?

— Нет, Денис, оставлю тебе, рисуй...

К ночи они уехали на станок. Лукич сидел в передке, за спиной его лежал Лубоцкий, прикрытый полушубком. Молчали, пока не отъехали от села версты за две.

— Значит, уйдешь,— наконец заговорил Лукич.— Без тебя там не обойдутся?

— Без меня, без другого, без третьего. Да и без вас тоже.

Лукич трезв, сосредоточен.

— Верю я тебе, Бедовый. Такие, как ты, могут. Об одном прошу: детей моих не забудь. А я недели через две час выберу и свезу тебя в Канск, на поезд. Выберу час!

— Мне бы только до Красноярска.

— Обещаю — и все, зарублено! — Лукич помолчал, собираясь с мыслями.— Ты мое мнение оценил, Бедовый, как я на тебя посмотрю после всего. Ты мое мнение поставил дороже свободы.

Он тащил мертвого Синегуба — похоронить. Пришло время и он вытащит, вывезет, вынесет другого человека для живого дела, чтобы лучше жили его дети,— так он думал...

В станке их встретили трое охотников. Лукич попросил:

— Парня надо пристроить. Стрелять может, глаз верный. Мой работник.

Прощаясь, наказал Лубоцкому ждать. Другой помощи ему тут не сыскать. Через две недели обещал приехать.

Прошло пять недель, Лукич не появлялся. Лубоцкий считал дни. Два месяца ждал. Восьмого ноября, когда уже прочно, до весны, легли снега и Усолку сковало льдом, Лукич приехал на розвальнях и отвез Лубоцкого в Канск.

Глава пятая

Ровно в три Владимир пришел в кафе «Ландольт». Агент (все-таки «Мартын» не вязалось с его обликом) уже был там.

— Поехали,— сказал он, едва поздоровались.

— Он ждет?

— О да-а! — шутовским басом ответил агент.

«Ждет» — не слишком ли много на себя берете, юноша?

— Я хотел спросить, вы условились с Лениным? Нежданный гость хуже татарина.

— Для него все нации равны.— Агент не улыбнулся.

«Я задаю неделовые вопросы, обывательские. Волнуюсь. Если бы агент не договорился, то и не позвал бы с собой».

— Мне все ясно,— сказал Владимир. Его не просто ведут, но и воспитывают на ходу.— Поехали.

Вышли на улицу. Ясный весенний день, солнце, слепит снег Савойи.

— Путь не близкий,— сказал агент.— Через весь город, через Рону и дальше, в Сешерон. Вы уже знаете Женеву?

— Немного. Сешерон где-то возле парка Мон-Репо.

— Между парком и ботаническим садом.

— Место завидное. У него там вилла?

— Сешерон — рабочее предместье. Ильич там снимает домик.

— Один? — С первых шагов Владимир решил держаться своей линии и при любой возможности укорять Ленина — один снимает целый домик.

— Втроем. Он, Саблина и ее мать, Елизавета Васильевна.

Саблина — это Крупская, подруга Чачиной по Петербургу и по ссылке в Уфе. От Нижнего до Женевы полмира, можно сказать, с великим множеством людей, а цепочка связи совсем короткая: он — Яков — Чачина — Саблина — Ленин.

— Авось пирогом нас угостит Елизавета Васильевна. Всюду с ними! И в эмиграции, и в Шушенское с ними ездила, в ссылку.

— За декабристами ехали в Сибирь жены, за социал-демократами еще и тещи,— заметил Владимир.

Агент улыбнулся:

— Ильич ей говорит: «знаете, Елизавета Васильевна, какое самое худшее наказание за двоеженство?» — «Какое, Владимир Ильич?» — «Две тещи».

Владимир рассмеялся, тут же спохватился, помня про линию, сказал с укором:

— Вон какие у них отношения.

Естественно, если он всей социал-демократии не дает покоя, живя врозь, то каково его домочадцам?

— Да, именно такие у них отношения,— невозмутимо подтвердил агент.— Можно шутить, подтрунивать. Это ужасно, вы не находите?

— Н-нет, собственно говоря, наоборот,— пробормотал Владимир. Все-таки сатана агент, палец в рот ему не клади. «Если я соглашаюсь с ним по каким-то частностям, это совсем не значит, что я намерен сдать свои принципиальные позиции»,— настропалялся Владимир.

Ехали трамваем, шли пешком. Больше молчали. Запомнился эпизод: через трамвайные рельсы переезжал молодой человек на велосипеде с пузатым баулом впереди руля. Здесь удивительно много велосипедистов, и, казалось бы, пора им знать, как надо переезжать рельсы,— под прямым углом. Этот же правил по косой, колесо попало в колею, баул свалился, затарахтев, молодой человек по-козлиному дернулся и выровнял руль. Поднял баул, стал пристраивать его на прежнее место. Агент даже приостановился, наблюдая за ним, потом вдруг сказал с досадой:

— Ч-черт побери! — Лицо его стало сумрачным.

Владимир оглянулся на велосипедиста — тот уже покатил дальше,— посмотрел на агента: стоило ли расстраиваться из-за пустяка?

— О съезде Заграничной лиги русских социал-демократов вы, вероятно, слышали? — заговорил агент после молчания.

— Слышал. Но без подробностей. Для меня все здешние события — дрязги, и ничего больше.

— Разберетесь,— успокоил агент.— При желании.

Последовало желание:

— Это когда Плеханов вызвал Мартова на дуэль? Я, кстати, так и не понял, за что.

— Был и такой забавный эпизод среди многих прочих. Мартушка пребывал в истерике, Плеханов ему заметил: Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав, после чего Мартушка немедля понес по кочкам самого Плеханова. Жорж впервые за всю драчку утратил свой несокрушимый юмор и заговорил о дуэли. Помирились, милые бранятся — только тешатся. Хуже всех было Ленину. Перед самым съездом он разбился, ехал вот так же на велосипеде и угодил в колею. Мы настаивали отложить съезд — Ленин болен, но мартовцы в крик: пусть лечится, мы и без него проведем. Ленин пришел, голова перевяза-

на, глаз, а те ликуют: Ленин побит не только политически, но и физически, как видите. Вид у него был крайне больной.— Агент прищурился, глядя вдаль, лицо его стало злым.— Выдержка у него колоссальная, но он не выносит мелкого скандала, визга, драчки, теряется, как ребенок. На сборища Лиги шел, как на Голгофу, но шел, с повязкой...

Рону пересекли по мосту для пешеходов. Владимир засмотрелся на воду. Своенравная река. Оборотень. Если в других местах реки как реки, слагаются из ручейков, ручьев, речушек и бегут к морю, к озеру, то Рона, наоборот, вытекает из Лемана — начинает с конца и бежит вспять.

А за Роной живет Ленин, и характер у него чем-то похож на эту реку. «Прежде чем объединяться, нам надо размежеваться». А ведь Волга, река его родины, течет в море... Впрочем, и Рона начинается где-то в горах.

«Главное, не надо мудрить, надо сказать прямо — я обвиняю. Обвиняю не потому, что меня некая муха укусила или что вы мне неприятны лично, я вас не знаю и потому свободен от предвзятости. Я не член партии, но имел возможность пристально, заинтересованно наблюдать за положением дел в русской социал-демократии. В вашу кашу я не попал, и потому голос мой беспристрастен и объективен, прошу вас прислушаться и сделать вывод».

В Сешероне одинаковые домики, садики. Меньше, чем в городе, толкотни и шума.

Вышли на улицу Фуайе, и вскоре агент сказал:

— Здесь.

Высокий, узкий с торцов домик под номером 10. И хотя в нем два этажа, но кажется он игрушечным, утлым, не похож на российские дома с размашистыми шатровыми крышами, с карнизами и петухами, с массивными воротами. Какой-то обуженный домик, узкие оконца с

двумя створками ставен, все плоско, стесано, безлико. Слишком сдержанное строение.

Встретила их пожилая женщина довольно приветливо: «Проходите-проходите», как будто даже обрадовалась тому, что хоть кто-то пришел наконец в их забытый домик на окраине, выражаясь по-российски, на выселках.

Внутри домик был просторнее, чем казался снаружи (в России — наоборот), большая кухня с каменным полом служила, видимо, и столовой и гостиной, здесь можно было собрать застолье порядочное.

— Сейчас позову,— сказала Елизавета Васильевна.— Минуточку.— И пошла наверх по опрятной крашеной лестнице.

— Все сокрушается,— вполголоса проговорил агент,— как это они могли поссориться с Юлием Осиповичем, прежде он с утра до ночи пропадал здесь, анекдоты рассказывал, а теперь... Собирается пойти к нему, пристыдить: ай-яй-яй, Юлий Осипович, что же вы забыли про нас, каким я вас пирогом угощала...

По лестнице, живо перебирая ногами, спустился рыжеватый лысый мужчина в косоворотке, крепкий, скуластый, с длинными усами, узкоглазый, видимо работник, поздоровался еще со ступенек на ходу, сойдя вниз, протянул руку Владимиру:

— Ленин.

Первое мгновенное впечатление — они уже где-то виделись, там, в России, и не один раз. Удивительно знакомый облик, таких много на Волге; но первое впечатление тут же сменилось из-за глаз — очень темных и страшно внимательных, острый взгляд сразу вытеснял обыденность, простоватость; и дальше весь его облик от жеста к жесту стремительно менялся, усложняясь и усложняясь, Владимир просто диву дался: как это он, почему, с какой стати принял его за работника?

Хорошее рукопожатие, не мимоходом, а крепкое, обо-

значенное. Иной сунет пальцы тебе, будто счетные палочки — придержи, гость, чтобы они не рассыпались,— и не знаешь, как с ними быть. Он же не просто подал руку, а — взял твою.

— Прошу.— Легкая картавость, короткий жест в сторону лестницы — чуть склонил голову, чуть приподнял руку, но не кивнул и не махнул, а, склонив голову, так и остался на некоторое мгновение, вскинул руку и придержал ее, движения быстрые, но без суеты и ничего лишнего.

Поднялись по ступенькам наверх. Три узких двери — видимо, здесь три комнаты.

— У меня почта,— сказал агент, приподнимая перед собой портфель.

— Надюша! — позвал Ленин, затем приоткрыл ближнюю дверь и уже одному Владимиру повторил свое характерное «прошу».

Небольшая комната, узкая койка, заправленная пледом, с одной подушкой, возле койки стул, на нем свеча в бутылке, второй стул возле письменного стола с книгами, брошюрами, бумагой, свисают разнополосые ленты газетных вырезок, а посредине в бумажном кратере — тяжелая квадратная чернильница.

Ленин переставил бутылку со свечой на подоконник, подул на стул, как-то по-детски дунул, оттопырив губы, подал стул Владимиру, себе подвинул от стола и сел в двух шагах.

Сел — и смотрит молча. И в глазах такое внимание, интерес, можно подумать, агент неправильно его информировал и потому Ленин ждет бог знает какой важной новости. Принимает не за того — вот какое ощущение возникло у Владимира.

Посмотрел-посмотрел — и сразу:

— А где сейчас ваши товарищи: Заломов, Самылин, Моисеев, Лубоцкий?

— В ссылке. Сергей Моисеев в деревне Кульчек Минусинского уезда.— Он сделал паузу, давая возможность Ленину подхватить, сказать: «Знаю, знаю, бывал в этих местах, как же», но Ленин не подхватил, внимал молча, чуть клоня голову.

Надо же — Ленин помнит их имена, до этого ли ему? Владимир рассказал, где сейчас другие товарищи, прикидывая, как бы это так себя подать, неожиданно: «А последний перед вами собственной персоной» или «ваш покорный слуга», но, глянув в его темные глубокие глаза — взгляд Ленина будто отсек лишнее из всего наготовленного,— он сказал только:

— А Лубоцкий — это я.

— Очень хорошо, очень хорошо! — Глаза Ленина заблестели искренней радостью, дополняя его в общем-то светские обязательные слова.— Трудно выбирались? — Спросил участливо, и от его такого тона Владимир неожиданно для себя ответил:

— Да нет, не особенно, легко, пожалуй.

— Гм-гм, не часто услышишь такой ответ.— Ленин улыбнулся, гость ему нравился, и он этого не скрывал. Однако гостю пора бы вспомнить о своей позиции.

— Легко потому, что я видел цель, стремился ее достичь и как будто достиг. Но здесь-то и начались трудности.— Владимир перевел дух, пожалуй, можно и начинать.— Когда я узнал, что тут творится...— Он на мгновение замешкался, ища слова приблизительные, прямое обвинение Ленина пока что никак не вязалось с ситуацией, хоть тресни — не выговоришь, собеседник ждет от тебя чего-то совершенно другого, но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Ленин вставил:

— Творится, творится, большевики — чернь, это вы уже слышали? — Блеск его глаз потух, взгляд стал сумрачным, будто утихшая было боль снова всколыхнулась, но он пытается ее погасить. Еще один облик — человека ра-

нимого.— Пожалуйста, подробнее о товарищах, меня интересует Заломов, вы его хорошо знаете? — И снова — голова чуть набок, впитывает.

Ленин, в сущности, перебил его, не поддался гостю, деликатно удержал его в прежнем русле, вернул к началу разговора.

— С Петром Заломовым мы сошлись, подружились, можно сказать, уже в тюрьме.— И добавил опять для себя неожиданно: — К сожалению.— Он менялся будто от одного взгляда Ленина. Прежде, в Нижнем, не было никакого такого особого сожаления, он нажил его, выходит, позже, скорее всего, здесь уже.

— Почему «к сожалению»? — подхватил Ленин. Чуть коснулись позиции, и он тут как тут.

— Как я теперь понимаю, ничто нам не мешало объединиться с рабочими. Юношеская спесь. Сами Соколы, сами Буревестники.

Ленин понимающе кивнул — можно не продолжать.

— Когда была создана ваша организация?

— Вскоре после проводов Горького, в ноябре первого года. Мы стали выпускать «Летучие листки», сами...

— Как рабочие, Заломов в частности, относятся к Горькому?

— Очень хорошо. Но лучше говорить об отношении Горького к рабочим, оно виднее, и к Заломову, в частности. Алексей Максимович кормил нас всех в тюрьме, я его знаю с детства.— «Не то, не то говорю».— Он передавал в тюрьму деньги, продукты, одежду, книги, конечно. Пригласил из Москвы четырех присяжных поверенных, написал прокламацию в нашу защиту, и только благодаря его вмешательству Заломов избежал каторги. Горький сам побывал в Нижегородском остроге, знает, какие там условия. Он вообще замечательный человек! — Владимира понесло, ухватился за Горького с облегчением, чтобы повременить с главной темой, поговорить пока о

чем-то живом, бесспорном, безраскольном.— Он очень любит всякие искусства, советовал мне непременно стать художником. В девятисотом году он сидел в одной камере с Зиновием Свердловым, братом моего друга Якова. Кстати, запомните это имя: Яков Свердлов! Он будет великим революционером!

Ленин быстро улыбнулся, сощурился, видимо, развеселила его юношеская преданность другу, во всяком случае, столь напористая рекомендация Ленину, судя по всему, понравилась.

— Он тоже был членом вашей организации? — упор на «вашей».

— Нет, Яков был больше связан с комитетом РСДРП, с Чачиной, он жил в Канавино, ближе к рабочим,— несколько упавшим голосом отвечал Владимир, видя, как моментально собеседник все учитывает, нанизывает на свой кукан, делает выводы.

— И что же Горький в камере с Зиновием Свердловым...— напомнил Ленин.

— Познакомился он в тюрьме с Зиновием, а потом, когда вышли, услышал его игру на скрипке, понял, какой он талантливый, ему надо учиться, но еврея не примут в филармонию. И что вы думаете? Горький окрестил Зиновия в церкви, усыновил, и стал Зиновий Пешковым. Уехал в Петербург, что дальше — не знаю.

— М-да, это характеризует. Скажите, а какой вы литературой пользовались для «Летучих листков»? Что вообще читали?

— «Царь-Голод», «Исторические письма» Лаврова, много Михайловского. И, конечно, «Монистический взгляд». Для меня лично это очень важная книга.— Владимир испытующе посмотрел на Ленина, что он скажет о книге своего противника? Настал момент.

— Замечательная книга,— согласился Ленин, поняв ожидания собеседника, но не намереваясь к нему подла-

живаться.— Плеханов — выдающийся пропагандист марксизма! А «Искра» до вас доходила?

— Доходила, но студентов она... почти не интересовала.

«Почти» — мягко сказано, она их совсем не интересовала.

— А рабочих?

— Одни больше читали «Рабочее Дело», другие «Искру». Между прочим, сормовская полиция имела предписание особо следить за рабочими, которые умеют читать, выделяются умственным развитием и которые не пьют.

— Пьянство, идиотизм и невежество — опора режима, так-так! Значит, больше все-таки «Рабочее Дело»?

— К началу второго года «Искра» стала более популярной среди рабочих, они даже деньги собирали, просили комитет выписать «Искру» в их полную собственность. Но интеллигенция по-прежнему... считала «Искру» малоинтересной.

— Это естественно,— вставил Ленин.

— Почему же естественно? В Нижнем довольно большой отряд интеллигенции передовой, демократической, она, знаете ли...

И опять в ту кратчайшую паузу, которая потребовалась Владимиру подыскать слово, Ленин вмешался и продолжил его мысль, однако круто загнув ее на свой лад:

— Она остается буржуазно-демократической,— выделил «буржуазно»,— до тех пор, пока не примет точку зрения рабочего класса. Если в период кружковщины разница между интеллигентской и пролетарской психологией не чувствовалась так остро, то теперь, при переходе к сплоченной партии,— а «Искра» именно к этому и звала,— потребовалась крутая ломка психологии прежде всего у интеллигенции, которая при всем своем передовизме и демократичности отличается крайним индивидуа-

лизмом, неспособностью к дисциплине и организации. Вы не согласны?

— Собственно говоря... это моя мысль!

Ленин рассмеялся, глаза заблестели почти до слез.

— Извините,— сказал он мягко, благодушно.— Позаимствовал.— Солидарность его порадовала, непосредственность рассмешила.

«Моя мысль». Если не мысль, то предчувствие мысли. Именно так: неспособность к дисциплине и организации. Индивидуализм, каждый рвет знамя к себе. Берлинский ералаш, одним словом. Его мысль, только Ленин ее обобщил и выразил...

— А как вы устроились здесь, на что живете, есть ли возможность заработка?

«Почему он не спрашивает, на чьей я стороне? — недоумевал Владимир.— О том говорит, о сем, о Нижнем, о ссылке, о рабочих да о рабочих и ни слова о главном. Или он настолько проницателен, что понимает: спрашивать нет смысла, пока человек не пристал ни к тому ни к другому берегу, а болтается, как...»

Да, действительно он пока не пристал ни к бекам ни к мекам, но потому он и не может пристать, что у него есть определенные принципы. И вот вам один из них:

— В Женеве есть возможность зарабатывать рисованием вывесок, я владею кистью, мог бы. Но не хочу из принципиальных соображений.

— Вон как,— отозвался Ленин, глядя в пол отрешенно, погрузившись в какую-то свою мысль. Странно быстрая перемена, а ведь слово-то какое прозвучало: «принципиально», должно бы приковать внимание.— По каким же? — негромко, машинально, думая о чем-то другом, спросил Ленин.

— Я не хочу этого делать, даже если буду умирать с голоду. Потому что малеванием вывесок здесь, в Женеве, занимался Нечаев.

Ленин быстро вскинул на него мрачный, сверлящий взгляд:

— Но это же смешно. Фарисейство, ханжество, обывательщина. Умирать с голоду и бла-аародные слова говорить. Эк-кая у вас любовь к фразе.

Просто поразительна перемена в нем, стремительная плотная волна негодования, хотя голоса он не повысил, только слова отчеканил звонче.

— Нечаев малевал вывески, и теперь ни один честный художник не может браться за кисть?! — продолжал Ленин с веселым гневом.— Нечаев издал «Коммунистический Манифест» в переводе Бакунина, одним из первых, кстати сказать, еще в семидесятом году, и вы, социал-демократ, не будете его читать по так называемым принципиальным соображениям?

Владимир поежился. Что теперь, оправдываться? Загородиться порочной тактикой нечаевской «Народной расправы»? Будто сам он этого не знает.

Спасительно постучали в дверь.

— Войдите!

Вошел агент с пустым портфелем под локтем, мельком глянул на Владимира, едва-едва заметно улыбнулся, бес. Теперь у них есть возможность наброситься вдвоем, хотя пока и одного хватало. Что ж, давайте. Держись, Бедовый. В схватке ему будет легче, он, наконец, разозлится и скажет все.

— Проходите, Мартын Николаевич, у нас принципиальный разговор,— сказал Ленин без всякой иронии, не думая ставить в кавычки позицию собеседника.

Все-таки удивительно он меняется, не знаешь, чего ожидать, всякий раз у него непредвиденная, не как у других, реакция. В конце концов, на «не хочу малевать вывески» можно было посмотреть раздумчиво, с пониманием — что ж, убеждения есть убеждения, дело сугубо личное. Стремление быть непохожим на честолюбца, скомпро-

метировавшего революционное движение скандалом на всю Европу, похвально, что ж... Но Ленин не стал раздумывать, а сразу влепил оценку, от которой один может взбрындить и обидеться, а другой призадумается. Для него дело Нечаева есть дело Нечаева, а интеллигентская фраза есть интеллигентская фраза, «бла-ародные слова». И действительно, Нечаев не только вывески малевал, он еще и ходил по Женеве, ел, пил, дышал, так что же теперь нельзя ходить, есть, дышать, если ты такой принципиальный?

— Жаль, что я не присутствовал,— сказал агент.— Так и не услышал, с чем пришел к вам наш земляк.

— Это вы сейчас услышите,— напряженно сказал Владимир, не сказал, а заявил.— Разговор у нас действительно важный, для меня, во всяком случае, но я еще не сказал главного. А я обязан сказать, должен, иначе...— «Экская у вас любовь к фразе». Но он все равно выскажет наболевшее, и именно так, как им было продумано заранее. Каким он будет завтра, покажет время, а сейчас он такой, как есть, и это у него не любовь к фразе, а нравственная позиция.— Если я не выскажу вам того, что думаю по поводу раскола, я перестану уважать себя. В расколе виноват Ленин, таково мнение многих.

Глубокие, темные глаза Ленина не мигая смотрели на него, и у Владимира вдруг возникло ощущение промаха, как будто он шел-шел сюда, нес груз, на нем четко аршинными буквами было написано: «Сешерон, улица Фуайе, 10, Ленину», он тащил его сюда, пыхтел, свалил наконец и только сейчас увидел, что адрес на нем не тот, имя неразборчиво и бремя свое надо тащить дальше. Но он все же должен договорить. Все то, что им было не только продумано — выстрадано, не может, не должно измениться от одного только общения с этим человеком. Известно, как подавляюще действовал Бакунин на окружающих, но что с того, он оказался исторически не-

прав. И Владимир закончил, придавая голосу твердость:

— Лично у меня сложилось такое же убеждение.

— Только знания дают убеждение,— негромко тотчас сказал Ленин, выделив «только знания».

Фраза имела смысл сама по себе, вне связи с разговором, и в то же время в ней прозвучал скрытый упрек: вы мало знаете, молодой человек, для того чтобы сложилось убеждение.

— «Виноват в расколе...» — глуховато повторил Ленин. Невелика для него новость, но привыкнуть он к ней не может.— Страшен сон, да милостив бог,— бодрее продолжал он.— Насильно мил не будешь.— И дальше с задором, улыбчиво: — Насильно мил не будешь, но мы все-таки попробуем, да, Мартын Николаевич?

Владимир вдруг рассмеялся, легко и обрадованно, «конечно же надо, пробуйте!»

— Мне оч-чень, оч-чень хотелось бы разобраться, товарищ Ленин! — воскликнул он, чувствуя, что потерялся, не владеет собой.— Моя убежденность больше похожа на растерянность, на раздвоенность.

— А мне оч-чень, оч-чень нравится ваша искренность! — в тон ему отозвался Ленин.— А колебания не страшны, раздвоенность — это момент развития, радуйтесь.— Он рывком повернулся к столу, заваленному журналами, книгами, рукописями, они не были свалены в кучу, не расползались, как тесто, а лежали в порядке, тяжелыми стопками. Сдвигая стопки, Ленин склонился, и в свете окна видней стал выпуклый лоб, крупная, надежная голова. «Его легко рисовать,— отметил Владимир.— Только вот глаза ухватить трудно...» И еще подумал, что в такой выпуклой голове не может быть плоских мыслей, природой исключено, но это уже, пожалуй, «любовь к фразе».

— Вот вы и будете третьей стороной в нашем споре.— Он вдруг захохотал, закинул голову.— Спо-о-оре! — Еле

выговорил с веселым бешенством: — Свара, свалка, сволочизм, склока,— о великий и могучий русский язык! — Оборвал смех, даже запыхался слегка.— Это они называют свободной дискуссией — торгашество, демагогию, сплетни! — Он восклицал, продолжая искать, наконец выдернул из стопки несколько скрепленных страниц, подал Владимиру: — Вот, пожалуйста. Ищите наши ошибки, неубедительность, оппортунизм. А сплетни — сплетней факта не перешибешь.

Владимир осторожно принял листки, текст отпечатан на «Ундервуде», вчитываться пока не стал — потом, внимательно,— осторожно свернул в трубку, чтобы не помять.

— Возьмите «Трибунку», старая.— Ленин подал ему газету — завернуть. Внимателен.

— Меня вы найдете в кафе «Ландольт»,— учтиво сказал агент.

Ясно, он остается, а Владимиру пора идти. Однако спешить не хотелось, опять останется в одиночестве.

Снова посмотрел на стол и снова привлекла внимание черная массивная чернильница. «Не хватает ему полета, романтики, грома, молнии»,— говорил Дан.

— Как жерло вулкана,— сказал Владимир, кивая на чернильницу.

Сейчас Ленин скажет, где он ее взял, такую примечательную штуку, кто ему ее подарил, может быть, привез он ее из Енисейской губернии...

— А вы поэт, Владимир свет Михалыч,— сказал Ленин, и только сейчас Владимир понял, какой образ создал: жерло вулкана, лава, всесокрушающая, испепеляющая.

Ленин повернулся от стола, живо сунул руки в карманы, качнулся с носков на пятки, словно разминаясь после долгого сидения.

— Если верить Наполеону,— глаза его лукаво щури-

лись,— пушка убила феодализм, а чернила убьют нынешний строй.

И снова другой облик, еще одна грань — уверенность в своем деле. И бесстрашие — ведь кто-то может сказать: не страдает скромностью Ленин, кто-то может, а ему наплевать, «сплетней факта не перешибешь».

Владимир, наконец, распрощался.

Вышел из домика, постоял, глотая весенний воздух, чувствуя себя несколько ошалелым.

За калиткой он нетерпеливо развернул свое новое бремя взамен того, с которым шел сюда, глянул на заголовок: «Рассказ о II съезде РСДРП». Первые строчки жирно подчеркнуты: «Этот рассказ назначен только для личных знакомых, и потому чтение его без согласия автора (Ленина) равно чтению чужого письма».

Он быстро пошел в парк, решив тут же, не откладывая, прочитать все, начало его заинтриговало.

«Насильно мил не будешь, но мы попробуем...» В сущности, та же самая мысль, которая удивила Владимира еще в Москве, когда он читал «Что делать?». Социал-демократического сознания у рабочих и не может быть. Оно может быть принесено только извне — та же самая мысль.

В парке он сел на свежепокрашенную скамейку. Но прежде проверил — не прилипну ли? Нет, сухо, чисто. Отметил: только так, все на новой основе. Чистой. Свежей. Неподалеку два садовника копошились на клумбе. Прохладой тянуло с озера, покачивались ветки с набухшими почками, готовыми вот-вот лопнуть и обнажить зелень первой листвы.

Итак, «только для личных знакомых». Отныне он — лично знакомый Ленина. Что это ему дает? Легион врагов прежде всего. Если он, разумеется, вовремя не одумается, не откажется от такого знакомства. Занятная ситуация: друзей пока нет, но враги уже наготове. Что ж,

совсем неплохо, мобилизует, заставляет расправить плечи. «Обстоятельства в такой же мере творят людей, как люди творят обстоятельства».

Сначала — выборочно, о главном, о первом параграфе, о разногласиях, потом уже все подряд. «Ищите наши ошибки, неубедительность, оппортунизм». Авось и найдем.

«...Состав съезда определен был предварительно Организационным комитетом, который имел право, по уставу съезда, приглашать на съезд кого найдет нужным, с совещательным голосом. На съезде была выбрана, с самого начала, комиссия для проверки мандатов, в которую (комиссию) перешло все и вся, относящееся к составу съезда. (В скобках сказать, и в эту комиссию вошел бундист, который измором брал всех членов комиссии, задержав их до 3-х часов ночи и оставшись все же «при особом мнении» *по каждому вопросу*.)

Начался съезд при мирной и дружной работе всех искряков, между которыми оттенки в мнениях были, конечно, всегда, но наружу эти оттенки, в качестве политических разногласий, не выступали. Кстати заметим наперед, что раскол искряков был одним из главных политических результатов съезда...

Довольно важным актом в самом начале съезда был выбор *бюро* или *президиума*. Мартов стоял за выбор 9 лиц, которые бы на каждое заседание выбирали по 3 в бюро, причем в состав этих 9-ти он вводил даже бундиста. Я стоял за выбор только трех на весь съезд, и притом трех для «держания в строгости». Выбраны были: Плеханов, я и товарищ Т. ...Разногласие между мною и Мартовым по вопросу о бюро (разногласие, характерное с точки зрения всего дальнейшего) не повело, однако, ни к какому расколу или конфликту: дело уладилось как-то мирно,

само собою, «по-семейному», как улаживались большею частью вообще дела в организации «Искры» и в редакции «Искры»».

Здесь, пожалуй, Ленин зря успокаивает своих «личных знакомых». Если у Мартова есть самолюбие, то оно уже ущемлено дважды: не прошло его предложение о выборе девяти, а сам он не вошел в число трех. Важный фактор. А предложение Ленина «для держания в строгости» уже пахнет «ежовыми рукавицами». Однако пусти бундиста в президиум, и он вместо съезда устроит берлинский ералаш. Так что позвольте, уважаемый автор, с вами не согласиться насчет «мирно, само собою», «по-семейному», тут уже некая закавыка возникает.

Пойдем дальше.

«...Во-первых, стоит отметить эпизод с «равноправием языков». Дело шло о принятии программы, о формулировке требования равенства и равноправности в отношении языков. (Каждый пункт программы обсуждался и принимался отдельно, бундисты чинили тут отчаянную обструкцию и чуть ли не $^2/_3$ съезда, по времени, ушло на программу!) Бундистам удалось здесь поколебать ряды искряков, внушив части их мысль, что «Искра» не хочет «равноправия языков»,— тогда как на деле редакция «Искры» не хотела лишь этой, неграмотной, по ее мнению, несуразной и лишней формулировки. ...Страсти разгорелись отчаянно и *резкие* слова бросались *без числа...*»

Прямо скажем, Владимир ожидал большей солидности, все-таки не студенты и не рядовые эсдеки, а делегаты от комитетов из России, доверенные посланцы. Уж слишком это ему знакомо.

«Другой эпизод — борьба из-за § 1 «устава партии». ...Пункт 1-ый устава определяет понятие члена партии. В моем проекте это определение было таково: «Членом Российской социал-демократической рабочей

партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным *участием в одной из партийных организаций»*. Мартов же вместо подчеркнутых слов предлагал сказать: *работой под контролем и руководством одной из партийных организаций.* За мою формулировку стал Плеханов, за мартовскую — остальные члены редакции (за них говорил на съезде Аксельрод). Мы доказывали, что необходимо *сузить* понятие члена партии для отделения работающих от болтающих, для устранения организационного хаоса, для устранения такого безобразия и такой нелепости, чтобы могли быть организации, состоящие из членов партии, но не являющиеся партийными организациями, и т. д. Мартов стоял за *расширение* партии и говорил о широком классовом движении, требующем широкой — расплывчатой организации и т. д. Курьезно, что почти все сторонники Мартова ссылались, в защиту своих взглядов, на «Что делать?»! Плеханов горячо восстал против Мартова, указывая, что его жоресистская формулировка открывает двери оппортунистам, только и жаждущим этого положения в партии и вне организации. «Под контролем и руководством» — говорил я — означают на деле не больше и не меньше, как: *без всякого контроля и без всякого руководства.* Мартов одержал тут *победу*: принята была (большинством около 28 голосов против 23 или в этом роде, не помню точно) его формулировка, *благодаря* Бунду, который, конечно, сразу смекнул, где есть щелочка, и всеми своими *пятью* голосами провел «что́ похуже» (делегат от «Рабочего Дела» именно так и мотивировал свой вотум за Мартова!). Горячие споры о § 1 устава и баллотировка еще раз выяснили политическую группировку на съезде и показали наглядно, что Бунд + «Рабочее Дело» могут *решить судь-*

бу любого решения, поддерживая меньшинство искровцев против большинства».

Два года назад Владимир охотно голосовал бы за мартовскую формулировку. И не по молодости, не по глупости, а в полном соответствии с тем положением, которое сложилось у них в Нижнем. Был Нижегородский комитет РСДРП и была Нижегородская социал-демократическая организация. Попробовал бы кто-нибудь тогда объединить их, завопили бы в один голос — зачем? Комитет, так сказать, взрослый, организация — молодежная, хотя тому же Петру Заломову было двадцать пять лет, а Сергею Моисееву двадцать три. Комитет принял решение провести 1 мая демонстрацию в рабочем Сормове, организация приняла решение провести демонстрацию в самом Нижнем. Комитет на случай разгона и арестов приказал некоторым своим товарищам, уже известным полиции, на демонстрацию не выходить, отсидеться дома, чтобы потом продолжать борьбу. «Поспешность, как было сказано, нужна при ловле блох». Организация же и мысли такой не допускала, рвались в бой все, никто не пожелал отсиживаться для какого-то там проблематичного сохранения сил. «Безумству храбрых поем мы песню». Комитет высказался решительно против демонстрации в Нижнем — к чему бессмысленные жертвы? — но горячие головы, прежде всего Моисеев с Лубоцким, стояли на своем: выйдем — и точка! Стороны собирались в лесу на сходку, спорили до хрипоты, к согласию не пришли. И вот 5 мая под вечер в городском саду на берегу Волги, где собралась гуляющая молодежь, раздался вдруг лихой свист, быстро сбежались демонстранты к Георгиевской башне кремля, подняли красное знамя со словами «Долой самодержавие!» и запели: «Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный!» Рослый, высокий, как мачта, столяр Михайлов размахивал знаменем. Толпа гуляющих сначала замерла, потом двинулась к ним. Пона-

бежали жандармы, пытались пробиться к знамени, но молодежь не пускала. А Лубоцкий еще успел бросить в толпу пачку «Летучих листков». Подоспел воинский караул, началось избиение демонстрантов. Откуда-то понагнали пустых телег, хотели побросать в них смутьянов, но они отбивались, возникла свалка, и все-таки в окружении жандармов, солдатского караула и с вереницей пустых телег три десятка бунтовщиков были препровождены в тюрьму. Всю дорогу, кстати сказать, они не закрывали рта, пели, орали во всю мочь: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

До сих пор по спине мурашки, этого часа ему никогда не забыть, великого подъема и вдохновения, бесстрашия и ликования — ничто их не могло ни напугать, ни сломить! Демонстрацией он будет всегда гордиться, никто ему не запретит, никто его не переубедит, что она была напрасной тратой сил.

Хотя так оно и есть — напрасной тратой. И факт остается фактом — с комитетом они действовали вразнобой, о какой-то там дисциплине не могло быть и речи — свобода, самостоятельность! Именно так и было: без всякого контроля и без всякой организации, Ленин прав.

Да так было не только в Нижнем. В Петербурге действовали врозь аж три социал-демократических организации, и каждая намеревалась послать своего делегата на съезд. В Саратове вместе жили не тужили в одной организации эсдеки и эсеры без всяких разногласий. Так что призыв Ленина: «Прежде чем объединяться, нам надо размежеваться» — прозвучал не случайно, он отражал положение на местах...

Итак, по первому параграфу Владимир голосует вместе с Плехановым. Ленин его убедил. Почему, спрашивается, Ленин? Жизнь его убедила, его личный опыт, опыт многих других. Который, однако, учтен был и выражен

именно Лениным. Так что ясно с первым параграфом. Как будто бы ясно, но! Победил-то все-таки Мартов, а Плеханов с Лениным подчинились голосованию, а значит, и ты, Лубоцкий, вынужден будешь подчиниться, если намерен признать решения съезда для себя законом.

Ситуация...

Но почему победитель Мартов разъярился, почему началась склока, свара, свалка, сволочизм? Или все это было потом?

> «Несмотря на эту порчу устава, весь устав в целом был принят всеми искряками и всем съездом. Но после общего устава перешли к уставу Бунда, и съезд отверг *подавляющим* большинством голосов предложение Бунда (признать Бунд *единственным* представителем еврейского пролетариата в партии). Кажется, один Бунд стал здесь почти против всего съезда. Тогда *бундисты ушли со съезда, заявив о выходе из партии.* У мартовцев убыло пять их верных союзников! Затем и рабочедельцы ушли, когда «Заграничная лига русской революционной социал-демократии» была признана *единственной* партийной организацией за границей. У мартовцев убыло еще 2 их верных союзника!
>
> ...Скандалом было возбуждение вопроса об утверждении старой редакции, ибо достаточно заявления хоть одного редактора, чтобы съезд обязан был *рассмотреть* весь целиком вопрос о составе ЦО, не ограничиваясь простым утверждением. Шагом к расколу был *отказ* от выбора ЦО и ЦК».

Можно закурить и передохнуть — сейчас начнется самое главное.

Садовники закончили свою работу, сняли длинные фартуки, сложили их и ушли. Черная рыхлая клумба приняла очертания торта. В центре ее зеленела рассада. Солнце клонилось к закату, в парке прибавилось публики,

по песчаной дорожке вокруг клумбы двинулся хоровод нянек, мам и бабушек с цветными детскими колясками. Чинно, медленно. Старики с газетами занимали крашеные скамейки, но к Владимиру почему-то никто не подсаживался, любезные женевцы словно чувствовали важность момента в судьбе этого одинокого русского на голубой весенней скамейке.

Значит, после ухода пятерых бундистов и двоих рабочедельцев состав съезда в определенной степени выравнялся. Почему ушли бундисты, понятно. Понять рабочедельцев тоже нетрудно — они остались без дела. Если Лига объявлена единственной партийной организацией здесь, то «Союз русских социал-демократов за границей» со своим журналом «Рабочее Дело», отражавшим точку зрения «экономистов», утрачивал всякое политическое значение.

На съезде, таким образом, остались, можно сказать, почти все свои. Тем не менее началась беда.

Владимира сразу же насторожила фраза Ленина: «Скандалом было возбуждение вопроса об утверждении старой редакции». Непонятно, что тут скандального. Если шестеро членов редакции — Плеханов, Ленин, Мартов, Аксельрод, Засулич и Потресов (Старовер), создатели Центрального Органа, авторитетной газеты, хорошо себя проявили, то что может быть скандального в вопросе об их утверждении? К чему еще какие-то выборы?

> «Я лично, за несколько недель до съезда, заявил Староверу и Мартову, что потребую на съезде *выбора* редакции; я согласился на выбор 2-х троек, причем имелось в виду, что редакционная тройка *либо* кооптирует 7 (а то и больше) лиц, *либо* останется одна (последняя возможность была специально оговорена мною). Старовер прямо даже сказал, что тройка значит: Плеханов+Мартов+Ленин, и я *согласился* с ним,— до такой степени для всех и всегда было ясно, что только

такие лица в руководители и могут быть выбраны. Надо было озлиться, обидеться и потерять голову после борьбы на съезде, чтобы приняться задним числом нападать на целесообразность и дееспособность тройки. Старая шестерка до того была недееспособна, что она *ни разу за три года* не собралась в полном составе — это невероятно, но это факт. *Ни один* из 45 номеров «Искры» не был составлен (в редакционно-техническом смысле слова) кем-либо кроме Мартова или Ленина. И *ни разу* не возбуждался *крупный* теоретический вопрос никем кроме Плеханова. Аксельрод не работал вовсе (ноль статей в «Заре» и 3—4 во всех 45-ти №№ «Искры»). Засулич и Старовер ограничивались сотрудничеством и советом, *никогда* не делая чисто редакторской работы. Кого следует выбрать в *политические руководители*, в *центр*,— это было ясно как день для всякого члена съезда, после месячных его работ.

Перенесение на съезд вопроса об утверждении старой редакции было *нелепым провоцированием на скандал.*

Нелепым,— ибо оно было бесцельно. Если бы даже утвердили шестерку,— один член редакции (я, например) потребовал бы переборки коллегии, разбора внутренних ее отношений, и съезд обязан был бы начать дело сначала.

Провоцированием на скандал,— ибо *неутверждение* должно было быть понято *как обида*,— тогда как выбор заново ровнехонько ничего обидного в себе не включал. Выбирают ЦК,— пусть выберут и ЦО. Нет речи об утверждении ОК,— пусть не будет речи и об утверждении старой редакции.

Но понятно, что, *потребовав* утверждения, мартовцы *вызвали* этим протест на съезде, протест был воспринят как *обида*, оскорбление, *вышибание*, отстране-

ние... и началось сочинение всех ужастей, которыми питается теперь фантазия досужих сплетников!

Редакция ушла со съезда на время обсуждения вопроса о выборе или утверждении. После отчаянно-страстных дебатов *съезд решил: старая редакция не утверждается*. (Один мартовец держал *такую* речь при этом, что один делегат закричал после нее секретарю: вместо точки поставь в протоколе слезу!)

Только после этого решения *бывшие* члены редакции вошли в залу. Мартов встает тогда и отказывается от выбора *за себя* и за своих коллег, говоря всякие страшные и жалкие слова об «осадном положении в партии» (для невыбранных министров?), об «исключительных законах против отдельных лиц и групп»...

Я отвечал ему, указывая *невероятное смешение политических понятий*, приводящее к протесту против выбора, против переборки съездом коллегий должностных лиц партии.

Выборы дали: Плеханов, Мартов, Ленин. *Мартов опять отказался*. Съезд принял тогда резолюцию, поручающую двум членам редакции ЦО кооптировать себе 3-го, *когда они найдут подходящее лицо*».

На скамейку подсели две девушки, по виду студентки, и, мило грассируя и гундося, заговорили по-французски. Владимир понял только: Поль Верлен... декаданс... шарман. Они восхищались стихами и, посматривая на рукопись в руках молодого человека, недоумевали, как можно интересоваться чем-то другим. Знали бы они, какие страсти в этой прозе,— Верлену не передать.

Старая редакция... Вера Засулич — живой символ отмщения и справедливости, имя ее останется навсегда в революционном движении. Она достаточно сделала для истории, чтобы позволить себе ничего не делать в редакции. Но Ленин — человек дела, в этом Владимир убедился сегодня, человек предельно откровенный, прямой, жест-

кий, он не намерен превращать редакцию в паноптикум, в музей восковых фигур, для него те, кто не помогает,— мешают. Личная воля Ленина — выбор тройки — стала волей съезда. И Вере Засулич, оставаясь на пьедестале, можно было великодушно с этим решением согласиться. Но она скромная женщина, не ощущает своего величия и подвержена простым человеческим слабостям, тем более что слабости отчаянно подогреваются другими простыми смертными, она обижена, огорчена, расстроена...

«Рассматривая поведение мартовцев после съезда, их отказ от сотрудничества (*о коем редакция ЦО их официально просила*), их *отказ* от работы на ЦК, их пропаганду бойкота,— я могу только сказать, что это безумная, недостойная членов партии попытка разорвать партию... из-за чего? *Только* из-за недовольства составом центров, ибо *объективно т о л ь к о* на этом мы разошлись, а субъективные оценки (вроде обиды, оскорбления, вышибания, отстранения, пятнания etc. etc.) *есть плод обиженного самолюбия и больной фантазии.*

Эта больная фантазия и обиженное самолюбие приводят прямо к позорнейшим *сплетням*, когда, *не зная и не видя еще деятельности новых центров*, распространяют слухи об их «недееспособности», об «ежовых рукавицах» Ивана Ивановича, о «кулаке» Ивана Никифоровича и т. д.

Доказывание «недееспособности» центров *посредством бойкота их* есть невиданное и неслыханное нарушение *партийного долга*, и никакие софизмы не могут скрыть этого: *бойкот есть шаг к разрыву партии.*

Русской социал-демократии приходится пережить последний трудный переход к *партийности* от кружковщины, к *сознанию революционного долга* от обывательщины, к *дисциплине* от действования путем сплетен и кружковых давлений».

...Странно все-таки, что девушки заговорили именно о Верлене. Может быть, побывали в музее только что, видели бюст его — голова очень похожа на Ленина. А Верлен, говорят, похож на Сократа. Еще одна цепочка... По каким-то невидимым путям идет связь во времени и в пространстве, только присмотрись, прислушайся — и мир вокруг полон совпадений, возрождения, разноликого единства.

Одна из девушек достала из сумки бриошь, разломила ее пополам, подала подружке, и обе поднесли белый пышный хлеб ко рту и на мгновение будто принюхались, как к цветку, прежде чем разжать губы.

Владимир отвел глаза в сторону. Сразу вдруг вспомнил дом, клеенку на столе, пестрый передник матери. Длинно вздохнул. «Надо сегодня написать домой. Мама, я уже большой, не тревожься, не плачь». И думать сразу о другом, о другом! Почему-то больно, все еще слишком больно вспоминать о доме.

«Надо жить проще,— говорит ему Дан.— Пойдем сегодня к девицам, у меня тьма знакомых в университете. Хорошенькие глазки, тонкий стан — и сразу будет у тебя гармония с миром».

А Владимиру не хотелось. Казалось, он зря только потратит время, такое нужное, заграничное, отпущенное ему судьбой для... для чего?

«Жить проще». А он считает, в эмиграции жить нельзя, можно только готовиться. Как на курсах, которые тебе слишком дорого стоят.

«Зачем тебе столько знать? — вопрошал Дан.— Плеханов, Маркс, философия. Лишнее знание — лишняя скорбь».

И опять не то, хотя и мудро вроде бы про скорбь. Знает он слишком мало, и скорбно ему не от избытка, а от недостатка. Не может он здесь снизойти до «просто жизни», захочет, да не получится. Та же проблема перед

ним, что и в Рождественском,— как человеку стать челом века.

«А не слишком ли высоко ты ставишь свое предназначение?» — придирался Дан.

Нет, не слишком. Предназначение — каждого! — нельзя ставить иначе — только высоко. Вот потому и нет у него здесь так называемой личной жизни.

Владимир выпрямился, поднял глаза — вечереет, густо-синее небо, тонкие ветки сеткой, и ему легко — от весны, от влажного ветра с озера, от смутных надежд. Еще прислушался к девушкам, пожалел, не знает французского — взял бы строчку из Верлена на память, подходящую, поднялся со скамьи и пошел.

Над Роной постоял на мосту, посмотрел на островок посреди реки, на нем среди деревьев памятник Руссо — изгнанному, а потом ставшему гордостью...

Постоял, посмотрел на воду — теперь она течет в другую сторону. Усмехнулся: как мало надо, чтобы обратить реку вспять,— повернуться вокруг себя, всего-навсего. Вспомнил упрямца, которого придумал по дороге в Сешерон,— все к морю, а он из моря. Но ведь можно в такой образ вложить и другой смысл — от массы народной, вобрав ее чаяния и надежды, он рвется в неведомое, неся волну, волнение глубин в новые дали.

Владимир совсем не ожидал, что может вызвать своей персоной какой-то интерес у Ленина, которого называли и генералом, и централистом, упрямцем, человеком несговорчивым, резким... Выходило, Ленин — путы на ногах, ярмо на шее эсдеков. Однако при всем их тщании выдумать оскорбление покруче, никто не отказывал Ленину в остроте ума, в твердости его позиции и вообще в силе.

Как бы то ни было, что бы там ни говорили, а лично для Владимира Ленин оказался первым человеком, пожелавшим узнать, что представляет собой сей молодой бег-

нец из России, что он видел, что пережил, о чем думал. Первым человеком, для которого их нижегородское дело оказалось интересным, важным, а разделение их на студентов и рабочих еще и показательным. Трудно было предположить, что их скромные имена здесь так хорошо известны.

Это — в общем, а в частности — с ним хочется говорить, с ним легко и трудно, он не дает тебе растекаться мыслью по древу, подталкивает твой рассказ, тянет именно ту ниточку, которая для него важна, существенную, значительную, ты о ней и не подозревал прежде, а теперь видишь ее значение вместе с ним и самому себе диву даешься — надо же, на что способен. Ленин спрашивал, вникал твой ответ и приглядывался, прощупывал, кто ты есть, что собой представляешь как личность. Переосмысление, переоценка происходили тут же под его жадным взглядом, от его дотошных вопросов. Ленин совсем не говорил о себе, и не только из скромности, просто ему не требовалось — о себе, он хотел знать о других, обо всем, что творится в России большой и малой,— знать, знать, знать. «Только знания дают убеждение». Пожалуй, он мог показаться и простаком в своем открытом любопытстве к мелочам, но только на первый взгляд, а на самом деле — стоило Владимиру упомянуть какой-нибудь факт, как он тут же увязывал его с другим, развивал, обобщал, задавал уточняющие вопросы, и в характере их уже заключалось направление ответа и подспудная связь с тем, что он узнал прежде. Сплеталась единая вязь событий, имен, суждений, и все это устремлялось к цели, которую Ленин представлял отлично, а Владимир — нет, не понимал, как не понимает начинающий шахматист, почему гроссмейстер сделал именно такой ход, ни вашим ни нашим, без всякой видимой выгоды.

Он непохож на всю другую эмиграцию своим страстным вниманием ко всему и всем, и к тебе в частности,

своим неуемным (они говорят «бешеным») стремлением сделать из кружков партию, а из толпы строй.

Рядом с ним Владимир понял, чего ему не хватало, кого,— организации, организатора.

Не слишком ли быстро он это понял — за одну встречу, за какие-то считанные минуты общения?

Нет, он ждал этого давно, теперь ему кажется, всегда, с той поры, как остался один и появилась потребность поразмышлять. Он ждал приобщения два года, очень важные два года своего перехода от юности к зрелости. И в его ожиданиях и сомнениях не хватало именно того, кому все эти их эмигрантские разрозненные дела, слова, переживания и страдания оказались бы нужны для соединения, сведения их в острый луч силы, который прочертил бы линию дальнейших действий.

Ведь не просто из чувства коллективизма они сюда собрались, не ради накопления воспоминаний о демонстрациях, приговорах, побегах. Все это количество должно стать качеством, новым шагом к какому-то новому действию в новых условиях. Ибо не пойдешь вспять по своим стопам, не вернешься тут же в Россию, где тоскует по тебе тюрьма, Туруханский край или Якутка. Но и здесь ты долго не проживешь, питаясь одними спорами, байками, арестантскими песнями, каторжным фольклором. Надоест скоро демонстрировать свои бойцовские качества вхолостую, полемический темперамент, ораторские рулады, хотя для многих эти страсти-мордасти так и останутся на всю жизнь царящими — и роковыми...

Версия о Ленине не совпала. Но не совпала и версия о себе — намерения Владимира призвать к порядку возмутителя спокойствия оказались пустыми хлопотами.

После встречи в Сешероне, после знакомства с «Рассказом...» дни наполнились смыслом, появился центр притяжения. Он нужен Ленину такой, как есть. Не бросивший ни одной бомбы и никого не убивший. Ничего не

сделавший для революции, почти ничего, если без самоуничижения, но — желающий сделать многое! И посвятить этому не день, не два и не месяц-другой, а всю свою жизнь.

Он нужен Ленину, а Ленин нужен ему — такой, как есть.

Дома он снова перечитал «Рассказ...», заполняясь ясностью после дерготни сомнений, недоумения и досады. В последнее время его все чаще охватывала раздражительность, он чувствовал, пришла, наверное, пора погружения в психоз эмигрантского бытия. Кажется, еще немного — и поедет он к Форелю в Цюрих лечиться гипнозом, как Аксельрод. Отчаянно искал, к чему стремиться, кого держаться. И потому встреча в Сешероне оказала на него такое молниеносное действие.

На другой же день встретился с агентом и попросил у него протоколы съезда. Он мог бы их прочесть и раньше, но... не особенно влекло. А теперь вот ухватился, листал нетерпеливо, вырывая куски то здесь, то там, высматривая знакомые имена, натыкаясь на неожиданные оценки. Тут были не только параграфы устава, предложения и резолюции, но и различные толкования марксизма, примеры из российской жизни, схватка позиций и характеров. Очень резкой показалась Владимиру предложенная Аксельродом резолюция по эсерам: «...«социалисты-революционеры» теоретически и практически противодействуют усилиям социал-демократов сплотить рабочих в самостоятельную политическую партию, стараясь, наоборот, удержать их в состоянии политически-бесформенной массы, способной служить лишь орудием либеральной буржуазии,— съезд констатирует, что «социалисты-революционеры» являются не более, как буржуазно-демократической фракцией, принципиальное отношение к которой со стороны социал-демократии не может быть иное, чем к либеральным представителям буржуазии вообще...»

В протоколе двенадцатого заседания 23 июля поймал знакомое имя в сноске: «Председатель читает следующее сообщение: Из Александровской тюрьмы перед отправкой в Якутскую область бежали Махайский и Миткевич...» Как будто все сговорились убедить Владимира, что Махайский — не миф, а лицо реальное. Бежал из знаменитого централа, теперь в Женеве и, по словам Дана, уже издал свой труд. Где теперь его агент Тайга?..

«Рассказ...», протоколы, беседы с агентом, выяснение с ним некоторых частностей, па которые протоколы лишь намекали,— все это позволило Владимиру представить более или менее полную картину жизни эсдеков за последние два года. Помогли, конечно, и новые знакомства — с Грачом (Николаем Бауманом), с Папашей (Максимом Литвиновым), героями побега из Лукьяновской тюрьмы в Киеве — через крепостную стену, с веревками, лестницами, совсем по Вальтеру Скотту, как в средние века. Были здесь Лепешинские, Землячка, Гусев, Ногин, Фотиева, недавно бежавшая из Вятской ссылки. Но особенное впечатление произвели Бончи — Вера Величкина и ее муж Бонч-Бруевич, дочь священника и дворянский сын. Маленькая хрупкая Вера Михайловна в молодости была дружна с Львом Толстым (еще одна цепочка связи), вместе с ним помогала голодающим в Рязанской губернии, переписывала его рукописи, потом уже вместе с Бончем сопровождала крестьян-духоборов в Канаду, прожили они там почти год. Окончила университет в Цюрихе, врач, знает европейские языки и что т кое петербургская тюрьма тоже знает. А сам Бонч — вот уж у кого действительно бешеная предприимчивость — создал склады марксистской литературы для отправки в Россию почти во всех столицах Европы — в Париже, Лондоне, Берлине, в Праге, Вене, Амстердаме, в Будапеште, в Софии, а также в Милане и Неаполе, в Марселе, не говоря уже о Швейцарии — в Женеве, в Цюрихе, в Берне, в Лозанне. Дружили Бончи

и с Плехановыми и с Аксельродами, но все это до, до... А на съезде приняли твердо сторону Ленина.

Не было тогда разделения и тем более вражды. Жили дружно, конфликты разрешались мирно, «по-семейному». Все началось со съезда, бурно развилось после него, и главный виновник тому — Ленин.

До встречи с ним Владимир принимал как данное: в смуте виноват Ленин. Однако же после встречи...

После встречи «как данное» подтвердилось. Только глагол «виноват» оказался неподходящим.

Не будем спешить с глаголом, сказал себе Владимир, представив себя одним из многих непосвященных, посмотрим трезво, в чем причина раскола, можно ли было его избежать, кому или чему он пошел на пользу, а кому или чему во вред. Подумаем не спеша, прочувствуем, ибо верно было сказано Фейербахом: думать — значит связно читать евангелие чувств.

О пользе для непосредственных участников событий не может быть и речи, все издерганы, измотаны, больны.

Но ведь сами участники — далеко еще не вся Россия, ни передовая, ни косная. А ведь ей, России, раскол известен, и чем дальше, тем больше даются всему оценки, обретают стороны приверженцев и противников, ищут пользу и ищут вред.

Свою выгоду найдет в расколе, к примеру, Зубатов, бывший «свободолюбец», департамент полиции, самодержавие как таковое.

Ну а другая сторона, такие, к примеру, как он, Владимир Один-Из-Многих, прибывший сюда в разгар схватки, когда меки бренчат, а беки молчат, может ли он извлечь в расколе для себя пользу? Теперь ему кажется, окунувшись в эмиграцию, наблюдая, слушая, размышляя, он подсознательно взрастил в себе потребность отделения овец от козлищ. «Так жить нельзя,— думал он,— раскол необходим»,— но сама мысль такая выглядела конъюнкт-

венной, контрреволюционной: зачем же раскол перед лицом самодержавия?

Так что только в тайне он мог держать свой вывод о нужде в размежевании, а если уж говорить, так как-нибудь поточнее: не раскол нужен и важен, а — возможность обретения позиции. Необходимость появления сторон. А для этого требуется заострение организационной идеи. В месиве суждений, в грохоте дебатов на съезде и после него появились наконец стороны, а значит, и возможность, и даже необходимость сделать выбор.

Раскол в партии или только между ее лидерами?

А может ли партия сохранить единство, если нет мира между ее лидерами?

Надо полагать, может. Но при условии: если партия уже создана, сплочена и организована на определенных демократических принципах, тогда борьба лидеров не поколеблет ее устоев.

Кто же лидеры? Плеханов, Ленин, Мартов — три наиболее крупные фигуры в русской социал-демократии ко времени начала съезда, наиболее активные члены редакции «Искры». Мартов и Ленин к тому же соратники по «Союзу борьбы» в Петербурге, вместе арестованы и отправлены в ссылку, один в туруханскую, другой в минусинскую. Почти ровесники — Мартову тридцать лет, Ленину тридцать три. Плеханов старше их на целое поколение, ему уже сорок восьмой год, патриарх (фактор вроде бы не существенный, однако же стоит его придержать в памяти).

До съезда все трое вместе, устремления их едины.

На съезде Мартов выбывает из тройки.

После съезда к нему присоединяется Плеханов.

Ленин остается один.

Бывшие друзья перестают здороваться. Завидев Ленина, идущего навстречу, Мартов переходит на другую сторону улицы.

Что же произошло на съезде? Много кое-чего. Можно вспомнить, к примеру, как хорошо пел Гусев, делегат из Ростова (не на заседании, конечно), настолько хорошо, что привлек внимание полиции, и съезду пришлось кочевать из Брюсселя в Лондон. Если же перейти к делу, выделяются четыре момента: инцидент с ОК (Организационным Комитетом); дебаты о «равноправии языков» (или «об ослах»); спор по первому параграфу устава и, наконец, выборы в партийные центры — в Центральный Орган и в Центральный Комитет.

Готовил съезд Организационный комитет. Избирался он дважды, сначала на конференции представителей РСДРП в Белостоке весной 1902 года, но вскоре почти все его члены были арестованы, и ОК дважды доизбирался: в Пскове в ноябре того же года (когда Владимира из Нижнего перевезли в Москву) и в Орле в феврале 1903. В конечном счете в ОК вошли социал-демократы разных оттенков: два представителя группы «Южный рабочий», один бундист (стоил многих), но преобладали искровцы, и это естественно — партия создавалась не по воле стихий, а под непосредственным и последовательным воздействием «Искры».

ОК тщательно разработал устав съезда, провел его через все комитеты в России, после чего утвердил. В уставе, в частности, говорилось: «Все постановления съезда и все произведенные им выборы являются решением партии, обязательным для всех организаций партии. Они никем и ни под каким предлогом не могут быть опротестованы и могут быть отменены или изменены только следующим съездом партии».

Если учесть, что партия состояла из разрозненных групп, кружков, то в этом пункте устава уже можно было заметить и «чудовищный централизм» и «ежовые рукавицы». Однако же устав был принят как нечто само собой разумеющееся, он выражал волю революционеров, являл-

ся своего рода честным словом каждого русского социал-демократа, гарантией того, что съезд не превратится в болтовню, в перетягивание каната и тяжкий труд по созыву делегатов, связанный с опасностями, риском, расходами, не пропадет даром.

По уставу ОК имел право кого-то приглашать на съезд с совещательным голосом, а кому-то отказывать. Так, было отказано группе «Борьба», созданной в Париже в 1900 году. Эта группа причисляла себя к социал-демократии, но больше на словах, а на деле всякий раз отступала от социал-демократических воззрений и тактики, никакой связи с организациями в России не поддерживала и своими выступлениями вносила разнобой в ряды эсдеков за границей.

Получив отказ, «Борьба» внесла свой протест, но ОК отклонил его, причем дважды — до съезда и в начале его, в комиссии по проверке мандатов. А потом вдруг уже в работе съезда, в перерыве ОК устроил совещание «у окошка» и по инициативе Штейн, искровки кстати сказать, решил пригласить на съезд Рязанова, одного из активистов «Борьбы».

Плеханов, Мартов и Ленин дружно обрушились на неожиданный курбет ОК, обвиняя его в непоследовательности, в нарушении суверенности съезда, и добились резолюции, по которой ОК не мог влиять на состав съезда. Ленин сказал с трибуны: «...товарищи, бывавшие на заграничных конгрессах, знают, какую бурю возмущения вызывают всегда там люди, говорящие в комиссиях одно, а на съезде другое». Тогда Штейн (начхать ей на заграничные конгрессы) заявила о своем выходе из организации «Искры».

Инцидент с ОК показал, что в сплоченных рядах искровцев появились «искровцы, стыдящиеся быть искровцами».

Дебаты по «равноправию языков» начали бундисты.

В проекте программы говорилось о равноправии всех граждан, независимо от пола, национальности, религии. Бундистам этого показалось мало, они потребовали особо оговорить право каждой национальности учиться на своем языке и обращаться в государственные учреждения только на родном языке. Один многоречивый бундист, увлекшись, мимоходом взял для примера государственное коннозаводство, на что Плеханов бросил реплику: о коннозаводстве не может быть речи, поскольку лошади не говорят, а вот ослы иногда разговаривают. Бундисты обиделись, в перерыве дело дошло до скандала, чуть не до драки. Съезд разделился пополам, бундистам удалось внушить делегатам, и даже некоторым искровцам, будто «Искра» против равноправия языков.

Равноправие национальностей необходимо, что и говорить, но нужно, полагают бундисты, вписать еще и «равноправие языков», чтобы съезд не заподозрили в чем-нибудь таком-этаком, в русификаторстве например. (Националисты тем и живы, что считают всех других себе подобными.) Вставить о равноправии языков, хотя само собой должно быть понятно: если равноправие, то во всем, в языке тоже, так нет же, надо вставить слово, «чтобы нас не заподозрили» (на воре шапка горит?). Вставить слово, не обращая внимания на принцип равноправия граждан. Бояться не принципиальной ошибки, а того, что скажут нерадивые. Вопрос пришлось отложить, собрать комиссию, которая нашла формулировку, принятую единогласно.

Позднее, на съезде Лиги Мартов вспомнил: нам сильно повредила острота Плеханова об ослах. Ленин тоже не увидел в остроте мягкости, уступчивости, осмотрительности, однако нашел странным, что Мартов, признавая принципиальное значение спора, не утверждает принцип, а лишь указывает на вред острот.

Но это будет потом, а пока на съезде Плеханов, Ленин

и Мартов едины и в инциденте с ОК, и в дебатах по языку, хотя ряды искровцев к тому времени уже поколеблены дважды.

Поворот Мартова начался при обсуждении первого параграфа устава, который определял понятие члена партии. Одни сочли, что Ленин с Мартовым разошлись в мелочах, а потом стали горячиться, не желая уступать, другие,— что по существу. Как-никак, понятие члена партии вопрос серьезный, не зря он стоит в уставе первым пунктом. «Чем шире будет распространено название члена партии, тем лучше»,— заявил Мартов. Лучше ли, если распространять название, форму без должного содержания, этикетку, мундир, тару? Ленин же, наоборот, ратовал за необходимость сузить понятие члена партии «для отделения работающих от болтающих, для устранения организационного хаоса».

Горячо восстал и Плеханов против мартовской формулировки, утверждая, что она «открывает двери оппортунистам, только и жаждущим этого положения в партии и вне организации».

Владимир обратил внимание, кстати сказать, на то, что выступления Плеханова приведены в протоколах подробнее других. Георгий Валентинович наверняка проверял потом секретарские записи, восстанавливал сокращения, вписывал, расширял, как в статье. Свое согласие с Лениным он выразил в такой витиеватой форме: «Я не имел предвзятого взгляда на обсуждаемый пункт устава. Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то сей, то оный на бок гнется». Но чем больше говорилось об этом предмете и чем внимательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина».

Однако Ленин и Плеханов были биты — при голосовании. И ты, Лубоцкий, теперь иже с ними.

Тем обостреннее стала борьба при выборах в партийные центры. И если в споре по параграфу первому Мартов старался придать своим соображениям принципиальный вид, то в отказе его от выборов и в ЦО, и в ЦК уже невозможно разыскать принцип. Политику, похоже, стала подменять психология. Здесь уже Мартов закусил удила и откровенно пошел на разрыв, на скандал — лишь бы против Ленина и Плеханова. Проглядывает трудно определимая, не совсем понятная, но все же очевидная личная ущемленность. Что-то на него подействовало, выбило из колеи, остается лишь предполагать, что именно. Возможно, повлияла перекочевка съезда из Брюсселя в Лондон, а Мартов не был одержим онегинской охотой к перемене мест (впрочем, этим не страдали и другие делегаты). Возможно, туманный Альбион давил погодой и не способствовал сдержанности и последовательности в суждениях. К тому же изменился климат не только внешний, но и внутренний — на съезде. Бундисты, получив отказ на свои притязания узаконить националистический принцип построения партии, покинули съезд. Ушли также и представители «Рабочего Дела». Мартов оказался в роли кухарки без горшков и посуды, и теперь не в чем, не с кем заварить кашу, хотя оставались еще его приверженцы из «Искры», явное меньшинство. Вполне возможно также, что у Мартова ко времени выборов накопилось слишком много уступок Ленину и пришла, наконец, пора, по его мнению, стукнуть по столу, решив — «с меня хватит». И тут Мартова понять можно. Уже в инциденте с ОК наметилась трещина в их единстве с Лениным. Да, они громили ОК вместе и добились принципиальной победы. Организация «Искры» на своем частном собрании, вне съезда, осудила поведение Штейн, своего члена, и Мартов с этим вроде бы согласился. Но когда на другом частном собрании «Искры» зашла речь о предполагаемых кандидатах в ЦК, Мартов ни с того ни с сего выдвинул туда

Штейн. С какой стати? За ее вздорный характер, за анархизм? И получил отказ, отвод — важная уступка Ленину, уступка, с которой он уже тогда не пожелал смириться, и потому «Искра» на свои частные собрания стала сходиться порознь: 24 — с Лениным и 9 — с Мартовым. Очень важный момент в психологическом отношении.

И еще вспомни, Лубоцкий, начало съезда, когда выбирали президиум. Мартов предложил девятерых, и в их числе одного бундиста. Ленин стоял на выборе трех, и вышло по его, выбрали Плеханова, Ленина и Т. (Красикова). Еще одна уступка. (Ленин тактику бундистов — устраивать обструкции — понял сразу, а Мартов — нет. А если и понял потом, так использовал по-своему: при голосовании по первому параграфу.)

Вряд ли стоит забывать и о том, что в молодости, как говорил Владимиру агент, Мартов, живя в Вильно, входил в Бунд и оказал значительное влияние на формирование бундовского национализма. Впоследствии он стал искровцем — по рассудку (и никто в его искренности не сомневался), а по предрассудку он, видимо, оставался в определенной мере бундовцем. И предрассудок вопреки рассудку гнул свое временами, играл роль тайного механизма, прикрытого фразой о чести искровца, о преемственности и коллегиальности.

Казалось бы, после победы по первому параграфу Мартову следовало бы, ощутив силу, повести себя спокойнее и достойнее, пусть теперь волнуются и кипятятся побежденные. Однако же нет, Мартов начинает терять самообладание. Плеханов и Ленин подчинились решению съезда, проявив выдержку и хладнокровие.

Вполне возможно, Мартову после ухода бундистов стало сиротливо на съезде, победитель понял, что без своего арьергарда он неизбежно потерпит поражение на выборах, и потому удвоил свою агрессивность, пустился во все тяжкие.

И вот выборы. Задолго до съезда Ленин высказал свое предложение избрать тройку в ЦО и тройку в ЦК. Мартов согласился — до съезда. А на съезде вдруг предложил утвердить старую редакцию, пытаясь тем самым отвернуть съезд от политической четкости и окунуть его в мутную воду отношений, в так называемую чистую нравственность.

Если съезд откажет прежней шестерке, не утвердив ее, неизбежна обида: «нам не доверяют, а ведь мы...» В то время как выбор заново никакой обиды не нес. Выставив шестерку на утверждение, заведомо зная, что будут голоса «против», Мартов проявил бестактность по отношению к своим же. Потребовав утверждения и получив отпор, он воспринял его как оскорбление, отстранение, вышибание — и пошел-покатил мощный вал вымыслов-домыслов, обвинений и сплетен, на что так плодовито ущемленное самолюбие.

Съезд выбирает в редакцию Плеханова, Мартова, Ленина. Мартов отказывается занять свое место, уже открыто не подчиняется съезду, заявляет гордо и громко: входить в тройку для него — незаслуженное оскорбление, мало того, «предположение некоторых товарищей, что я соглашусь работать в реформированной таким образом редакции, я должен считать пятном на моей политической репутации». (Почему, спрашивается, политической?)

Съезд закончился. Несмотря на споры и разногласия, в целом значение его огромно — приняты устав и первая программа РСДРП.

А пока Плеханов и Ленин остаются в редакции вдвоем. Они приглашают мартовцев сотрудничать, сначала устно, те отказываются. Приглашают официально, письменно — отказываются, причем Мартов отвечает тоже письменно и «с настроением»: я не считаю нужным объяснять мотивы моего отказа.

Налицо бойкот. Стороны застыли на своих позициях,

как бы выжидая, куда наконец склонится чаша весов истории. С 46-го номера Плеханов и Ленин выпускают «Искру» вдвоем.

Собирается съезд Лиги русских социал-демократов. По настоянию меньшевиков. Их сейчас большинство. Тот самый съезд Лиги, на который Ленин пришел после велосипедной аварии, больной, перевязанный... Раскол обостряется, нападки на Ленина и теперь уже на Плеханова достигли предела. Выступления Мартова — сплошной «продукт нервов». Плеханов и большевики вынуждены покинуть съезд Лиги. Однако вечером того же дня расстроенный Плеханов сказал Ленину: «Не могу стрелять по своим. Лучше пулю в лоб, чем раскол».

Наступает черед Плеханова совершить свой исторический поворот.

Поворот ли? А может быть, просто выравнивание после крена в сторону Ленина и продолжение прежнего?

Он хорошо сознавал, что за последние тридцать лет сделал многое для развития революционного движения. Россия и Европа отлично знают Плеханова — теоретика, выдающегося марксиста, ученого по вопросам истории, литературы, культуры, популярного лектора, которому охотно внимают аудитории не только в Женеве, Лозанне, Цюрихе, но и в Париже, и в Лондоне.

Он побоялся утраты хотя бы доли своего прежнего влияния. Ему могло показаться, на съезде он потерял больше, чем приобрел. Его детище — группа «Освобождение труда» перестало жить, слилось с партией. Его соратники по двадцатилетней борьбе остались за бортом редакции. Разойдясь с ними, он расставался, в сущности, с делом своей жизни.

Плеханову предстоял выбор. Пойти с Лениным значило уступить лидерство. Пойти с Мартовым значило остаться знаменем.

И он выбрал. И ему ненавистно стало слово оппорту-

низм, отныне он будет не прочь произносить его и писать как «оппортюнизм».

Один из умнейших людей своего времени (Ленин говорил, что не встречал людей с такой физически ощутимой силой ума, как у Плеханова), он не обладал в должной мере даром предвидения. Говоря о мире в партии, он думал о прошлом, которое принадлежало ему безраздельно, и устремлялся назад, сам того не замечая.

Нельзя сказать, что он не увидел будущего — он почуял его в позиции Ленина, он предчувствовал его правоту, но гордость учителя, провозвестника и наставника не позволила ему пойти «в затылок». Он побоялся утраты авторитета, опоры в массах здесь, в Женеве, в Европе, и перешел к Мартову, за которым шло большинство эмиграции.

Ленин же увидел другую массу — пролетариат в России, связь с которым Плеханов потерял давно и не по своей воле. Эмиграция стала его бытием и определила сознание. Увлеченный теорией, лекциями, успехом, устоявшимся бытом, увлеченный (а можно сказать и погрязший во всем этом), он утратил за долгие годы вдали от родины прежнее чутье на нужды российской жизни и стал олицетворять собой прошлое, пусть славное, пусть достойное, но — уходящее, тогда как именно в годы его отчуждения от России там, в ее городах, стремительно вырос рабочий класс, окреп, возмужал и нацелился на борьбу пролетариат.

Когда-то Плеханов и сам пошел на раскол в «Земле и воле» (на «Народную Волю» и «Черный передел»), но то было когда-то, в молодости, а теперь... Ленину легче, он еще молод и по свойствам своей натуры отовсюду выйдет незамедлительно, если только почувствует, что истина — в его понимании — за пределами этой группы, союза, лиги, органа, любого конгломерата людей, цепляющихся за старое.

После съезда Лиги, недолго поколебавшись, Плеханов кооптирует в редакцию прежних ее членов: Аксельрода, Засулич, Потресова. В редакцию тотчас возвращается Мартов (зако-онно, он же ведь избран съездом), прихватив с собой еще и Троцкого. Меньшинство стало большинством. Георгий Победоносец превратился в Мироносца. Отвергнутые съездом, не избранные, потеснили избранных и захватили редакцию, утверждая теперь: «Между старой и новой «Искрой» лежит пропасть».

Теперь уже настал черед, возникла необходимость и последнему из тройки лидеров выйти на авансцену. Ленин пишет заявление: «Не разделяя мнения члена Совета партии и члена редакции ЦО, Г. В. Плеханова, о том, что в настоящий момент уступка мартовцам и кооптация шестерки полезна в интересах единства партии, я слагаю с себя должность члена Совета партии и члена редакции ЦО».

«Искра» становится мартовской. Ленин остается один.

На съезде, таким образом, и после него создалась в наивысшей степени критическая ситуация, в которой каждый из лидеров вынужден был предельно выявить свойства своей личности — гибкость ума, выдержку, отвагу, чутье на будущее, предвидение настроений, устремлений и дел на главном плацдарме века — в России.

С каким остервенением они набрасывались на больного Ленина на съезде Лиги! Что их тревожило, что бесило? Ведь они могли захватить всё — и захватили: Центральный Орган, Центральный Комитет, партийную кассу, типографию — всё! Только не могли прибрать к рукам одного человека, всего-навсего. И потому бесились, чуя нутром ту силу, которая двинет за Лениным, ибо он остался у того самого створа, куда бьет стихия, российский поток, взыскующий русла. Перетащить на свою сторону Ленина значило бы перетащить на свою сторону истину — вот какой малости им не хватало.

А что, если бы Ленина не было, думал Владимир. Ни в России, ни в Женеве, ни вообще на свете. Или был да сплыл. Как Плеханов. Или, что равносильно, согласился бы он остаться в редакции, писал бы свои статьи, вставляя «оппортюнизм», вносил бы кротко поправки по указке Мартова, Аксельрода, Троцкого — что было бы?

Пусть на этот вопрос ответит история. Со временем. Если сможет...

А пока Владимир Один-Из-Многих знает, что именно осталось бы, если исключить Ленина сейчас,— берлинский ералаш, хаос. Сегодня и завтра. Без надежд на гармонию. Масса вождей — неукротимых, своенравных, гордых, с персональной программой у каждого.

Но ведь нынешняя буза кому-то нравится. И даже многим. Побузят-побузят — и отбой с возрастом. Чтобы потом перед детьми и внуками, глядя, как они барахтаются в неразберихе, можно было гордиться своим боевым прошлым — в нем было то, в нем было это, «богатыри, не вы». А было в нем как раз то, что и привело к неразберихе и сделало ее традицией, ибо будущее вырастает из прошлого.

Избавление от хаоса в одном — в организации. А организация — в партии. А партия — это борьба с прозябанием, каждодневная схватка с бессмысленным протеканием жизни. И потому всей силой души — с Лениным. Необходимость крепкой организации — и никакой свободы неразберихе!

Прежняя его свобода порицать Ленина была, по сути, зависимостью от чужого мнения — несвободой. Теперь потребуется свое мнение и свое решение. Оно будет суровым, хочешь не хочешь. Ты уже не позвонишь у двери дома 6 по улице Кандоль и не скажешь хозяину: «Здравствуйте, Георгий Валентинович, я пришел к вам засвидетельствовать свое почтение». Ты еще как будто и не успел принять их, Мартова, Засулич, Плеханова, только

присматривался, но уже ощущаешь расставание — значит, они были и твоим прошлым, выражали тебя прежнего. Отстраниться от них — полдела. Выбирая, начинаешь противостоять.

Выбор суров, даже жесток. Ты не можешь остаться ко всему и всем добрым и снисходительным, иначе не обретешь себя, не утвердишь, будет жить партия минус ты.

Отвечать за выбор будешь только ты сам, и не годами, не отрывками жизни, а всей судьбой. А судьба — это опять же выбор задачи и перспективы. И счастье — не в результате, не в застывшем слепке живой жизни.

Владимир Один-Из-Многих выбирает задачу Будущего Большинства. Он стал разборчив не только по своему опыту, но и потому, что в одном движении возникли разные шаги, вперед и назад. И надо идти в ногу. Либо вперед, либо назад. По что пойдешь, то и найдешь.

Он выбирает объединение и дисциплину во имя общей борьбы и победы.

Раскол помог Владимиру обрести себя. Обстоятельства творят людей... Крылатую оценку съезда: шаг вперед, два шага назад — он принял по-своему: если их сложить и осмыслить, то получится три шага на пути роста в сознании.

Ленинцев здесь горстка, и его нравственный долг стать на сторону этой горстки, с которой, по его представлениям, связано будущее. У мартовцев — любовь к ближнему, у ленинцев — еще и к дальнему.

Он не гадал, прав или не прав, он верил: прав!

Ленин ответил ему тем же — верой в нового своего приверженца. И направил Владимира к Бонч-Бруевичу в экспедицию, которая занималась наиважнейшим для партии того периода делом: транспортом литературы (в частности, рассылкой только что вышедшей книги «Шаг вперед, два шага назад»), снабжением нужных людей паспортами, направлением их в Россию...

Глава шестая

Работа в Московском комитете большевиков начиналась каждое утро в семь, продолжалась весь день до девяти-десяти вечера и никогда не заканчивалась — на ночь в комитете оставался дежурный сотрудник, а то и не один, и дела хватало.

Загорский ценил именно утренние часы до начала заседаний комитета или его Исполнительной комиссии, приема граждан, выезда по районам. Ранним утром он шел пешком от «Метрополя», где жил, а вернее сказать, где спал, до Леонтьевского переулка, в особняк графини Уваровой, где работал, а вернее сказать, жил. По городу он ездил на чем придется, бывало и на машине, и в пролетке, но как правило — на трамвае или на конке, имея на то особое удостоверение МК от 15 января сего, девятнадцатого года: товарищу Загорскому для проезда по городской железной дороге разрешается пользоваться билетом за № 1878. Ездить приходилось много: по заводам, фабрикам и красноармейским частям, на Пресню и на Ходынку, в Сокольники и в Лефортово, в Симонову слободу и в Хамовники. Он любил Москву всякую, прошлую и нынешнюю, Белый-город, Китай-город, Замоскворечье. Три года, с пятого по восьмой, он скитался по ее районам, агитируя, организуя, скрываясь. Живал у Рогожской заставы, жил на Божедомке, той самой, где в старину выставляли на перекрестке мертвых, поднятых под забором или в канаве,— для опознания, а потом тащили неопознанных в «убогий дом». Позже там поставили Мариинскую больницу, где служил врачом отец Достоевского. В пятом году, когда дружина Кушнеревки билась на баррикадах, в Мариинку относили раненых...

От «Метрополя» он шел мимо Охотного ряда, небывало пустынного за всю его многовековую суматошную жизнь, мимо Лоскутной гостиницы, поднимался в гору по

узкой Тверской и, пройдя несколько за Моссовет, сворачивал в переулок. Внушительный, в два этажа, особняк графини Уваровой фасадом выходил в Леонтьевский переулок, а тылом — в Чернышевский. Год назад здесь размещался ЦК левых эсеров, а Московский комитет большевиков работал в гостинице «Дрезден», в белом здании напротив Моссовета. Окна выходили на Скобелевскую площадь. Чугунного генерала, освободителя Болгарии и покорителя Туркмении, уже снесли, вместо него появился огромный, затянутый красным куб Конституции, а название площади по привычке держалось. В день своего мятежа 6 июля левые эсеры перебрались в дом Морозова в Трехсвятительский переулок, под охрану полка Попова, и в Леонтьевский уже не вернулись, как, впрочем, не вернулись уже никуда.

Номера в «Дрездене» большевики заняли еще при Керенском. В октябрьские дни, когда полковник Рябцев вкупе с меньшевиками, эсерами, юнкерами и прочими р-революционными силами не пожелал уступить власть, в «Дрезден» пришли красногвардейцы и попросили комитет освободить номера на время — оказывается, из окон хорошо просматривалась площадь через пулемет. Несколько боевых дней красногвардейцы действительно хорошо ее «просматривали», пока не разгромили юнкеров с их радетелями. Но все это было до Загорского, он в те дни еще сидел в Гримме под Лейпцигом как гражданский пленный Германии...

В семь утра можно было относительно спокойно разложить бумаги на столе по степени их срочности — распоряжения из Секретариата ЦК (знакомый почерк Ленина, Стасовой), протоколы делегатских собраний по районам Москвы (на них выбирались члены МК, ими же и отзывались), просьбы и требования с фронтов, телефонограммы, заявления, письма с заводов и фабрик, из домовых комитетов,— беззвучные, но веские, вещие голоса

революции и гражданской войны, пульс Москвы, с перебоями, где-то что-то сдвинулось к лучшему, а где-то нависла угроза срыва и надо принимать срочные меры. Прикидка на день: как успеть сделать все возможное, а также и невозможное и не отчаяться, сохранить бодрость духа на завтра, и не только у себя, у других, у всех.

Чем живет Московский комитет большевиков в апреле девятнадцатого? В общем и целом — организацией, агитацией, информацией. А конкретно — выполнением решений Восьмого съезда и текущей работой.

Восьмой съезд — это прежде всего новое отношение к середняку, прочный союз с ним и «не сметь командовать!». Не случайно на пост Председателя ВЦИК сразу после съезда был избран Калинин — выходец из крестьян Тверской губернии. «Следует сделать так, чтобы во главе Советской власти встал товарищ, который мог бы показать, что наше постановление об отношении к среднему крестьянству будет действительно проведено в жизнь»,— говорил Ленин на заседании ВЦИК 30 марта.

До пасхи, которая нынче падает на 20 апреля, осталось несколько дней, МК должен успеть издать особый манифест к крестьянству. Рабочие поедут по деревням на пасхальные каникулы и захватят его с собой. Там ждут жадно каждого слова из Москвы, манифест надо тщательно продумать, взвесить тезисы.

Новое отношение к буржуазным спецам. Новое отношение к военной работе.

А текущее — если можно назвать текущим все срочное и сверхсрочное — это положение на Восточном фронте. Колчак держит Сибирь и Урал, захватил Уфу, через Стерлитамак, Сарапул, Бугульму движется к Самаре и Казани, к Волге. Объявлена всеобщая мобилизация. Для МК — партийная. Лучших коммунистов снять с заводов и фабрик, где они нужны позарез, и направить на фронт

комиссарами полков, дивизий, армий, где они нужны еще больше.

Текущее — это улучшение экономического положения рабочих в Москве. Организация партийной школы при МК. Подготовка к празднованию Первого мая в столице.

Разобрав бумаги, Загорский составил перечень дел, распределил исполнителей и начал набрасывать тезисы для доклада на Исполкомиссии.

«Об улучшении экономического положения московских рабочих.

Недостаток продовольствия, сырья и топлива гонит пролетариат в деревню. За один год население столицы убавилось на миллион жителей. Меняется социальный состав. Уходят наиболее работящие, привычные к труду и тем самым способные прокормить себя и семью на селе. Остаются неспособные к труду буржуазные элементы, царские чиновники, офицеры, которые не в состоянии себя прокормить ни на селе, ни в городе. Растет безработица.

Наиглавнейшая задача МК — сохранить влияние среди рабочих масс. Сейчас невозможно коренное улучшение экономического положения. Но мы можем и должны принять меры по облегчению жизни рабочих. Неотложно: установить твердый минимум заработной платы, независимо от числа рабочих дней и часов в неделю...»

Вошла Аня Халдина, как обычно, в белой блузке, в берете, опрятная, чистенькая и, как обычно, немножко сонная поутру. Аня огорчается, что крепко спит. Заводит будильник на всю пружину и досадует на свой буржуазный пережиток. Настоящие революционеры спят помалу, могут вообще не спать сутками, а она, наверное, умрет без сна, и все из-за того, что подвело ее социальное происхождение и непролетарское воспитание — отец ее живет в деревне, зажиточный, держит работников, о пере-

ходе в середняки и тем более в бедняки слушать не хочет, что и заставило Аню осудить его мелкобуржуазную сущность и прекратить с ним всякие отношения. Прекратить-то прекратила, а поспать, между тем, любит, в то время как в Москве беспрерывно происходят события мирового значения и ей надо все видеть, обо всем знать, быть в курсе дела, чтобы не просто рассказывать другим, а убеждать, доказывать, агитировать, поскольку Аня Халдина — секретарь агитационной комиссии Московского комитета. Знать абсолютно все события, давать им исключительно правильную оценку, поэтому у нее всегда есть масса вопросов к Владимиру Михайловичу, самых разных, вплоть до такого, например: «Как расценивать будильник с классовой точки зрения? У настоящего большевика колокольчик должен звенеть в душе, а не на комоде».

Сейчас Аня принесла свежую почту, положила кипу бумаг перед Загорским. Он мотнул головой на ее приветствие, чуть не носом в стол, и продолжал писать: «Освободить от квартирной платы временно безработных и тех, у кого заработок не выше 850 рублей. Остальные, кто получает больше, пусть платят 8 процентов по отношению к зарплате...»

— К вам монах, Владимир Михайлович. Говорит, шел к Ленину, а направили к вам. Служитель культа,— громче сказала Аня, боясь, что он ее не слышит, и еще добавила слегка брезгливо: — Из лавры.

Ане Халдиной семнадцать лет, и мир для нее разделен на товарищей и врагов, никаких полутоварищей или полуврагов она знать не знает, и потому последняя для нее трудность — отношение к буржуазным спецам.

«Обеспечить бесплатное питание детям через детские столовые и снабжение детей предметами широкого потребления...»

— Молодой монах, симпатичный? — беспечно поинте-

ресовался Загорский, тыча пером в чернильницу и устремляясь к бумаге.

«Согласно анкетам Комиссариата труда по бюджету рабочий тратит 6 процентов зарплаты на квартиру, 8 процентов — на одежду и 2—3 процента на детей. Сняв с него эту тяжесть, мы поднимем заработок на 15—16 процентов, не увеличивая тарифа».

— «Молодой, симпатичный»! — Аня вспыхнула.— С чем он может прийти, этот симпатичный, кроме как: «мощи целые, мощи целые». Вся Москва гудит про эти мощи, из уст в уста передают.

— Закономерно, Аня, Москва сыздавна привязана к Троицкой лавре.

— Послать бы туда отряд особого назначения, повесили бы замок на ворота — и всё. Пусть живут, как тараканы в ящике. Кто не работает, тот не ест.

— А-ня! — предостерег Загорский, кладя прямую ладонь на стол, шалит дитя, как бы из люльки не выпало.— Что говорится в Программе, принятой Восьмым съездом?

Аня поморгала, самолюбиво отчеканила:

— «Организовать самую широкую научно-просветительскую и антирелигиозную пропаганду».

— «При этом...» — подсказал Загорский, вытягивая из нее продолжение.

— «Избегать оскорбления чувств верующих».

— «Заботливо избегать»,— подправил Владимир Михайлович.— А мы что делаем? «Замок на ворота», «как тараканы»!

— Я понимаю, Владимир Михайлович, это общий наш принцип, но знаете, что означает слово семинария? — загорячилась Аня.— Семинария по-латыни рассадник. Рассадник заразы, разумеется. И мы, большевики, с этим миримся!

А что она скажет на постановление Совнаркома выдать красноармейцам на пасху полуторный паек сахара

и приварочного довольствия? «Хвостизм, Владимир Михайлович, сдача позиций!»

— Ну и где он, монах в синих штанах?

Аня переживала в эти дни особый подъем революционного энтузиазма, самопожертвования, и Загорский пытался слегка остудить ее каким-нибудь простым житейским словечком взамен лозунга, шуткой перевести ее слишком уж высокий, на грани срыва, настрой в более деловой, спокойный.

Неделю назад Аня получила от отца передачу, можно сказать, сокровище — два пуда муки и три фунта свиного сала! Привезли из деревни. Однако оценить передачу Ане помешало, или, по ее мнению, наоборот, помогло, знание и правильное понимание революционной ситуации. Москва голодала. Заградительные отряды по всем дорогам забирали у мешочников и спекулянтов продукты и отправляли их голодающим рабочим Москвы и Питера. По решению Моссовета совсем недавно разрешили провозить каждому рабочему по полтора пуда муки из хлебных губерний — Самарской, Симбирской, а также с Украины. Но — только для рабочих. Ане же совсем не полагались эти полтора пуда. А она получила два. Муку и сало пронесли для нее через заградотряды, вернее, минуя их, человек с передачей рисковал многим, но все-таки пробрался в столицу, исполнил наказ Аниного отца. Что ей оставалось? Она приняла дар и, не колеблясь, поехала в детский дом на Пресню и сдала всю муку и все сало поварихе, после чего вздохнула с облегчением и еще посидела там, подождала, пока сварят детям лапшу, посмотрела, как они едят, и ушла. Не ушла, а, сказать точнее, сбежала, чтобы скрыть слезы — большевики не плачут! Она хотела порадоваться за детей, ждала их ликования, шумной детской радости, звона ложек и чашек, но ничего такого не услышала и была удручена картиной: дети садились за стол тихими, если не сказать подавлен-

ными, а один мальчик, худой, тоненький, как свечечка, с глазами по плошке, прежде чем взяться за ложку, перекрестился. «Крестится, а ручонка серая,— рассказывала, вспоминая, Аня, голос ее дрожал, потом пересилила себя, сказала твердо: — Я допустила ошибку, Владимир Михайлович, надо было задержать того товарища... извините, того проходимца». Загорский слушал ее мрачно, потом спросил: «Какого?» — «Который прошел через заградотряд».— «Будем знать теперь, товарищ Аня, происхождение слова проходимец». Она коротко рассмеялась. «Извините, Владимир Михайлович, я смешливая, к сожалению, хотя понимаю, в юморе всегда есть доля цинизма. Всегда хоть немного да есть».— «Никакого цинизма, Аня, заградотряды не задерживают продукты для детей рабочих».— «Вы неисправимы, Владимир Михайлович».— «В городах Центральной России созданы комитеты помощи голодающим детям Москвы и Петрограда. В Саратове, например. И работники их освобождаются от мобилизации на фронт — настолько важна помощь детям».

Она не пришла к нему с вопросом, как быть, себе оставить передачу или отнести детям. Там, где была возможность самопожертвования, для нее не существовало вопроса — только восклицательный знак. Загорский видел: столько в ней задора, юного буйства, что всех тягот, которые выпали, ей кажется мало, она рвется усложнить себе жизнь, и без того не легкую. Однако упрекать ее прямо нельзя, неосмотрительно, она воспримет упрек как позорную обывательскую, буржуазную приземленность, и потому он старался в мимолетных беседах с ней как-нибудь попроще, непринужденней спустить ее с архиреволюционных небес, чему Аня противилась. «Я тоже люблю шутку, Владимир Михайлович, но в революции не место шуткам, не время. Не примите, пожалуйста, в свой адрес, но там, где высокая одухотворенность, сам собой исключается юмор. В церкви, например, не шутят».—

«Вот поэтому, Аня, каждый второй анекдот — про попа,— отвечал Загорский.— Человечество, смеясь, расстается с прошлым».

— Не будем, Аня, вешать замки на лавру, наоборот, приоткроем ее всей Москве. Авось и монах поможет,— сказал Загорский, перебирая принесенные Аней бумаги, быстро просматривая их по-своему — с конца. Попался плотный конверт из бурой бумаги, самодельный, вместо обратного адреса одно только слово «Дан» и ничего больше. Загорский сунул его под локоть, отсортировал. Что в нем? Месяц прошел с того дня, как хоронили Якова, как «повидались» с Даном. Загорский помнил, ждал — может быть, он объявится? Если зайдет, то каяться, а не зайдет — остался прежним. И это надо учесть. В письме, видимо, нечто третье. Возможно, Дан боится трибунала, не верит в поддержку Загорского. Излагает, возможно, просьбу или дает свою оценку происходящему, а может, все-таки взывает к пониманию и помощи во имя молодости, боевого момента, скрепленного кровью...

— Там засняли кинокартину, Аня, и есть распоряжение Ленина на сей счет. Пойдем в Кинокомитет, он здесь, рядом, в Гнездниковском. Не сохранились мощи — ясно без объяснений. А сохранились — надо объяснить, растолковать почему, и без шельмования, без издевки, на основе правильного, естественнонаучного подхода. Труп Александра Македонского сохраняли триста лет, исторический факт, в этой самой... в корыте с медом.

— Может быть, все-таки в гробнице!

Он смешил ее, не меняя лица, только чуть-чуть глаза лучились.

— А вот и отклик с Красной Пресни,— сказал он совсем другим тоном, уже без игры, извлекая из тощенького конверта сложенный вдвое листок: — «Детский дом... просит объявить благодарность товарищу Ане Халдиной, пламенной большевичке, которая...» Сегодня же мы это

сделаем, Аня, соберем товарищей в семнадцать часов.

Всякое упоминание о Пресне, даже случайно услышанный звук этого слова — «Пресня» — всегда включал в памяти Загорского пятый год, последний бой на Горбатом мосту, последнюю ночь, когда окружили Пресню гвардейцы Семеновского полка под командованием генерала Мина. И не последнее испытание для товарища Дениса — пришлось спасать Дана Беклемишева, смелого и меткого стрелка из дружины знаменитого Медведя. Истекающего кровью Дана он тащил на себе в Трехгорный переулок, там в подвале они отсиживались до рассвета, окруженные, казалось, со всех сторон. Пресня горела, было светло, как днем, а на рассвете рабочие сказали, что остался спасительный выход из петли семеновцев — по Большой Грузинской. Дан бодрился, каламбурил: «На горбу Дениса с Горбатого моста», потом бредил: ««Джон Графтон», отдать швартовы! Промедление — смерть!.. Торопись, великий Азеф!» Летом пятого года эсеры закупили 30 тысяч винтовок, несколько миллионов патронов, десятки пудов динамита и пироксилина, зафрахтовали в Лондоне пароход «Джон Графтон» и отправили оружие морем под английским флагом в Россию, где рабочие готовили самодельные бомбы-македонки, собирали охотничьи ружья, всякую оружейную заваль, точили пики из подручного железа, где булыжник оставался главным оружием пролетариата. «Торопись, великий Азеф!» — именно ему поручили эсеры отправку оружия. Азеф, однако, не спеша сделал свое дело. В конце августа «Джон Графтон» сел на мель в финских шхерах, оружие досталось царским властям, команда скрылась в Швеции... Оклемавшись, Дан забыл про Азефа, задумал отомстить генералу Мину. В августе шестого года на станции Новый Петергоф в три часа пополудни эсеры-максималисты пристрелили генерала Мина в буфете. Смертной казни Дан избежал, получил каторгу...

— Очень хорошо, Владимир Михайлович, в семнадцать часов я сделаю заявление,— приподнято произнесла Аня,— чрезвычайной важности.

— Придется идти к Дзержинскому,— рассеянно сказал Загорский.

Идти к Дзержинскому, чтобы хлопотать за Дана. Если он, разумеется, осознал все и просит о помощи. Можно надеяться, что трех-четырех недель со дня их случайной встречи хватило, чтобы все понять. Хотя встреча была немой, обменялись взглядами, и только, но, кажется, красноречивыми. А кроме этих недель были еще и месяцы после 6 июля, девять месяцев подпольного прозябания. Знал же Дан, что осужден трибуналом. Хотя наверняка знал и другое — Спиридонова освобождена, нашли возможным учесть ее прежние заслуги. Можно добиться прощения и для Дана. Он натура открытая и, если кается, ему можно верить, чего нельзя сказать о многих других эсерах, о той же Спиридоновой, в частности. Коварна, что и говорить. На заседании МК уже поднимался вопрос о ее аресте, по слухам, не унялась. Надо полагать, ребята Дзержинского не выпускают ее из поля зрения...

Одни спасают человека и потом гордятся этим всю жизнь, и нет в этом ничего предосудительного; другие спасают не одного, а многих и забывают об этих фактах, как и о самих спасенных; но есть и такие, которые, оградив человека от гибели, даровав ему жизнь, считают своим долгом и впредь оберегать его до конца.

Отведя от кого-то смерть, ты взял на свои плечи груз его жизни и хотел бы впредь убеждаться, что груз этот не мнимый, что спас ты другого для блага, для дела борьбы и единства.

Однако же жизнь сложна, дни ее нелегки, и решить заранее не дано, благо ты сделал для человека или зло, обеспечил счастье или обрек на страдание, на горемычную жизнь. Потому, наверное, хочется и впредь обере-

гать спасенного тобой, чтобы твоя акция оставалась человечной подольше.

И получается в результате, у спасителя больше обязанностей перед спасенным, нежели наоборот. У него теперь как бы две жизни на совести — своя и чужая. Спас, чтобы отныне не забывать его, заботиться о нем, руководить им, чувствуя себя причастным и ответственным.

Но тот может и не захотеть такого опекунства, ему может оказаться вредной твоя забота. Как и тебе тоже.

Потому что, даровав жизнь, ты не смог, ты не в силах даровать еще и судьбу...

Он разорвал край бурого конверта Дана, вытянул содержимое, сложенные линованные листы из конторской книги. Из них выпала на стол листовка на серой бумаге, типографский текст столбиком и сверху крупно: «Резолюция». Развернул линованные листы и машинально, по привычке — в конец, к выводам...

— Я знаю, вы, как Владимир Ильич, делаете сразу три дела,— продолжала Аня, не снижая своей приподнятости,— но сейчас я вас очень прошу выслушать меня с особым вниманием. Дзержинский мне не поможет, поможете только вы.

— Да-да, Аня, я слушаю.— И успел прочесть: «Уходите в свою Женеву!» Перо Дана рвало бумагу, будто не пером писал, а гвоздем. «Отдайте власть! Хватит терзать народ!» — Я слушаю, Аня,— повторил он и поднял на нее взгляд.

«Кому отдать?..»

Она заметила, как потемнели его глаза, лицо стало каменным. Аня почувствовала, что и сама бледнеет от такой его перемены, но отступить она уже не могла:

— Владимир Михайлович! Величайшим для меня огорчением было бы...

Голос у нее звонкий, как принято говорить, поставленный. Окончила Мариинское училище, получила звание

народной учительницы, решила: мало для революции, и поступила на юридический факультет. Любит выступать на собраниях, особенно молодежных, много помнит и легко цитирует, может с огоньком, с жаром передать, внушить свою убежденность, в МК она попала отнюдь не случайно. И сейчас говорит будто с трибуны — голова вскинута, глаза сверкают. Красивая Аня, плакатная, с легким этаким трибунным шиком, приобретенным на частых митингах и собраниях.

— ...было бы умереть просто так, по-мещански, в четырех стенах своего дома или на больничной койке, все равно. Я хочу погибнуть в революционной борьбе, в сраженье, только тогда моя жизнь будет освящена высоким смыслом. Прошу вас, Владимир Михайлович, дать мне направление на Восточный фронт!

— Здра-асьте,— сразу же, не дав ей насладиться речью, протянул Загорский с деланым унынием.— «Погибнуть». Если мы все погибнем, кто будет республику строить, папа римский?

Ей бы улыбнуться, на худой конец, но, видно, решимость прочно овладела ею, Аня только сдвинула брови и опустила взгляд.

— Я серьезно,— сказала она с укором, недовольная тоном Загорского.— В Тезисах ЦК говорится: победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики. Объявлена всеобщая мобилизация. А у нас партийная. Другого такого подходящего для меня момента не будет.

«Эх, Аня, Аня, ты веришь в нашу силу и потому думаешь, что эта мобилизация — последняя».

— Аня, ты как-то сказала, что старые слова приобрели в революции новый смысл.

Она кивнула.

— Знаешь, какой смысл приобрело слово «самодержец»?

Взгляд ее стал настороженным, она догадывалась, сейчас он что-нибудь сказанет, но ей надо удержаться на занятой высоте, не допустить улыбки.

— Самодержец в новом понимании — это тот, кто сам себя в руках держит.

Аня только насупилась.

— В семнадцать часов, Владимир Михайлович, я намерена перед всем Комитетом...

Взгляд его — косо на «Резолюцию», выхватил последние строчки: «Долой комиссародержавие, долой однобокий большевистский Совет».

— ...заявить о своем решении,— твердо закончила Аня.

Он вышел из-за стола, шагнул к ней ближе.

— Анна Николаевна Халдина, член Российской коммунистической партии большевиков, секретарь агитационной комиссии Московского Комитета. Ты находишься на переднем крае революционной борьбы, в этом нет и не может быть никакого сомнения! — Он не любил высоких слов, только ради нее отважился, чтобы в унисон.— На фронте погибнуть легче, допускаю, там можно и глупо погибнуть от шальной пули. Здесь же не просвистит шальная, здесь целятся, чтобы наверняка. В гражданской войне не бывает тыла, товарищ Аня, всюду фронт, а в Москве тем более. Не случайно военным организатором МК к нам направляется Александр Федорович Мясников, бывший главнокомандующий армиями Западного фронта. В Москве особый фронт — боевой, трудовой, идеологический. Нужны силы и силы, а тебе вдруг захотелось непременно погибнуть. Где твои планы жить и бороться до полной победы революции? Или у тебя нет своего оружия? Ты владеешь словом, у тебя дар организатора, что не всем дано. А на фронте — я знаю, ты смелая, не побоишься любого врага,— но там ты просто-напросто меньше нужна, чем здесь. Тебе хочется, как минимум, повести

в бой дивизию, но ведь у нас есть хорошие полководцы на фронте — Фрунзе, Тухачевский, Котовский, Дыбенко, Гай, много военачальников смелых и умелых. Они ведут свои полки там, а ты ведешь — здесь, да-да, Аня, целые полки и дивизии на каждом собрании, митинге ведешь в бой за перековку сознания. Дай мне слово, товарищ Аня, не погибать, а жить! Потому что жить сейчас труднее, чем умереть, жить страшнее и потому героичнее.

— Я все понимаю, но... так решила: хочу на фронт.— А в голосе уже каприз, вот-вот расплачется.

Тебе бы, милая девочка, к маме, отоспаться, молока попить, побегать по зеленому лугу под теплым солнышком, но разве это реально? Не позволят ни убеждения, ни обстоятельства. Она утомилась, жестоко устала, как все. А отдыха нет и не будет, дела и дела, и спасение в одном — уйти. Но куда? Для честного партийца один путь — на фронт. Уйти от обыденности, от прорвы повседневности в другой, стремительный, яркий и звонкий мир, где героизм в мгновении, а не в рассрочку. Мы говорим и говорим о героях фронта — и некогда, и не с руки сказать о себе. Аня видит трудности своей работы, но у нее и мысли нет гордиться, потому что есть труд более заметный — ратный, на поле боя. Про них и песня: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». А про агитаторов песни нет, про терпеливых и мужественных тружеников партии песня пока не сложена. Хотя ты тоже в бою, Аня Халдина, комиссар Московского комитета.

— Ты устала, Аня, и я устал, я бы тоже пошел на фронт. Сменить обстановку, одежду, форму надеть, на коня сесть или на бронепоезд. Даже в вагоне, пока едешь на фронт,— отдых. В окопе сидеть — отдых. Пулю получить — отдых. А у нас? Вот ты говоришь, все вы, молодые, уважаете старых большевиков. А за что? Думаю, не только за то, что они сражались на баррикадах, в

тюрьмах сидели, шли на каторгу в кандалах. Поверь: пустяк — и баррикады, и тюрьма, и каторга в сравнении с той работой, кропотливой, волевой, повседневной, невообразимо трудной, когда все свойства натуры выявляются на пределе. Иной раз и смерть покажется облегчением.

...В четвертом году в Женеве Бонч-Бруевич вез на тачке набор первого номера газеты «Вперед» в типографию. И растерял целую полосу шрифта по мостовой. И собирал, таща тачку по своему следу, обдирая штаны на коленях, роняя пенсне на булыжник, по буковке, по литере собирал — и собрал! Полосу! И рассказывал потом со смехом, и другим было радостно. Без цинизма и приземленности...

— Ты политический организатор, товарищ Аня, твоя, как и моя, наша задача воспитывать не только пролетариат, но и тех людей, которые насквозь пропитаны буржуазной психологией. А их очень много! И они нас предавали и еще будут предавать годы — так Ленин говорил в своем отчетном докладе ЦК на съезде. На фронте, Аня, разговор с предателем короткий, а здесь? Ты знаешь, что он может тебя предать, но ты должен работать с ним, помня: мы не можем построить коммунизм руками только одних коммунистов. Нам приходится привлекать к этому и людей с буржуазной психологией. Отказ использовать их для дела управления и строительства есть величайшая глупость, говорит Ленин, несущая величайший вред. Но нельзя заставить работать из-под палки целый слой, Ленин это подчеркивал, надо создать для них атмосферу товарищеского сотрудничества и условия для работы лучшие, чем при капитализме. Легко ли? Только героического склада люди могут справиться с такой работой. Мы черпаем силу в массе рабочего класса, но нас горстка, Аня, представь: три процента всего от населения Москвы, три большевика на сотню самых разных людей, не только своих, но и нейтральных, и чужих, и прямо враждебных.

Так что надо жить, Аня, и работать, а уж если погибать — вместе.

Он вернулся к столу, вскользь глянул на листовку, на царапины Дана, и невольная гримаса изменила его лицо. Дать бы ей прочесть все это месиво, что скажет...

Ане показалось, он обиделся. За себя, за всю работу МК, которую она, сама того не желая, поставила ниже фронтовой. Но она совсем другого хотела! Сколько раз уже бывало вот так: обдумает, взвесит, переберет все «за» и «против», потом выскажет Владимиру Михайловичу толково и убедительно, ей даже самой нравится слушать себя, а он вдруг спокойно, одной фразой разрушит все ее хоромы мысли, так что и цепляться ей не за что из упрямства, а попутно еще и обиду ее прогонит...

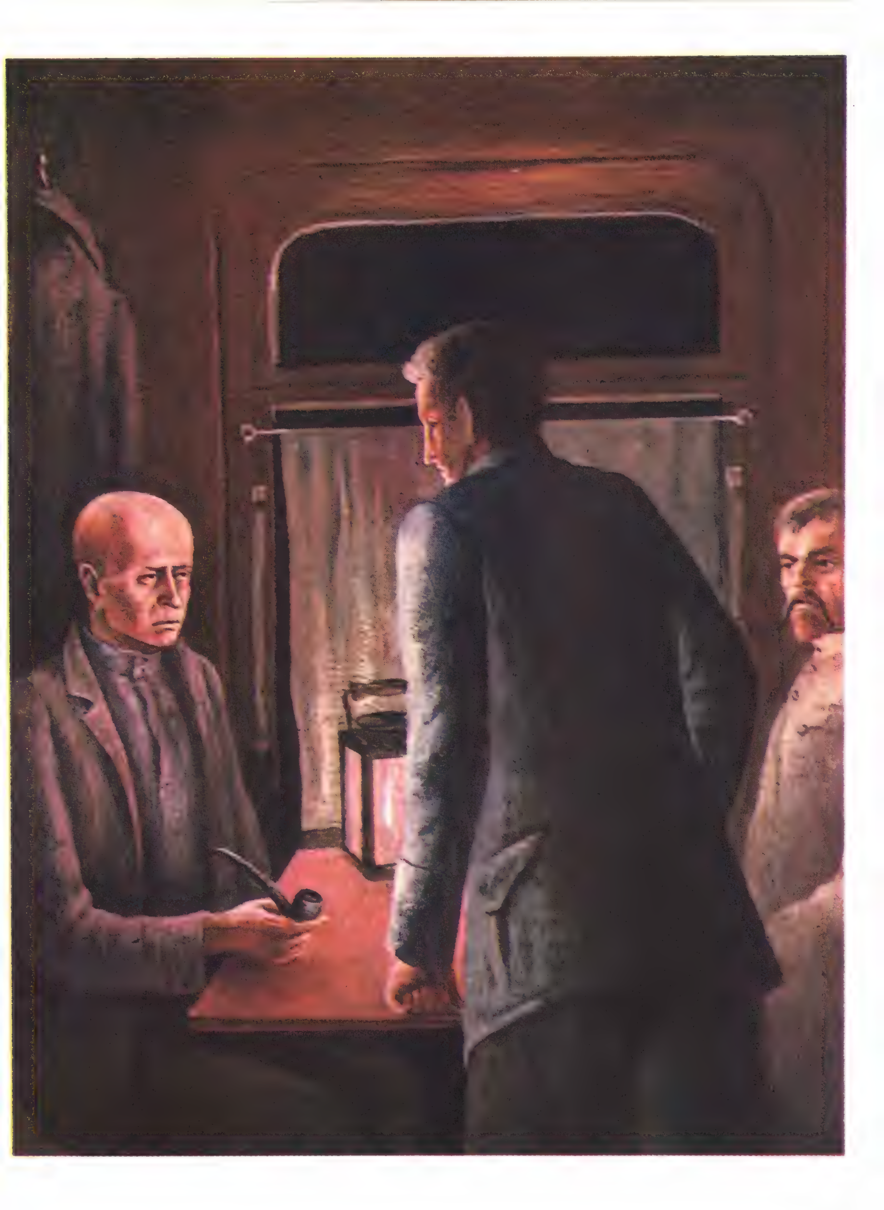
Он сел за стол, машинально провел обеими руками по волосам к затылку и задержал руки на шее. Ей почему-то стало жалко его сейчас, вспомнила о его нелегкой жизни, как и у всякого старого партийца, хотя какой он старый, тридцать шесть лет, и все же седина и взгляд порой очень суровый. Она все знает: тюрьма в девятнадцать лет, долгие годы эмиграции, а под конец еще и германский плен, целых четыре года...

— Вы правы, Владимир Михайлович,— сказала Аня, сжимая платочек до хруста в пальцах — не сказать бы чего-нибудь такого, шибко женского, слабенького,— вы правы!

Его глаза уже бежали по строчкам Дана: «Я помню твои три эр: революция, республика, разум, но теперь ты видишь, если окончательно не ослеп в начальственном рвении, каким неожиданным они наполнились содержанием: расправа, расправа, расправа с революционными партиями, с интеллигенцией, с редакциями газет, даже Горького не пощадили, закрыв «Новую жизнь»...»

— Где там наш черноризец, Аня, ждет-пождет?

Ей нравилась такая его манера легко переиначивать



слова, для других, может быть не столь заметная. Ведь она как сказала? — монах из лавры, а он сразу — черноризец, ничего, как будто, особенного, по смыслу то же, но уже чуточку смешно, как-то облегченнее и со своим отношением. Она замечает, в разговоре с ним и другие часто улыбаются, с ним всем легче.

Аня задержалась возле двери:

— Владимир Михайлович, этот...— она кивнула на дверь,— не знает о вашем умении делать сразу три дела, может обидеться.

Глаза его потеплели. «Презренный служитель культа», «контра» и — «как бы не обиделся».

— Ты хороший человек, Аня, ты настоящий чуткий партийный товарищ, Аня.

Голос его прозвучал чуть растроганно, она уловила, уточнить бы, почему «настоящий и чуткий», что такого особенного она сказала? — но спросить не могла, чтобы не допустить мелкобуржуазного самокопания.

А он бы и не сказал ей ничего больше, не стал бы расписывать ее добрый порыв, потому что знает: нельзя возводить в абсолют такие, пусть хорошие, черты, как доброта, мягкость, сострадание, нельзя, время такое, когда доброта и мягкость ко всем без разбору могут вступить в противоречие с убеждениями, с требованиями жизни, можно утратить связь с реальностью, а она жестокая, кровавая, требует мужественного отношения к истине, иначе — срыв, и тогда в монастырь дорога или в сумасшедший дом, хрен редьки не слаще.

При случае он ей подскажет, что понятия совести, справедливости становятся пустой фразой, если их не наполнить классовым содержанием. А сейчас проще сказать вывод: ты хороший товарищ, Аня, и все правильно: монах шел к Ленину, направили его к Загорскому, принять его мы должны по-ленински чутко.

А пока быстро: «Резолюция третьего районного съезда

в Гуляй-Поле махновских воинских частей и крестьянских организаций.

Съезд протестует против реакционных приемов большевистской власти, расстреливающей крестьян, рабочих и повстанцев.

Съезд требует полной свободы слова, печати, собраний — всем политическим левым течениям, партиям и группам и неприкосновенности личности работников партий левых революционных организаций и вообще трудового народа.

Съезд требует замены существующей политики правильной системой товарообмена.

Долой комиссародержавие...»

Махно — командир третьей бригады Заднепровской дивизии, которой командует Дыбенко. Значит, у него есть и политработники в бригаде. Не пользуются влиянием. Надо посылать новых, и как трудно им там придется!

Но каков краском? А сместить его не так-то просто. Войска Махно с успехом прогнали петлюровцев, авторитет батьки велик. Сейчас он занял более семидесяти волостей с населением свыше двух миллионов крестьян. Не обошлось там, разумеется, без эсеров, «резолюция» под их диктовку, она не только анархистская. Требуют неприкосновенности личности работников левых партий, прежде всего, конечно, участников эсеровского мятежа. Попов, объявленный вне закона, ходит у Махно в начальниках.

«Дан прислал резолюцию в свою защиту. Торопится меня убедить в новом движении, в наших ошибках. С вызовом идет, верен себе. «Съезд протестует, съезд требует: отдайте власть...»».

У эсера и меньшевика, у анархиста и монархиста — у каждого свое представление о свободе слова, печати, собраний. И потому в Программе, принятой Восьмым съездом, сказано, что свобода есть обман (ах, как это кощунственно для р-революционного уха: свобода есть обман! —

докатились большевики)... свобода есть обман, если она противоречит интересам освобождения труда от гнета капитала. И каждый, кто читал Маркса, знает, что большую часть своей жизни, своих литературных, научных трудов Маркс посвятил как раз тому, что высмеивал свободу, равенство и волю большинства, доказывая, что в подкладке этих фраз лежат интересы свободы товаровладельца, свободы капитала, чтобы угнетать труженика.

Крестьянский съезд у батьки Махно — сборище кулаков, мечтающих о свободе держать батраков, сбор мешочников и спекулянтов, мечтающих о свободе наживы на голоде. Уступить им власть значило бы отдать народ в кабалу и на разорение — для этого ли решала революция свой главный вопрос?

Большевики взяли власть, а значит, взяли на себя и всю ответственность, а следовательно, и все надежды, а надежда сейчас значит больше, чем сама жизнь. Как быть смертному, если не на кого надеяться? «Налево пойдешь — живу не быть, направо — смерти не миновать».

Мало — дело вершить, надо его объяснить, растолковать непонятливому, переубедить предвзятого, чтобы истину не на камне сеять.

А истину несет всякий: «Свобода! За что боролись!» — и пошли-поехали горло драть.

Демагогия особенно опасна в критической обстановке. «И считает слово за истину эхо свое». Но когда наша обстановка не была критической? И когда будет, если «нужны столетья, и кровь, и борьба, чтоб человека создать из раба». Столетья!..

Загорский отложил резолюцию на край стола. Сегодня же он ее направит Ленину. Подпер кулаком челюсть. Кажется, пора бы уже привыкнуть ему к подобным вылазкам, декларациям, упрекам в зажиме всяких свобод, пора бы — а не привыкнешь. Всякий раз ему становилось не только досадно, но и обидно, как будто противник

выступал не против идеи вообще, а против него персонально, оскорблял его лично и принародно, не страшась в то же время показывать свою узколобость политическую, нравственную, всякую.

Отбросил конверт Дана. «Почему у меня нет ответной ненависти к нему? Такой же слепой, лютой?»

— День добрый,— послышалось от двери.

Глава седьмая

Мало кто спал в канун того дня в покоях лавры. Да и во всем Сергиевом Посаде ощущалось больше движения и суеты. И хотя до великой субботы еще целая неделя впереди, миряне окрестных сел, прослышав о намерениях Советской власти, стекались к стенам монастыря на подводах, верхами, а больше пешими, по распутице, по грязи, по гололеду. Полно народу в богадельне-больнице — лавра издавна славилась исцелением хромых и сухоруких, слепых, глухих, немых, бесноватых,— полно в страннопримном доме, на постоялых дворах, да и в трактирах не пусто, само собой.

После затяжной, снежной, особо лютой зимы наступила наконец весна, студеная, пасмурная, с ветрами, но все же весна природная, а с нею и весна духовная — великий пост.

В голодную пору и пост не пост, не было у православных искушения мясной и скоромной пищей, не довелось отвести душу и на жирной масленице, да и после пасхи не разговеться.

Без воздержания выпал пост, без смирения плоти, невольный — пусто по сусекам и амбарам, пусто в погребах, ларях, бочках, крынках, хлебницах, будто Мамай прошел. И оттого христианину удовлетворения нет, лишен он благой возможности показать крепость веры своей и послушания.

А к тому же сошлись нынче в великий пост глад и мор чужедальний — испанка. И в завершение бед на завтра, одиннадцатое апреля, Исполком Сергиева Посада назначил вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского. Инок Ириней лег спать как обычно. Завтра он увидит, бог даст, мощи нетленные отца Сергия. А может, и тленные, что с того? Одним словом, увидит то, что угодно господу.

Однако же в Троицком соборе, где вот уже две сотни лет стоит жертвованная императрицей Анной Иоанновной, в двадцать пять пудов литого серебра, с сенью на четырех столбах, рака преподобного Сергия, будет не он один, смиренный инок Ириней, будет стечение мирян, не удостоенных веры великой и потому взирающих розно — с надеждой, с любопытством мирским и сомнением, а иные и с постыдным неверием. Разного ждут, разное и предстанет пред их очами темными, истинной верой не очищенными.

Инок Ириней лежал-лежал, смежив веки, и начал ворочаться, ощущая смуту, ибо покойный сон его, веру крепкую пронизывало некое знание, как сквозняк при двери отверстой, сведения ему чуждые, однако въедливые: патриарх всея Руси Тихон срочно и поелику возможно тайно разослал архиереям наказ лично освидетельствовать раки святых и удалить из них всякие искусственные приспособления и посторонние предметы для устранения повода к соблазну христиан. Наказ огорчительный, можно сказать, еретический по образу изложения, по своему подозрению, будто в раку могло попасть нечто постороннее, искусственное, да где? — в Троицком соборе! Надобно чтить патриарха Тихона, как всякого наместника божьего, но надобно же и патриарху чтить святую славу Троице-Сергиева монастыря. Надобно-надобно, а сон перебивает мысль: дыма без огня не бывает.

Осенью минувшего года, сразу после покрова, в раке

преподобного Александра Свирского обнаружена при вскрытии восковая кукла. Принародно! Нет худшего позора монастырю в глазах прихожан. Вместо мощей — а мощи по-старославянски мошть, сила,— вместо силы нетленной — воск хрупкий, ломкий, от робкого огня в соплю оплывающий. Срамота и стыд! Тот монастырь в глуши, в лесах карельских, в Олонецкой губернии, а Сергиев — на виду, под боком у белокаменной.

И еще был слух, будто в Тамбовской губернии вместо мощей обнаружили груду костей и среди оных будто бы одну увесистую, мерзких размеров кость, похожую на лошадиную, после чего якобы повод возник для сатанинского остроумия: определять мощь святых лошадиною силою, наподобие силы парового движителя. Издревле говорено на Руси: бойся плешивого да смешливого.

Однако же бог поругаем не бывает. И коли всякая власть от бога, то и Исполком Сергиево-Посадский решение такое принял не сам.

Какое же изменение сулит вскрытие, польза от него или вред? Один вред, мощи неприкосновенны.

Пятница наступила. В заутрене, однако, не прозвучало никаких слов предостережения, не последовало ни хвалы, ни хулы, и, похоже было, высокое духовенство само не уверено было, чего ожидать. Разговор о вскрытии пошел давно, шел, шел, да все мимо, авось и сегодня пронесет. Но Ириней все-таки недоумевал: почему показ мощей дело антихристово?

С утра иноки ходили к городским властям бить челом. Ириней не пошел, молился в одиночестве, избавляя сердце от постыдной тревоги. Сам воздух в Посаде, кажется, был пронизан тревогой, и не поймешь, откуда она исходила, из каких таких звуков, слов, ветра.

Рассказывали, возвратясь, по-мирски шумно, горячливо, похоже было, рады, что вырвались из стен лавры и приобщились на минуты какие-то жалкие к мирской

суете, а иные и с девкой успели переглянуться. Радовались людской толчее, как простые дети, авось что-то стрясется, ждали. Ириней чуял, есть и такие в лавре, скажи ему слово красный флаг водрузить на колокольне, он и рванет, мелькая пятками, на пятый ярус.

Говорили, будто народу в исполкоме полно, крестьяне понаехали, красноармейцы, служивые с красными звездами пришли, комиссары в коже, и все якобы стоят на вскрытии, и верующие, и отступники. Ушли оттуда лаврские ни с чем.

Возле стен монастыря шумно и людно, как на ярмарке. Торчат вверх оглобли, распряженные кони хрумтят сеном. В трактирах половые не успевают подавать чай, кипяток «с та́ком» — плати за пар. Ходоки, паломники отовсюду, из Тверской губернии, из Владимирской, а один приметный, непонятного обличья, мужик не мужик, барин не барин, в бороде до глаз, рассказывал, будто от самой Уфы шел, где своими глазами видел, как тамошний архиерей верховному правителю Колчаку преподнес в дар икону Сергия Радонежского и тем самым будто дорогу указал, куда ему дальше следовать с воинством благословенным. И пошел Колчак теснить красных. Воткинский завод взял, Бугульму взял, Симбирск взял, на пасху в Москве будет. И вместе с ним идут полки Иисуса и архистратига Михаила в английских мундирах с нашитым крестом православным. И благословляет их на подвиг ратный епископ Андрей, вскормленный лаврой, он же князь Ухтомский в миру.

Крестились мужики и бабы да глазами хлопали, не зная, радоваться сим вестям или обождать.

Говорили разное, но больше — будто мощи нетленны и бояться нечего, безбожники посрамлены будут. Вспоминали историю, давнюю и недавнюю. О том, как живой Сергий благословлял Димитрия Донского перед полем Куликовым. И о том, как в войну с германцем посылала

лавра в царскую ставку благословение «святыми мощами, милостию божиею дивно сохраненными от тления и разрушительного действия стихий». Так что посрамлены будут.

Прошел по лавре, покружил по тропинкам наместник Кронид, тяжело ставя ноги и волоча посох, будто чугунный. Лучше бы ему скрыться с глаз, по виду его сумрачному любой глупый поймет: с мощами может быть всякое. Мирских в лавре прибавилось, чиновные с портфелями, служивые в шинелях и картузах, один все бегал в черной тужурке, потом исчез. Инок Варсонофий, одержимый падучей, рассказывал всем, как своими очами видел, будто вошел в Троицкий собор один из энтих, в коже, как сатана, мерзкое зелье курит, приблизился к раке многоцелебной — и упал замертво.

После обедни Мартирий, вратарь, прислужник у царских врат, выбежал вдруг из Надвратной церкви — и к собору с криком:

— Пушки привезли! Господи спаси и помилуй, пушки красные на колесах!

Варсонофий-блаженный, крестясь, затрясся, запричитал, переходя на визг:

— Костьми лягу, не пущу нечистых, пошли им, господь, полную голову вшей и руки укороти, чтобы не могли чесаться.

С ним два инока по бокам, готовые принять его на руки, когда Варсонофий упадет и забьется. К Надвратной ринулись все, кто был в лавре, и свои, и чужие.

На площади посреди скопища телег, лошадей, людей стоял автомобиль в красной материи, а над кузовом торчали на паучьих железных ногах черные шары, похожие на драконовы головы со стеклянным бельмом. Воинство в шлемах не подпускало толпу близко, боясь ее сокрушительного любопытства, а чиновного вида мирянин, в пальтишке, в очках, с бородкой, живо взмахивая

рукой туда-сюда, успокаивал толпу, услужливо говорил:

— Не пушки это, товарищи, граждане и гражданочки! Это осветители для киносъемки. Вся процедура вскрытия будет заснята на особую пленку, чтобы показать людям правду, как оно есть на самом деле. Сохраняйте спокойствие, товарищи, граждане и гражданочки.— Он прытко вертелся в разные стороны, привставал на цыпочки, показывая толпе худую шею. Варсонофий двинулся было к нему, пытаясь отстранить, полез было к машине, но робко; в очках что-то стал объяснять ему отдельно, но Варсонофий уже закатывал глаза, а братия рядом смотрела на него, выжидаючи, когда он наконец пустит пену, чтобы отнести его в келью.

Пока перетаскивали драконьи головы, устанавливали их в соборе да тянули, словно рыбаки сети, свои веревки и провода, прошел не один час. Гудел монастырь, гудела площадь перед ним, гудел весь Сергиев Посад. Разномастная толпа роилась у старых стен — в зипунах и в армяках, в лаптях и в сапогах, в рясах и подрясниках, в платках, в шапках и в шалях, среди них и юродивые, простоволосые и босиком. Тем временем в Надкладезной часовне шла обычная торговля свечками, нательными крестами, иконками и святой водой. Монастырь жил своей неостановимой жизнью. На площади торговали знаменитым троицким квасом и очередной книжицей «Троицких листков» под названием «Может ли христианин быть социалистом?» Листки брали все — кому сунут, тот и берет. Возвратясь домой, кто усерден и праведен, попросит грамотного прочесть на сон грядущий, или соберутся миром и послушают благую весть на сходе. Лаврская типография работала исправно, несмотря на лихую годину. Ириней знал, как знали то и гордились тем другие иноки монастыря,— идут «Троицкие листки» по всей Руси великой. Наместник Кронид с особливой гордостью напоминал лавре: выпущено ими полтораста миллионов

листков, хватит каждому жителю государства Российского, будь то православный или католик, иудей или магометанин.

Только вот скудно стала торговать лавра, беднеет казна, нечем подивить прихожан. У католиков больше связи с живым Христом. В Кёльнском соборе хранятся черепа трех волхвов, что явились с дарами новорожденному Иисусу. Ихние соборы побогаче православных. Торгуют хлебом богородицы и столбом, на котором трижды пропел петух перед отречением апостола Петра, торгуют перьями из крыла архангела Гавриила, слезой Марии Магдалины и египетской тьмой в пузырьке и даже челюстью того осляти, на котором Христос въехал в Иерусалим.

Было время, торговала лавра следом господним, а сейчас — квас да «Троицкие листки»...

Вот и солнце село, поутих люд на площади, темнота опустилась на монастырь, когда в девять часов началось действо, которое иначе как светопреставлением не назовешь,— море света залило коническое нутро Троицкого собора. Засияли бельма черных драконов, пышат раскаленным добела жаром, высветили всякую тень у стен и под сводами, заискрились золотые оклады иконостаса, парчовое облачение («в Сергиевой лавре и вошь в парче»), поблекла, растворилась в свете цветная роспись на стенах, обозначилась древность трещин и облезлая штукатурка.

Толпа стояла тесно, яблоку негде упасть, сильно пахло потом, овчиной, дурным, кислым, будто драконовы головы выпаривали из толпы нечистый дух.

Благочинный лавры иеромонах Иона, с Георгиевским крестом на шелковой рясе, поднял самые верхние, парчовые покрывала раки. Замелькали руки, крестясь, выше вскинулись белые лбы мужиков, темные платки баб, бормотание слилось в гул.

— Святителю отче Сергие, яви чудо милости своей у раки многоцелебной,— забормотал Ириней.

Храбрый Иона, отменно храбрый, воевал на море против супостата германца, удостоен Святого Георгия, но оставил ратное дело и принял постриг.

А к чему храбрость там, где нужна истовость, одна лишь жажда нужна явить мощи Сергия народу христианскому в тяжкую пору, к чему тут храбрость и крест Георгиевский? На то воля архимандрита Кронида. Не поручать же дело Варсонофию-блаженному, чего доброго, его родимчик вдарит, упадет в раку.

Кружилась голова от адского пекла, тошнило. Ириней отломил кусочек черствой корочки и положил в рот украдкой. «Святителю отче Сергие, яви чудо милости...»

Возле раки сбились в кучу исполком Посада, доктора из Москвы, партийцы местные да еще из ближних волостей — из Рогачева, Софрина, из Хотькова. Однако духовенство не затерялось, выделяется облачением — архимандрит Кронид, иеромонах Порфирий, настоятель Вифанского монастыря да еще иеродиакон Сергий, настоятель Гефсиманского монастыря и Черниговского. Все одеты по сану. Народ в рубище, а церковное облачение бог хранит.

Кронид уже здесь не властен, командует исполком: начинать. Тишина стояла, застрекотал аппарат — что-то будет.

Иеромонах Иона снимает один за другим покровы — зеленый, голубой, черный, синий. Все четко шито серебром и золотом с крестами, будто вчера готовилось. Обозначились контуры тела, перевязанного накрест по груди и у колен синей лентой в палец шириной. Игумен Ананий помогает Ионе поднять фигуру из раки. Снимают с головы черный мешок, вышитый крестами, снимают покров, под ним увитая желтой лентой еще цветная одежда, голубая, а голова в черном. Иона распарывает ножницами голубую

парчу, теперь уже фигура стала совсем плоской, пальца в четыре толщиной, не больше, и одета в самотканое сукно, грубое и уже истлевшее. Иона снимает с головы черную шапочку, виден череп, Иона бережно приподнимает его — челюсть отваливается, зубы наперечет, семь штук. Один из докторов склонился ближе и проворнее Ионы достал сверток бумаги промасленной, развернул — показывает рыжеватые волосы. Без единой сединки. Ворохнул доктор рукой останки, поднялась пыль. Загреб пригоршней что-то мелкое, разжал пальцы, заискрилась в свете дохлая моль. Плавали чешуйки, держались в воздухе как дым, долго не оседали...

Ириней отвел взгляд в сторону, увидел лики толпы, услышал голоса:

— Тленные мощи, смотри не смотри.

— Следовало земле предать отца Сергия.

— Осквернили храм божий.

— Бог поругаем не бывает.

— Теперь храм надобно освятить...

Стоит в свете белесый хам в галстуке, кривит губы ехидно, рядом с ним отрок в шинели, стриженный в тифу, растерян, как дитя малое, бледен, ртом воздух хватает. Девка пухлогубая мелко крестится, старухи сумрачные губами шевелят. А возле Иринея широкий костлявый мужик, пожилой и надежный, в зипуне нараспах, с твердыми морщинами на худом лице, бородка сивая, жидкие волосы слиплись на темени, обнажив бледную кожу, бормочет сонно и жалко; и тоска, жалость к нему и к другим верующим, которых обобрали налетом, пронизала Иринееву душу — зачем? Кому это нужно? Для какого добра? В такую годину оставить людей без пристанища последнего, веру бросить на ветер, пусть распылится она, как моль?

Замолк, отпономарил протокол казенный голос, тело толпы двинулось к выходу, никто не закричал, и небеса

не разверзлось, и ни одна душа нечистая не упала замертво, и стало еще страшней — где возмездие? В последний раз глянулИриней в нутро раки многоцелебной, запомнить хотел подробности и потом истолковать подобающе, сердце свое успокоить, увидел нутро, высвеченное сатанинским светом до крошки, до малой пылинки — череп проваленный, челюсть редкозубую, кости, осыпающиеся на концах в желтый прах, прядь волос в сальной бумаге, какой обертывают пирожки на масленой, пригоршни дохлой моли. Прах, тлен...

Толпа вынесла Иринея из собора, он жадно хлебнул воздуху, отволокся в сторону, еле держа колени, скатился с крыльца, привалился спиной к шершавому камню стены и мягко, как куль, опустился наземь, ощутив лопатками холодное тело собора.

Зачем, зачем они это сделали?..

Перед глазами его мерцало лицо мужика, похожего на его отца. Стылая пустота в глазах, покинутость, щеки без кровинки и синие губы давно голодного человека. Он не сам по себе мучился, не за себя страдал, семья у него, жена с клешнятыми от трудов руками, ребятишки с животами пухлыми, коровенка с боками аки стропила,— и всему этому надо найти смысл, чтобы терпеть дальше. Изъяли опору в нем, вышибли столб вседержащий, и все померкло — семья, хозяйство и жизнь не только на этом свете, но, что главнее, на том. Указали ему на жалкий конец человеческий, на труп смрадный. Отобрали надежду на жизнь вечную.

Патриарх Тихон, архимандрит Кронид, иеромонах Иона, почему вы, мудрые и храбрые, явили людям сей сосуд скудельный — прах, тлен, моль? Вам ли служить нечестивому делу. Или вы не ведали, что там есть, в раке, не предвосхищали могущего быть? А коли знали, предвосхищали, почему не сподобились меры принять, поддержать несчастных допустимой ложью, явить чудо

простое из множества чудес церкви, накопленных за многие лета, начиная со жрецов египетских?

Но вы отвернулись от мира по своей нерадивости, и пусть теперь голодные, недужные, обездоленные идут восвояси, бредут и едут во все края не только с пустым брюхом, но и с пустой душой.

Высветили души до донышка, как печной горшок на солнышке.

Пастыри мудрые и хоробрые, вы позволили и своим присутствием благословили крушение надежды, любви и веры. Сан берегли? Звание? Но божию строителю надлежит быть не себе угождающу.

Они безвластны — вот весь ответ.

А кто властен, если царя нет? Есть Ленин, генералы есть и войска иностранных держав, все они суете служат разноликой, а превыше их — бог вседержащий и вера народная.

Народ знает, чего ждать от ученых лекарей. Чего ждать от нечестивого исполкома, он тоже знает. Но превыше всего он ставит, чего ждать от вас, отцы церкви,— чуда ждать, укрепления веры. Но вы не явили чуда. Опустив очи долу, помогли властям веру разрушить, последнее пристанище отнять. Ведь вы для них, для людей, а не они для вас.

«А для кого я сам? Не о боге думаю, грешный, о людях. Нет во мне бога, как мне теперь жить, чем пустоту заполнить?»

Не явили чуда, негодные, и позволили зиять пустоте, ироды. «И отобьют у вас, пастыри, стадо ваше».

Нет в нем смиренномудрия...

Что осталось? Образ света всепожирающего, укрощенной молнии, ни спасения, ни забвения, и мрака такого нет, который бы поглотил сей свет. Чем развеять его, дабы вернуть надежду, и откуда он, по чьему настоянию, где источник?

Глава восьмая

— Направил было стопы к Ленину, сказали — гряди вон.

В подряснике, в скуфейке, руки сложил над поясом, будто ноет подложечка, поза вроде бы смиренная, но взгляд стойкий и жидкая бородка вскинута, облик двоится, выражая смирение нажитое и природную непокорность.

— Уж так прямо и сказали? — усомнился Загорский.

— Понять дали.— Смотрит испытующе, решая, будет ли польза от сего посещения.— Пошел я к нему с нижайшей просьбой.— Заколебался, надо ли изливать душу, если человек перед ним не главный?

— Садитесь, говорите свободнее, я не митрополит.

— Благодарствую. Так лучше мысль воспаряет.

Аня Халдина ушла вовремя, смеялась бы — «воспаряет», ну а «гряди вон» прямо хоть в арсенал бери.

— Ленин очень занят, он не в состоянии принять всех желающих.

Поза инока не изменилась, но взгляд стал с укоризной — наместник Ленина отнес его к числу всех праздно желающих.

— Но если ваша просьба важна для дела революции, мы похлопочем, он примет вас,— продолжал Загорский, подбрасывая иноку надежду. Не так-то просто удовлетворить ходатая, настроенного идти непременно к Ленину.— В чем ваша просьба?

Инок шевельнул синеватыми кистями, взял руку в руку.

— Прошу власть запретить вскрытие святых мощей принародно.

Загорский молча покивал — понятно. Дан требует власть отдать, монах — власть употребить. Вот и пораскинь, как тут быть с точки зрения широкой демократии.

Причем оба не одиночки, не от себя просят, требуют, за ними слои населения, тоже массы, особенно за монахом.

Одно утешение: оба нашу власть ощущают, убедились в ней. Осталась некая «малость», чтобы в нее поверили.

— Мы можем запретить или ограничить только то, что идет во вред трудящемуся.

— Народ теряет веру. Вред прискорбный и очевидный. Последнее пристанище утрачивает духовное — веру в бога.

— У народа, и уже давно, появилась необходимость и возможность другой веры — в свои силы. Упразднение иллюзорного счастья есть требование действительного счастья, мы так считаем.

— Вы — кто такие?

— Марксисты. Руководящая партия пролетариата.

Инок даже чуть зажмурился от столь густой ереси.

— А мы христиане,— не без гордости сказал он.— Вашему делу второй год, а церкви христианской без малого две тыщи лет. Вы пришли на готовое.

— Неверно, выдумка. Материалисты появились задолго до христианства.

— Вы пришли на готовое,— упрямо повторил инок.— Христос сказал: «другие трудились, а вы вошли в труд их». Не совестно?

— Хорошо сказал! — воскликнул Загорский.— Не в бровь, а в глаз капиталу, эксплуататорам. Революция и явилась возмездием. А ваша братия разве не пользовалась чужим трудом?

— Не тщитесь сотрясать воздух, меня вы не собьете с пути праведного. А вот народ темен, в вере нуждается, его-то смущать жестоко.

— Значит, пусть народ пребывает в темноте и невежестве. А свет разума — это жестоко. Прискорбно, молодой человек. «Народ темен — и на том стоим». И вам не совестно?

— Надо служить народу, облегчать поелику возможно его страдания.

«Служить народу»... Прямо хоть изымай из оборота, запрещай декретом эти слова! Эсеры — служить народу, анархисты — служить народу, и церковники то же самое. И Колчак, и Юденич под тем же лозунгом ведут полки на народ.

— Ваши коллеги, молодой человек, говорят так: красно глаголя, лжу глаголешь. Народ не верит пустому слову, он убедился: нужно верить только делам. А вы пришли с просьбой запретить дело просвещения, пришли отстаивать темноту. В этом вам никто не поможет. Мы — не власть тьмы.

— Главная тьма — неверие.

— А если вера — в ложь? Мощи Сергия оказались сгнившими, и вы сразу к властям — запретить вскрытия, иначе конец вере.

— Тлением нашей веры не смутишь,— падающим голосом сказал инок — трудно ему, не сможет он сговориться с этим наместником.— Народ Ленину верит, пустите меня к нему.

Загорский быстро обвел глазами стол, подал иноку лист бумаги. Тот принял обеими руками, прочел: «По указанию В. И. Ленина как можно быстрее сделать кинофильм о вскрытии мощей Сергия Радонежского и показать его по всей Москве». Лицо инока стало постным, он вернул листок, перекрестился.

Он устал, огорчение следует за огорчением, и нечем ему остановить смуту свою, оборвать разом, декретом ли, каким другим настоянием, лишь бы вернуться к прежнему и жить, как жил.

Не дают! И еще беда, не сидится ему в лавре, за пределы пошел, лезет в пекло, тщится узнать, разведать — уж так ли худо везде? Не верится ему, слишком быстро все рушится.

Да быстро ли? Может, зерно сомнений таилось в его душе давно, только роста не давало до той черной пятницы.

Будто продолжается вскрытие, и уже обнажают не мощи Сергия, а душу самого Иринея и показывают ему при свете новых слов пепел его...

— Нет в мире другой страны, где весь народ по имени Христа назван — крестьяне русские. Не монашеский орден, не секта какая-нибудь суетная, а весь народ на земле русской. Если на ваших знаменах писано: все для народа, то какому же вы народу служите? Которого нет? Тот, который есть, протестует.

Готовый мартовец. Мек в подряснике. Удивительно, до чего похож в своей логике. Видно, и впрямь меньшевизм — это не программа, а склад мышления, особая природа, порода людей. (Впрочем, большевизм тоже). Не так давно Мартов кричал по поводу продотрядов: «Предательство! Вы придумали убрать из Москвы лучший цвет пролетариата и тем самым задушить здоровый протест против голода». Главное — протест. Здоровый. А за хлебом пусть едет дух святой.

— «Какому народу служите»... Российскому, как и вы, только задачу свою понимаем иначе. Ваше убеждение на вере, а наше — на знании, и только знания дают убеждения. Вы убедились, что мощи тленны, но от нас требуете запретом поддержать заблуждение. А в писании, к вашему сведению, говорится: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте! Немало бывших верующих пришли в ряды революционеров. Они прошли сложную полосу исканий. Один из наркомов учился в духовной семинарии, председатель ВЧК когда-то хотел быть ксендзом. Но в ту пору они не просто крестили лбы и долбили догму, они мучительно искали истину, и нашли ее в материализме и в борьбе, а не в молитве и послушании. Уверен, что и вы, молодой человек, перестанете хватать-

ся за старое. У вас еще все впереди, ищите и обрящете, как говорится.

— В ваших словах нет ненависти, но к вам...— Он не договорил, только головой покачал.

Нет ненависти. Ни к Дану, ни к этому настойчивому иноку. Нет, и слава богу. Нет ненависти, потому что есть знание: гнет религии лишь продукт и отражение экономического гнета. Никакой проповедью нельзя просветить пролетариат, пока его не просветит борьба его собственная против темных сил капитализма. И в этой борьбе религиозные бредни сами собой теряют значение. Мы не выдвигаем религиозный вопрос на первое место — оно не ему принадлежит. Не выдвигаем, чтобы не распылять, не дробить силы для действительно революционной экономической и политической борьбы.

Нет ненависти — нет жестокости. Нет жестокости — нет и ответного фанатизма, не должно быть, во всяком случае.

Нет ненависти, есть знание: «Мы, партия большевиков, Россию *убедили.* Мы Россию *отвоевали* — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией *управлять*».

А управлять — самое трудное. И среди многих трудностей еще и та, что ни Дан, ни монах, ни весь калейдоскоп контры не желают нашего управления. Они разные, внешне противоположные — послух и неслух, церковь и анархия, но принцип исповедуют один: «Заблуждаются другие».

А большевики? «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

— Много вас в лавре, в семинарии? — спросил Загорский.

— Порядочное количество. В семинарии сто восемьдесят душ.

«Больше роты молодых бойцов. Не стоящих и одного

красногвардейца». Посмотрел пристально на монаха — давно не видел он столь близко этой доисторической одежды, в МК тем более. Уговорить бы его для начала просто переодеться. Бороденку сбрить, постричь патлы, выдать ему шинель со звездой, сапоги со шпорами. И вернется к нему прежний строй мысли, устыдится своих словес среди живых людей с шутками-прибаутками. Как мало надо — переодеть. Актер переодевается для спектакля в чужое платье и преображается соответственно. Снимает платье — возвращается к себе. Эти же всегда исполняют роль, денно и нощно, а когда людей нет, перед собой лицедействуют. А что там в мире без них творится, каково людям — на все божья воля.

Боженька сидит крепко. Даже в пятом году, на подъеме, когда можно было смело ругать-костерить станового и пристава, попа, чиновника, самого царя крыть, отводя душу, бог оставался богом. И когда товарищ Денис однажды в типографии Кушнерева поднял голос против дурмана религии, старый наборщик его осадил: «Чашки бей, а самовара не тронь». Годами, десятилетиями будут еще сидеть иные возле этого самовара, и помогать им будут такие вот молодцы в рясах и подрясниках. И не только российские. Ленин не зря говорит: на перестройку сознания потребуются годы.

— Тяжко, господи помилуй, тяжко,— забормотал инок.— Страна-страдалица, глад и мор, только ангелы с неба не просят хлеба.— Бормотал он с болью, искренне, истово.— Не один человек крест несет, а народ весь. И распят будет, как Христос...

— И воскреснет, если уж на то пошло! — подхватил Загорский.— Для другой жизни. Новое не может развиваться, если старое остается в неприкосновенности.

— Ленин занят.— Инок вздохнул.— Позвольте мне зайти к вам еще хотя бы один раз.

— Пожалуйста, когда захотите.— И продолжил со-

чувственно: — Наверное, вам трудно будет жить, как вы жили прежде, придется делать выбор. Вы человек думающий.

Инок помотал головой, торопясь вытрясти из ушей обольстительные слова, и перекрестился. Кланяясь, все же напоминая актера на сцене, он попятился к двери.

«Крестится, а ручонка серая...»

Загорский ткнул пером в чернильницу, записал на листке: «Для Исполкомиссии. Празднование 1 Мая не должно носить особо пышного характера».

Глава девятая

Первого мая он увидел другого Ленина.

Положение на фронтах улучшилось, Колчака погнали от Волги, Юденича не пустили в Питер. На Восточном фронте нашими войсками взят Бугуруслан, продвинулись в районе Чистополя, идут успешные бои под Оренбургом и Уральском. От Царицына наши двинулись на Ростов, белоказачьей авантюре скоро придет конец.

Под Царицыном сражался Рогожско-Симоновский полк, сформированный в Москве военным организатором района Сергеем Моисеевым. Рассказывают, комиссар полка Моисеев в боях подает пример, находчив и храбр, ни снарядам, ни пулям не кланяется. Пригодился Сергею боевой опыт. Мировая война застала его в Париже, в эмиграции, и Сергей впопыхах вступил в армию союзников — заговорила дворянская кровь, решил защищать Россию. Кличка у него была Зефир. Из Царицына Ворошилов прислал в Москву телеграмму — хвалил Рогожско-Симоновский полк за отвагу. Зефир, можно надеяться, станет кремнем...

Вдоль Кремлевской стены пустынно. На корпусе Сенатской башни — мемориальная плита Коненкова: жен-

щина с веткой мирры в руках и слова: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». (Женщина — в традициях художников Парижской коммуны — полуобнажена. При открытии, подавая Ленину ножницы — разрезать ленту, Коненков назвал свою мемориальную работу мнимореальной). Рядом свежая могила Свердлова в цветах. Длинная гряда братской могилы жертв революции ровно выложена дерном.

МК принял предложение Загорского: праздпование не должно носить особо пышного характера. Провести демонстрацию трудящихся на Красной площади и митинги по районам. Показать бесплатно спектакли на площадях, устроить сеансы граммофонов. Днем бесплатно накормить детей и, по возможности, рабочее население, раздать бесплатно номера газет «Правда», «Беднота», «Коммунар». С наступлением темноты показать кинематографические картины.

Последним пунктом в решении МК записано: «Признать невозможным выдать районам красную материю для флагов и лозунгов». Красная материя идет в обмен на хлеб в южные, хлебородные губернии, в Саратовскую и Симбирскую прежде всего. Комиссариат продовольствия отпускает красную материю только за особую наличную плату — хлебом. Не было еще такой цены у хлеба — цены символа революции.

Исключение для Красной площади. На каждом зубце стены красный флажок. Напротив Кремля на здании Верхних торговых рядов — алые полотнища с изображением рабочего и крестьянина. К рукам бронзовых Минина и Пожарского прицеплено по флажку.

На Лобном месте белое покрывало прячет фигуру Степана Разина, ветер полощет парус, складки у постамента пузырятся, рвутся из-под веревок, будто не терпится Стеньке распеленаться, выглянуть: какие они, потомки.

Площадь залита солнцем, природа балует. Колонны ра-

бочих, отряды особого назначения в шинелях с синими леями, войска гарнизона.

Лозунги: «Под красное советское знамя, против черного знамени Колчака, генералов, капиталистов, помещиков!»

««Станьте овцами и живите в мире с волками»,— говорят соглашатели. «Вырвите зубы у волков и лживые языки у предателей»,— говорим мы».

«Рабочий не хочет командовать мужиком: он хочет помочь мужику и получить от него помощь».

Около полудня на площади появился Ленин, обычный, не парадный, пальто внакидку, слегка возбужденный, по-семейному вышел праздновать, с женой, с сестрой, поблизости чьи-то дети. Пока шел к трибуне, останавливался много раз, жал руки, улыбался, что-то говорил и шел дальше. Протянул руку Загорскому и сразу вопрос: настроение среди рабочих?

Загорский знал: с таким вопросом он обращается к каждому партийцу, особенно из МК или из Моссовета. Даже в праздник для него этот вопрос не праздный. И отвечать на него надо подумав, информацией, а не отговоркой, тут не годится расхожее: «Как живете? — Да помаленьку». И по твоему ответу Ленин видит, какое настроение у тебя и, более того, чего ты сам стоишь.

Велик соблазн порадовать Ильича в праздник, но чем — мечтой? Революционной фразой? Слишком дорога дружба с Лениным и велико уважение к нему. Язык не повернется благовестить попусту.

«Было бы только сознание недостатков, равносильное в революционном деле больше чем половине исправления!» — это его слова. А сознание недостатков — не перечень их (до второго пришествия хватит перечислять). Умей выделить главное, определяющее, если ты политический организатор.

— С января по май, Владимир Ильич, Москва отпра-

вила на фронты двадцать одну маршевую роту, пятьдесят пять тысяч лучших рабочих.

Ответ уклончивый, ответ неполный, но остальное Ленин понимает сам. Надо обеспечить семьи фронтовиков, а к пустым станкам на заводах и фабриках поставить замену такую же умелую и сознательную и воспитывать их, чтобы не просто сохранить трудовой темп, а ускорить его. Красная Армия требует оружия, шинелей, обуви.

Пятьдесят пять тысяч. На фронт. Важно, нужно, необходимо. Но куда денешься от ощущения, что — от себя отрываем? Как они нужны Москве, эти десятки тысяч лучших рабочих! Как неизмеримо легче было бы с ними строить, работать, жить!..

Но кто будет воевать против четырнадцати держав?

И еще из оставшихся надо выделить сто пятьдесят, опять-таки лучших, в партийную школу при МК. С отрывом от работы. Чтобы с их помощью сохранить влияние в рабочей среде. Не только улавливать и плестись в хвосте разных настроений, но и самим создавать боевой, трудовой накал.

А потом и эти полтораста уйдут на фронт...

— Сколько осталось коммунистов в Москве, Владимир Михайлович?

— Неполных семнадцать тысяч, Владимир Ильич. Почти в два раза меньше, чем белогвардейских офицеров. Сейчас их в Москве тридцать восемь тысяч.

— Офицеры без армии не офицеры. Будем использовать их на технической работе по снабжению Красной Армии.

Они сами по себе армия. «Предавали и будут предавать...»

— Проводим еще и партийную мобилизацию, Владимир Ильич. Перед самым праздником МК предложил районным комитетам самообложиться...

Ленин покрутил головой — «самообложиться»! Но так вошло в обиход.

Загорский говорил кратко, вроде бы дельно, но испытывал досаду, понимая, что как-то минует главное, без озабоченности говорит, по принципу «черное с белым не берите, «да» и «нет» не говорите».

— Вопреки нашим ожиданиям,— по инерции продолжал он,— районы выделили довольно много товарищей. Двадцать из них уже отбыли на фронт. Остальные вольются в общегражданскую мобилизацию. Сразу же после праздника мобилизуем отряд старых большевиков до Луначарского включительно. Направим их в провинцию на две-три недели, чтобы они провели мобилизацию на местах.

Ленин слушал рассеянно, действия МК ему были известны, если не конкретно, то в принципе, смотрел по сторонам быстро, цепко, спросил не к месту:

— Сами не голодаете? — И тон деловит, без тени сочувствия, сентиментальностью он никогда не страдал, таким тоном спрашивают: «А сами вы исполнительны?» — Последите за своими товарищами из МК, Владимир Михайлович.

— Я помню, Владимир Ильич: «Беречь казенное имущество».— И решил все-таки закончить о настроении: — Одним словом, настроение боевое, настроение трудовое...

Ленин скучно прищурился, опять посмотрел в сторону.

— ...но, если говорить правду, Владимир Ильич, чудо нам бы не повредило.

Взгляд его живо вернулся к Загорскому.

— А вот это и есть чудо — говорить правду! — с напором сказал Ленин, и в глазах блеск, щеки стали теплей.— Даже если она нам невыгодна. Говорить правду на фоне лживых обещаний Колчака и Юденича, демагогии меньшевиков и эсеров. Мы будем непобедимы в том случае —

и только в том случае, если всегда, при всех поворотах истории не будем выдавать желаемое за сущее, не будем врать из так называемых «тактических соображений». Мы должны говорить то, что есть, кто поставил нас в такое положение и почему мы должны защищать революцию. Слишком дорогой ценой платят рабочие за свое право быть хозяевами жизни, слишком дорогой! Но мы не должны лгать и обещать им тут же молочные реки и кисельные берега. Они перестанут верить нам и отвернутся. Ложная фраза есть гибель нравственная, верный залог гибели политической.

Подошли к трибуне, грубо сколоченной из досок. Ленин поставил ногу на неструганую ступеньку, будто проверяя, надежна ли, проверил, затем коротко вскинул руку — и Загорскому:

— Прошу.

Мгновенно — домик в Сешероне, четвертый год, усатый, лысый, в косоворотке, незнакомец мужицкого вида приглашает, не подозревая, что сейчас раскритикуют его за раскол в пух и прах. Как легко было с ним тогда остаться наедине и говорить долго, как медленно текло время в начале века — только набирало разгон. Ступеньки юности, крашеные, домашние, и ступеньки зрелости, наспех схваченные гвоздем нетесаные отрезки, но и тогда и теперь — вверх, и вверх — по его зову.

— Владимир Михайлович! — требовательно сказал Ленин, видя, что Загорский мешкает.— Сверху вам видней будет настроение Москвы.

Загорский взбежал по светлым свежим ступенькам — высоко, штук двадцать,— выскочил наверх, не поднял головы, ведь не его ждет площадь, обернулся к лесенке, подал Ленину руку.

А площадь сверху все-таки была красной. В каждой колонне знамя. И всюду, не густо, не сплошь, но по всей площади рассыпаны там и сям маковки красных косы-

нок — женщины хранят их теперь для большого праздника, как хранили прежде по сундукам кашемировые шали и шелковые косынки.

— ...В прошлом году Первого мая мы были под угрозой германского империализма,— говорил Ленин с трибуны.— Теперь он сломлен и повергнут в прах...

Была бы прежней Россия — был бы конец войне.

Был бы конец войне, но не было бы никакой России, ни прежней, ни нынешней, не совершись революция. Она сохранила Россию, помимо всего прочего, еще и от реальной возможности стать германской колонией.

— Изменилась картина празднования пролетарского дня не только у нас,— звучал над площадью высокий баритон Ленина.— Во всех странах рабочие стали на путь борьбы с империализмом. Освободившийся рабочий класс победно справляет свой день свободно и открыто не только в Советской России, но и в Советской Венгрии и в Советской Баварии...

Трудно сказать, победит ли окончательно и надолго ли победит революция в Венгрии и в Баварии, в каждой стране свои условия, но то, что именно в эти дни там победил народ, послужило великой поддержкой российскому пролетариату.

— Да здравствует международная республика Советов! Да здравствует коммунизм!

Толпа рукоплескала, кричала «ура» и «да здравствует», толпа ликовала — свой праздник, наш!

Никогда и нигде Загорский не видел такой толпы, вдохновенной, единой, целеустремленной, ни в Германии, ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Англии.

Ленин выступал трижды в разных местах Красной площади. И Загорский, стоя возле трибуны, глядя на толпу в упор, видел удивительно одинаковый, тусклый цвет нищеты. Белые и черные, синие и зеленые некогда одежды полиняли и выстирались, стали монотонно-серыми

обносками. А обувь? Галоши на босу ногу, плетенные из шпагата тапочки, сыромятные опорки и, как роскошь, лапти, надежные, веками проверенные.

В Рязани пехотная школа выпустила первых краскомов. Вместо сапог красным командирам выдали по паре новых лаптей. Приказ начальника школы гласил: обувать лапти по торжественным случаям и на параде.

Создана ЧИКВОЛА — Чрезвычайная исполнительная комиссия войсковых лаптей.

Нельзя без боли смотреть на нужду, на худые, изможденные лица. Нищета в праздник становится еще ощутимее, бьет в глаза. Нигде он не видел такой толпы прежде, ни в Германии, ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Англии. «Страна-страдалица...»

— ...На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу,— говорил Ленин с Лобного места у памятника Степану Разину.— Много жертв принесли в борьбе с капиталом русские революционеры. Гибли лучшие люди пролетариата и крестьянства, борцы за свободу, но не за ту свободу, которую предлагает капитал, свободу с банками, с частными фабриками и заводами, со спекуляцией. Долой такую свободу,— нам нужна свобода действительная, возможная тогда, когда членами общества будут только работники. Много труда, много жертв надо будет положить за такую свободу. И мы сделаем все для этой великой цели, для осуществления социализма.

«Сделаем все». Трудно привыкнуть к нужде и голоду, невозможно привыкнуть. Но и упираться взглядом только в нужду и голод — значит не замечать, не понимать, не убеждаться в главном: в боевой стороне пролетарской жизни, не видеть каждодневной, ежечасной борьбы и ее результатов. А нужду мы потерпим, дело временное. Нам ее навязали, и мы ее победим.

Гремят литавры, ухает барабан. Парад кавалерии и пехоты.

Прогромыхал по площади танк, отбитый у французов под Одессой.

Пошли рабочие, песня прибоем «Смело, товарищи, в ногу», гармошка, пляска, колонна — вроссыпь, и пошла карусель, и с притопами, и с прихлопами, взмахи рук, платочки птицами, белозубые лица, отчаянные глаза — народ ликует, забыты беды, море по колено...

Ликование и страдание — крайности — бескрайности! — русского характера. Это про нас говорил Маркс: человек отличается от животного как безграничностью своих потребностей и их способностью к расширению, так и невероятной степенью сокращения их. Невероятнее быть не может, но — история движется нами, нами познано и усвоено главное ее направление. «Мы наш, мы новый мир построим...»

Из ворот Спасской башни выехал автомобиль, миновал деревянную будку для выдачи пропусков, подъехал к трибуне. Ленин поднялся на подножку автомобиля, приветственно вскинул руку. Шофер начал разворачивать машину, сейчас они уедут в Кремль. Толпа на мгновение приостановилась — и ринулась к автомобилю без команды, без клича, разом, как единое целое, вмиг окружила его тесным живым кольцом, приветствуя вождя криками, намереваясь нести его на руках.

Слышать грохот рукоплесканий, возгласы одобрения Ленину не в новинку, Ленин любит массу, для него всегда важно, нужно удостовериться в ее поддержке и единстве, он заряжает ее словом, и она его заряжает ответно.

Сейчас Загорский увидел другого Ленина, смущенного и недовольного. Застыла на его лице неловкая, растерянная улыбка, казалось, он хотел пристыдить: не надо, товарищи, зачем же вы так, оставьте, пожалуйста, я-то тут при чем? — будто он не он, не фигура, не вождь — двойник всего-навсего, дублер того, настоящего Ленина...

Площадь постепенно пустела, оркестр гремел все дальше, затихали песни.

Не хотелось думать, не хотелось помнить, что завтра будни.

Тревожные будни будущего. В котором главное из чудес — говорить правду. Иного чуда Ленин не обещал. Остается в силе сказанное им в конце марта: последнее тяжелое полугодие.

Загорский посчитал, загибая пальцы в кармане,— полугодие закончится в конце сентября.

Глава десятая

Теплой июньской ночью со станции Орел вышел на Москву поезд. Тяжело пыхтя, будто измученный стоянкой и сумасшедшей посадкой, состав дернулся, стуча и лязгая, кое-как сдвинулся вдоль перрона и поплыл, чаще стуча на стыках, торопясь уползти в темень от станционных огней. Из паровозной трубы светляками взметались искры, да в тамбуре хвостового вагона слабо желтел фонарь.

В душном, нагретом за день вагоне первого класса засветилось окно. Огарок свечи попыхивал и длинно коптил в железном фонаре, освещая фигуры четырех пассажиров. Купе было заперто изнутри. Захватанная, в пятнах, занавеска наполовину прикрывала лаковую черноту окна. На столике лежала пышная буханка хлеба, вровень с ней — янтарного отлива жареный гусь, и венцом всему — тяжелый бидон без ручки. Пили только трое, с разной степенью жажды, четвертый к сивухе не прикасался вовсе, курил трубку с изогнутым чубуком, набив ее табаком со щепотью какого-то зелья, отчего в купе стоял аромат, перебивая дух из бидона. Он был старше других по возрасту, лет сорока пяти, с маленькими умными гла-

зами, с отрешенным лицом философа, с крупной, гладко выбритой головой. Череп его шафранно лоснился, смазанный каким-то, опять-таки ароматным, снадобьем. Судя по его сдержанным жестам, вальяжным, неторопливым, он тут был старшим не только по возрасту, но и по положению. Звали его Чаклун. Ни имени его, ни фамилии никто не знал, кроме, пожалуй, самого батьки, да и то вряд ли.

Рядом с ним на диване сидел Саша Барановский, малый лет тридцати, тем не менее — Саша, в тельняшке, в бескозырке, сбитой на затылок, с потертыми остатками золотых букв на ленте. Напротив Чаклуна за столиком сидел Казимир Ковалевич, с длинными гуцульскими усами и небольшой бородкой, знаток анархизма и его толкователь. От двери к столику и обратно к двери метался четвертый, самый молодой пассажир, лет двадцати пяти, в серо-зеленом френче с карманами на груди и по бокам, стриженный под Керенского, бобриком, темпераментный, нетерпеливый Петр Соболев по кличке Бонапарт.

Вагон качало, скрипели диваны, дверь, стены — все, что могло скрипеть и не могло, казалось, и прокуренный воздух в купе тоже скрипел.

Разговор завязался не сразу, будто собрались они в купе как случайные пассажиры. Видно, давала себя знать близость конечной станции их маршрута.

— Первый класс, а качает как третий,— насмешливо проговорил Саша и вытер ладонью пот со лба. О чем бы он ни говорил, он всегда придавал голосу насмешливость.

Все четверо ехали налегке, без чемоданов и тюков, будто служебная поездная бригада, если не считать корзины с едой, которую Казимиру передали на вокзале в Курске, да тяжелого бидона, который Барановский раздобыл самостоятельно.

— Если уж Россию раскачало, то вагон раскачает,—

охотно подхватил Ковалевич.— Скрипит Россия, скрипят вагоны.

— Россия не скрипит,— уточнил Соболев.— Россия рычит.

— А местами воет, га-га,— добавил Саша, утробным смешком оценивая свою шутку без помощи посторонних.

Ехали налегке, однако, судя по плащам и накидкам, висевшим у двери, по тому, как натянулись складки, грозя оборвать петли, карманы их содержали некую тяжесть.

Состав был переполнен, садились с боем, обыватель куда-то ехал, искал легкой жизни, женщины, старики, дети, и еще мешочники садились и рабочие. И хотя власть ихняя, рабочая, они скромно, хотя и дружно, почти что строем, занимали вагон поплоше, третий класс, мешочники же ломились в первый — за что боролись?! Саша, в тельняшке и бескозырке, с бидоном на плече, а бидон обернут плащом, проник в нужный вагон, не размахивая ни маузером, ни гранатой, обойдясь словами двумя-тремя, не забывая помянуть богородицу как «бога мать». Держа бидон на левом плече — а бидон ведра полтора,— Саша правой раздвигал толпу, где оттаскивая за шиворот или потянув прямо за патлы, где давая пинка то с правой ноги, то с левой, на ходу безошибочно определяя, кого чем скорее проймешь. Саша долез до самой пробки возле ступенек и тут, видя, что не помогают ни руки ни ноги, подал голос: «Ра-асступись, граждане, динамит! Для Мастяжарта, мастерских тяжелой артиллерии!» — и пролез, оберегая бидон от толчка, будто там на самом деле динамит. Занял купе, опустил раму и перетаскал остальных в окно, поднимая их с перрона под мышки, как малых детей. Самым тяжелым оказался Чаклун, и не поймешь — с чего, вроде бы и роста как все и нет на нем ничего лишнего, а весит, пожалуй, не меньше семи пудов, что, впрочем, Сашу не особенно удивило — умный человек сам по



себе должен быть весомее других. Казимир весил средне, а вот Бонапарт совсем «не тае» — как пушинка, если что и весит в нем, так это два револьвера с обоймами, да пара гранат, с чем Соболев не расставался с самого Гуляй-Поля.

Расположились, распаковали корзину, Казимир похвалил Сашу за расторопность, Чаклун добавил, что у Саши талант общения с массами, один только Бонапарт ничего не сказал, и ясно почему — все таланты в нем одном собраны. Не будь Саши, они бы все равно сели, Бонапарта не остановишь, он и пальбу откроет, если что, и граната в его руке не заржавеет.

Успокоились, перевели дух, заперли дверь. Казимир расчесал усы, бородку. После разговора о скрипе по всей России внимание переключилось на столик с хлебом и жареным гусем. Похожий на идола бидон издавал слабый плеск перед самым носом Ковалевича.

— Через край будете лакать? — брезгливо поинтересовался Чаклун, на что Саша ответил:

— Га-га! — и достал из своего плаща кубок, золоченый, с вензелями по бокам, со стуком поставил его на столик и, громко глотая слюну, снял с горловины клетчатый взмокший платок, подумал-подумал и сунул его в карман — не пропадать же добру. Налил кубок почти до края, подал Чаклуну, но неуверенно, скорее ритуально, по старшинству. Чаклун в ответ только щекой дернул, и Саша передал кубок Казимиру.

— За что пьем? — перебил их священнодействия Соболев и даже остановился возле столика, как инспектор из общества трезвости.

— Один наполняет сиводралом, другой хочет наполнить смыслом,— усмехнулся Чаклун.

Соболев нервно прошелся от столика до двери и обратно, держа руки за спиной, стиснув правый кулак левой ладонью.

— Пьем за то, щоб дома не журылись,— подсказал Саша выход.

Казимир выпил не очень охотно, как воду, без кряканья и присловий, а Чаклун стал закусывать — оторвал ногу у гуся, крутнув за кость крепкими короткими пальцами.

Соболев метнул на него косой быстрый взгляд — и снова к двери. Ему хотелось сказать, что при виде такой набитой мудростью, а главное, такой отглянцованной головы очень хочется ее продырявить. Отлично будет видна дырка от пули, такая круглая, аккуратненькая, с красной каемкой на желтом фоне,— но он уже говорил так Казимиру отдельно, за спиной Чаклуна, еще в Харькове, а самолюбие не позволяло ему повторяться.

Казимир потянулся за гусем, делая плотоядную мину.

— Пора бы и о деле поговорить,— самолюбиво, сумрачно сказал Соболев.— Скоро Москва.

Однако Казимир не спешил с ответом, молча жевал, будто не замечая стремления Бонапарта взять власть.

— Дело ясно, що дело темно,— определил Саша.— Га-га.— И заискивающе посмотрел на Чаклуна. Видно было, что если Саша кого и почитает из здешних, то только его, Чаклуна. На то были особые основания.

— Скоро Москва, что верно, то верно,— согласился Казимир с Соболевым.— Надеюсь, успеем туда раньше Деникина.— Усмехнулся криво: — Думаю, батька правильно сделал, что открыл фронт, комиссары с Деникиным быстрей перебьют друг друга.

— Разумеется, правильно,— ехидно согласился Чаклун.— Батька видел, что хлопцы его скоро сами перебьют друг друга.

— Дисциплина хромала, что верно, то верно,— благодушно согласился Казимир.— Но батька все-таки старался навести порядок, надо ему отдать должное. Возьмите, к примеру, Елисаветград.

— Зарубили дюжину мародеров, а толку? — не согласился Чаклун.

Все-таки интересно, в таком ли тоне он разговаривал с самим Нестором Ивановичем, когда с ним из одной чашки ел?

— В Елисаветграде вас не было, а я был! — радостно сказал Саша.— Погуляли в те дни, що и говорить, успели отвести душу. И день гуляли, и другой гуляли, ни одной девки в городе не осталось целой. А на третий батька сказал: хватит, и выходит со штабом на улицу. А тут ювелирный напротив, рядышком. Они туда — проверить, а из витрины выскакивает наш вольному-воля, и цацок на нем, как на собаке блох, понавешано, ожерелья, жемчуга, на брюхе вазу обеими руками обнял, а ваза та с годовалого кабана. «Руби мародера!» — командует батька. А ему сзади голос: «Да это ж свой, батька, это ж Тайга, казначей у Щуся». Батька гривой трясет, ногами топочет: «Р-руби-и!» Левка Задов махнул шаблюкой — головы нет. Был Тайга и весь вышел. «Девятый»,— говорит Левка и на ножнах зарубку делает, черт-те какую, может, аж сто девятую. А Гаврюшка ему говорит: «Сгубил картинную галерею, Левка. У него ж на заднице царь с царицей намалеваны, не соскребешь». Так що вы думали? Вертается Левка до мертвого трупа, ногой его ворохнул, клинком штаны взрезал — глядит. То на правое плечо голову положит, то на левое, как курица. Любуется, а там на одной ляжке царь, а на другой царица. Полюбовался, догоняет, шуткует: «Такую задницу, говорит, да на хоругвях носить!» Га-га, смеху было.

— У всякого скота своя простота,— заметил Чаклун.— А пришли в Бердянск — снова грабеж.

— Ну-у, в Бердянске краси-ивое дело было,— с вожделением протянул Саша.— На моих глазах. Гульба была, красивая была гульба! — Он почесал себе грудь согнутыми пальцами, как когтями.— Заняли мы Бердянск, и

приказал батька собрать всех проституток, какие есть, в наилучшую гостиницу, не то в «Бристоль», не то в «Мадрид», пригласить, а не пойдут — силком согнать. Куда там, понабежали сами. Из бердянских подвалов вытащили наилучшие вина, столетней, а то и больше давности, печеные гуси с яблоками, бараны на вертеле, пир горой, разлюли-малина. Попили-поели, батька приказал выстроить всех проституток в один ряд, определить, какая же из них самая красивая. Выстроили, стали подводить к батьке одну другой краше: выбирай, батька, себе княжну, как Стенька Разин. Одну подвели, другую, батька нос воротит, то ли перепил, то ли недопил, а тут у вольницы терпеж кончился, стали они девок себе хватать, а то не достанется. Хай и лай, визг и писк, и про самого батьку забыли. Тогда он выхватил маузер и пошел палить по кому попало. Человек десять уложил и ушел к своей жинке, учителке.— Саша даже устал от рассказа, и во рту пересохло.

— Чернь, быдло, скот оценивают Махно со своей колокольни,— Чаклун выпустил колечко дыма.— Скажи мне, что ты думаешь о Махно, и я скажу тебе, кто ты. Но идея вольницы устарела — скакать на лошади рядом с паровозом.

— Махно — явление сложное,— согласился Казимир.— Он мог выстроить проституток, чтобы сказать им доброе слово и отпустить по домам.

Саша икнул от такого поворота истории. Для кого старался, рассказывал?

— Батьку любили все,— внес свою лепту Соболев.— И бандит с большой дороги, и очкарик-интеллигент. В чем его сила, не знаю, но факт, любили.

— И каждый говорил: на него влияют,— продолжал Казимир.— Запретил мародерство — на него влияют одни. Собрал проституток — на него влияют другие. Отсюда вывод: его власть не мешала свободной борьбе сил.

— Только крепкая власть, только тирания спасет Россию,— твердо сказал Чаклун.— Нужна рука покрепче Петра Великого.

— Нет уж, увольте нас от такой милости! — возразил Казимир, поправил пиджак, выпрямился, как на трибуне.— Человек рождается свободным! И ни рабство, ни двухтысячелетняя мерзость христианства — во грехе родились, во грехе помрем — не исказили его великой природы. Человек создает себя сам, отвергая как бремя все, что становится между ним и матерью-природой. Тирания? — нет! Только в том случае человек достигает полного раскрытия своей личности, когда он освободится от каких бы то ни было внешних влияний — государственности, морали, религии, когда он сам, и только сам, станет абсолютным первоисточником всех своих деяний, и тогда он сам — свой собственный бог, перед которым можно совершать свои коленопреклонения. Его стихия — безграничная свобода! Только в ней может раскрыться вся его сущность. А разговоры о государстве и твердой власти — бред рабов и холопов, не мыслящих своей жизни без цепей. Всякое государство, коллектив, масса есть рабство духа, кандалы индивидуальности. Не может быть свободы через насилие, не может быть никакого единения через меч и кровь, единение — только через развитие духа. Вот почему поднялся народ против комиссародержавия на севере и на юге, по российским окраинам. Большая страна, как большой пирог, объедается по краям.

— А мы поможем ее сожрать с центра. Я взорву Кремль, клянусь матерью! — воскликнул Соболев, подогретый речью.

Чаклун молча попыхивал трубкой, прикрыв глаза, он как будто не слушал, что-то вспоминал. Вспомнил:

— В Барселоне двадцать пять лет подряд анархисты собирают деньги на памятник Бакунину. Двадцать пять лет. И каждый год находится предатель и выдает всех.

Его убивают, по жребию. Убийца бежит в Америку. Снова собирают деньги, снова предатель, снова расплата. Двадцать пять убитых, двадцать пять убийц. Игра в памятник продолжается. Кто ее ведет, злодей или праведник, не имеет значения, лишь бы продолжалась игра. Вот вам «человек создает себя сам, он сам свой собственный бог».

Саша кивал каждому слову Чаклуна, ничего толком не понимая.

Казимир плеснул себе из бидона, выпил, оторвал гуся. Сделал вид, что не понял притчи — с пьющего какой спрос? — подхватил про памятник:

— Газеты пишут, на Красной площади поставили статую Степана Разина. А Нестора Махно, живого Стеньку двадцатого века, хотят к стенке. Поистине они любить умеют только мертвых.

— Мы тож-же! — все больше заводился Соболев.— Полюбим их только мертвыми! Налей мне, Саша. За что пьем? Напоминаю, впереди Москва.

Саша налил кубок, подал его Соболеву. Тот принял, но пить сразу не стал, выжидательно, требовательно глядя на Казимира.

— Что тебя интересует? — спросил наконец Казимир, обсасывая косточку. Когда у актера нет средств на сцене, он начинает жевать либо закуривает.

— Меня интересует, кто нас примет в Москве и с чем?

— Мать сыра земля,— басовито отозвался Чаклун.

Он не пошутил, не вскользь брякнул — веско сказал, со значением, не сказал, а прокаркал. Соболев побледнел от злости на его неуместное пророчество, однако сдержался, решив не пузыриться, не жечь порох зря, иначе не разговор будет, а сплошное его карканье.

Чаклун ел быстро, жевал с хрустом крепкими белыми зубами, как здоровое животное, спокойный сильный хищник.

— Мать сыра земля со временем для каждого, это естественно,— натянуто оскалился Соболев.— Все там будем, но пока мы живы.— Он приподнял кубок, торжественно повысил голос: — Как писал Герцен на своем «Колоколе»: зову живых! — Опрокинул кубок, выпил крупными глотками, острый кадык его дергался на длинной шее.

— Ну, во-первых,— не спеша, снисходительно заговорил Казимир,— если уж Бонапарту так не терпится, перешел на призывы,— Яков Глагзон и Цинципер, думаю, уже там, в Москве. С ними дюжина наших гавриков.

— Глагзон, Цинципер! — фыркнул Соболев достаточно красноречиво.

— Они анархисты знатные, воробьи стреляные,— вступился Казимир.— Москву знают до донышка, легальную и нелегальную. Они там орудовали до марта прошлого года, пока комиссары не перенесли туда столицу из Питера. Чекисты разогнали черную гвардию, Глагзон и Цинципер ушли к батьке, были при штабе, кое-чего набрались и теперь не пустыми в Москву вернулись.

— Самое лучшее — возвратиться в дураки,— сказал Чаклун и отвернул у гуся вторую ногу.

Для какой такой надобности направил с ними батька Махно этого подкидыша? Постороннего, в сущности, субъекта сунул в боевую организацию. Постороннего не только для этой группы, но и для всего человечества.

Вернее всего, он надоел самому батьке, тот и решил от Чаклуна избавиться. Но поскольку Чаклун еще может крепко навредить — где-то, кому-то, если его отослать с умом,— то батька ничего такого насчет «кражи» не говорил Левке Задову. Не то бы Чаклуна, как и многих других, батьке неугодных, сразу бы «украли» — срубили бы голову втихаря.

Хотя расправиться с ним не так-то просто. Он и на самом деле чаклун — чародей, колдун, слово знает.

Саша торопливо налил себе — а то и впрямь, чего доброго, перейдут к делу, задвинут бидон под стол, не дотянешься,— с присвистом выпил, почмокал сладко и сразу опьянел не столько от самогона, сколько от желания поблажить. Он и на сухую любил придуриваться, ну а уж если выпьет, сам бог велел. Тем более все они знают, каков Саша в деле, к примеру на эксе в Харькове,— любой сейф для него семечки.

— Два старых волка, прошедших огни и воды, и с ними дружина как на подбор, для начала не так уж мало, Бонапарт. Но нам в Москве нужны не только боевики, для нас важнее стержень политический, идейный. И тут я вам кое-что приоткрою.— Казимир доел свой ломоть гуся, оторвал кусок серой бумаги, вытер усы, пальцы и начал запевно, намереваясь говорить долго: — Представьте себе Бутырку, громадяне, знаменитую на весь мир Бутырку вообразите, хотя никто из вас в ней так и не побывал...

— Для них Лубянка,— вставил Чаклун, раскуривая свою трубочку. Сказал опять как о посторонних, без себя. Соболева передернуло. Ароматный дымок мохнатым кольцом поднялся над бритой головой Чаклуна.

— ...Бутырку семнадцатого года, а точнее, недели за две до Февральской,— распевно продолжал Казимир. Он будто зарок себе дал не обращать внимания на Чаклуна, от греха подальше. Соболев это заметил, и это тоже его бесило.— В канун Февральской, первой — я это подчеркиваю — революции. Вообразите: камера. И сидят в ней три каторжанина. Может, сидели они и не в одной камере, но лучше пусть будет в одной, иначе не так складно. Молва создает легенды, убирая мелочи, чтобы они не заслоняли сути. Сама Бутырка и есть как одна камера. Итак, сидят трое: анархист Нестор Махно, большевик Феликс Дзержинский и эсер Данила Беклемишев. Все у них одинаково — и баланда, и нары, и кандалы. И мечта

на троих одна: поскорее бы революция, поскорее бы день свободы. И вот такой день настал. Первого марта толпа ворвалась в тюрьму, перебила стражу — каюсь, каюсь! — разогнала, тогда еще никого не убивали, отворила ворота: выходи, каторжане, свобода, царь без престола! — Казимир, ликуя, пустил руладу.

— Престол без царя,— поправил его Чаклун.— Царя нет, престол остался, и кто его занял, Саша?

— Вопрос! — восхитился Саша.— Всем вопросам вопрос. Ребром! Комиссары заняли, кто же еще! — Саша Чаклуна обожал и рад был случаю поддержать его.

— Не сразу! — решительно возразил Казимир.— Не сразу, прошу не перебивать. Я подчеркивал: первая революция, Февральская. Три политкаторжанина вышли на свободу. Мечта их сокровенная сбылась. Большевик поехал в Петроград, вошел в правительство. Эсер остался в Москве, вошел в правительство. Анархист поехал к себе в Гуляй-Поле и тоже вошел в правительство, стал председателем Совета крестьянских и солдатских депутатов. В разных местах России стали бывшие каторжане строить новую жизнь. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не прошло и года, как обнаружилось, что строят они новую жизнь до того по-разному, что не могут узнать друг друга, как будто и не сидели в одной тюрьме при царском режиме, не гремели кандалами за одно и то же дело, не вскармливали одну и ту же мечту. Три судьбы отразили, как в зеркале, все ступени революции. Эсер стал поддерживать то, что уже сделано — первую революцию, большевик путем заговора устроил вторую революцию, и как он ее поддерживает, мы на своей шкуре знаем. Один — первую, другой — вторую, но бог любит троицу. История быстро показала, что ни первая, ни тем более вторая не дали и не могли дать народу подлинную свободу, без угнетения, без принуждения и насилия. И тогда пришел черед взяться за колесо истории

третьему — Нестору Махно. Именно анархии суждено теперь стать у кормила третьей социальной революции. Вот в чем подлинное предназначение батьки Махно. А что те двое? Большевик поднял на анархию карающий меч ЧК, а эсер подумал-подумал и понял: ничего не осталось от его первой, Февральской, она свое дело сделала — и на свалку, разбежалась его партия, кто направо, кто налево, кто куда. Тогда и он обратил свой взор в нашу сторону, понимая, что истинно свободомыслящему человеку выбирать между монархией и республикой все равно что выбирать между плахой и виселицей. Долой монархию, долой республику и да здравствует наша вольница! Теперь вам должно быть ясно, в Москве нас встретит Дан Беклемишев. Он пока не вошел в историю, как два его собрата по Бутырке, но имеет для этого все возможности.

— Мы его введем, га-га.

— Мой принцип известен,— сухо заметил Соболев.— Никого не вводить в историю.

— Самому войти,— вставил Чаклун, пыхнув трубкой.

Соболев сузил глаза, будто прицеливаясь в его бритую башку.

Рассказывали, будто Чаклун сразу после революции прибыл в Александрию эмиссаром Временного правительства и, как свободный человек свободного мира, начал проповедовать буддийскую религию в порядке свободы совести. Мужикам не понравилось «терпеливо сносить страдания и отрекаться от всякой собственности», когда вся земля наша, и Чаклун вскоре исчез. Прогремела еще одна революция, по всей России заполыхала гражданская война, голод и тиф косили людей, а Чаклун жил себе припеваючи на хуторе близ Александрии в чистой добротной хате, один, если не считать семи девок с ним, да каких — одна другой краше. Девки собирали траву, сушили ее, варили зелье, а Чаклун лечил местных крестьян от любого недуга, от всякой напасти, и людей лечил, и

скотину, и ко всем с добром. Но того, кто шел к нему со злым умыслом, Чаклун мог наказать жестоко, человека одолевал понос тут же, а у его коровы запирало молоко намертво. Слава о нем пошла по всей Херсонской губернии. Но не в лечении было главное и не в поносе, как потом рассудили в вольнице, а в том, что с семью девками он управлялся один. По ночам они будто бы устраивали шабаш при свете костра, плясали нагишом, распустив волосы до колен.

Когда в губернии утвердились махновцы, они скоро узнали про Чаклуна, про его чаровниц-девок, и вот однажды нагрянули по пьяному делу к нему на хутор целым эскадроном. Девок им хватало и по другим местам, но эти были особенные, в любви шибко изощренные, свободные немыслимо. И хотя хутор стоял в стороне от шляха, хлопцы не посчитали за труд дать кругаля и заявились к Чаклуну во всей красе: с гармошкой, с песней и с черным знаменем. Чаклун их принял с полным радушием, велел, чтобы девки дали овса коням, приветствовал свободных людей кратким словом. А когда вольница от свободы слова перешла к свободе дела и кинулась валить девок, произошел срам — кони вдруг повзбесились и понеслись со двора, скача через плетень с диким ржанием, будто конец света настал. А сами хлопцы похватались за животы и, кто на карачках, кто согнутым в три погибели, дали со двора дёру кто куда, и каждого будто бы прошиб кровавый понос.

Про ту красивую историю (все истории из ряда вон назывались у Махно красивыми) узнал батька, сам пожаловал к Чаклуну, долго с ним говорил о свободе личности и тут же позвал к себе в штаб. По другой версии, Чаклун пришел к нему сам. Будто бы прищучили его зимой комиссары на хуторе за излишки, и он их не одолел ни словом, ни зельем, поскольку они ни в бога ни в черта не верили. Девок он своих распустил проповедовать

свободу в народе, но с собой все-таки взял одну, глухонемую, но таких статей, такой повадки, осанки, каких еще бог не создавал на грешной земле. Глаза с блюдце, брови вразлет, глянет — с ног свалит. Губы пухлые, с вишневый вареник, и хоть и одета всегда в черный балахон, и плат как у монашки, но шаг ступнет — и вся ее плоть играет.

Стал Чаклун возле батьки вроде Гришки Распутина при царе. Батька полюбил Чаклуна и будто бы каждый раз перед боем с ним советовался. И сейчас будто бы он отправил Чаклуна в Москву, чтобы тот проник к Ленину и выведал все, что им задумано дальше сделать. После чего вернуться к батьке, обо всем доложить и вместе нарисовать картину жизни.

Но Казимир догадывался, где собака зарыта,— Чаклун надоел батьке, и тот решил от него избавиться. С батькой так бывало не раз, приблизит к себе человека, ест с ним из одной чашки, пьют вместе, не разольешь водой, а потом вдруг отдаляет. А коли уж отдалил, уноси ноги из вольницы. Она не переносит тех, кто высоко взлетал, по заслуге или без нее, один черт. Расправы сама рука просит, неодолимая жажда охватывает — снять голову тому, кто был под крылышком всесильного, тешил беса своей недоступностью. Любое покровительство настраивает вольного холопа мстительно, и чуть ослабнет над кем батькина опека, так его вскорости и приберут.

Только к одному человеку не менял батька своего отношения, к Аршинову-Марину, ученому анархисту, с которым вместе сидел. Батька называл его прямо и вслух своим учителем, берег его и от себя не отпускал.

А Чаклун ехал теперь в Москву с боевиками и хамил им всю дорогу, как хотел.

— Да, самому войти в историю! — отчеканил на его реплику Соболев.— Причем не просто так, а по трупам тех, кто инако мыслит. У Махно — под Ленина, а у Ленина — под Махно.

Чаклун кивнул — намек понял, выпустил колечко дыма.

— Поколение исполнителей,— сказал он резюмируя, как наблюдатель со стороны.— Лозунг Ленина ли, лозунг батьки, бара-бир,— принять к исполнению. Лишь бы не мыслить. А дураку, как известно, легче жить.

Соболев побледнел, сунул руку в карман. Саша поставил локти на колени и приложил ладонь к ладони раз, другой, третий, будто собрался играть в ладушки, а на самом деле готовый схватить Соболева, если тот потянет из кармана «чего-нибудь железное». Саша усадит его, как малое дитя, на диван, вернет в чувство. Бонапарт горячий, отойдет, сам спасибо скажет.

— Болтается, как дерьмо в проруби, ни нашим, ни вашим! — хрипло выговорил Соболев, вперив бешеные глаза в Чаклуна.

Того слова не возмутили, нет, он мог бы и еще подразнить спесивого, но его возмутил жест — к оружию потянулся щенок, придется поучить, уж шибко просится. Чаклун отвел чуть трубку от губ и поймал взгляд Соболева как на шпагу, впился в его глаза не мигая, остановившимся ярким взглядом, и задышал протяжно, вдо-ох, вы-ыдох, длинно, слышно, ноздри его прилипали, как у кроля, то правая, то левая, стало мертвенно тихо, Саша застыл со своими ладушками. Лицо Соболева перекосилось, он схватился за живот обеими руками, будто его пырнули ножом, стал сгибаться.

— Мама рыоднайя,— утробно забормотал Саша,— шухер на бану, братцы, я так не играйю,— и отвернулся в угол, полез с ногами на диван, прикрывая щеку ладонью, чтобы не попало ему в глаза то страшное, что попало в глаза Соболеву.

А Чаклун дышал громче, протяжнее и держал на Соболеве приказный взгляд. Лицо Соболева корчила гримаса, он клонился ближе и ближе к столику, не отрывая

рук от живота, наконец, дернулся судорогой и двумя пальцами пырнул, как выстрелил, в глаза Чаклуна. Тот плеснул к лицу коротконалую руку, глухо замычал. Соболев мгновенно выхватил револьвер, будто фокусник птичку из рукава, и с маху длинной дугой ударил Чаклуна в висок. Бритая голова продержалась миг на весу и со стуком упала, отвалилась к стенке, будто отрубленная. Соболев отпрянул по-кошачьи назад, будто спохватился, вспомнил что-то, ткнул револьвером Саше под челюсть, у того клацнули зубы.

— А ну бери! Быстро! — Соболев метнулся к окну, всем телом повис на раме, отклячив зад, сдернул раму, загрохотали колеса, пузырем выгнулась серая занавеска.

Саша привычно, сноровисто, одним движением задрал пиджак со спины Чаклуна ему на голову, чтобы не замараться кровью, сгреб тело в охапку, крякнул — и подал Чаклуна в проем окна, в грохот ночи таким движением, как ставят в печь тяжелый казан со щами.

Соболев стоял сзади, лицо его из жалкого стало снова бешеным, он буравил Барановского взглядом, ждал его слов,— что теперь скажешь, холуй?

— Га-га,— сказал Саша.— Только сапоги брякнули. Що я ему, нанялся? Сюда тягни, отсюдова пихай.— И отряхнул руки.

Один Казимир не изменил позы, сидел неподвижно все это краткое время. Нельзя сказать, что он сохранил спокойствие, легкое оцепенение все еще держало его, и не от действий Соболева и Барановского, нет, он ошалел от сопения Чаклуна и оттого, как Соболев схватился за живот.

— Тебя что...— разжал сухой рот Казимир,— на самом деле?

Соболев вытер рукавом френча взмокшее от пота лицо, произнес неуверенно:

— Ч-чепуха.— Попытался сунуть револьвер в карман,

попал не сразу.— Но цыганский пот прошиб, как видишь,— заключил он бодрее, изо всех сил стараясь взять себя в руки, удрученный, но опять же не тем, что сам сделал, а тем, что чуть было не сделал с ним Чаклун.— Не зря болтали, будто он полковник генштаба, десять лет в Тибете прожил как царский шпион.— Резко повернулся к Барановскому, рявкнул, срывая злость: — Будешь при мне! Ни на шаг в сторону, дуболом!

— Да ты не борщи, не борщи,— обиженно сказал Саша.— Я тебе еще пригожусь,— будто Соболев его прогонял, а не наоборот. Видно, с перепугу Саша приготовил свой довод раньше, а выговорить смог только сейчас. Быстро прогнал обиду, гоготнул и запел: — Атаман узна-ает, кого не хвата-ает...

— Хочешь, чтобы я избавился от свидетеля? — вскипел Соболев.

— Хватит! — жестко приказал Казимир. Процедил сквозь зубы: — Мальчишество! И пить хватит, до Москвы не доедем.

Соболев, кивая на бидон, на окно, приказал Саше:

— Туда же!

Саша проворно встал, поднял бидон, подумал коротко и прилип губами к горловине, жадно хлюпая, будто в знойный день на покосе дорвался до жбана с квасом.

Вагон качало, мотало, стучали колеса, стучали Сашины зубы о край бидона.

Глава одиннадцатая

Порученец Гриша орал в самое ухо:

— Добр-рое утр-ро! Добр-рое утр-ро! — и тормошил за плечо Загорского.— Вы встали?

— Встали...— сонно пробормотал Загорский, с трудом расклеивая губы. Выпрямился на стуле, глаза закрыты, стол под руками плывет в сторону.

— Доброе утро! — еще раз, проверочно прокричал Гриша.— Эй, Владимир Михалыч! — И поставил перед ним на стол чайник с кипятком.

— Доброе, доброе.— Загорский открыл глаза.— А где твоя винтовка, Гриша?

Порученец ругнулся вполголоса — опять винтовка! — и заспешил к двери, намеренно громко топая сапогами и делая вместо пяти шагов десять, чтобы окончательно разбудить Загорского и тем самым выполнить первое на сегодня поручение. А винтовка... На днях заходили девушки из университета Свердлова (им поручено было рассеивать слухи и выявлять паникеров возле тумб с географическими картами, на которых отмечалось положение на фронтах), увидели винтовку в углу и спрятали ее за вешалку. С Гриши семь потов сошло, пока он ее нашел. Могли ведь и унести...

Заседание окончилось поздно, часа в три, Загорский успел отворить форточку, вернулся к столу на минутку, запереть документы,— «сейчас отправлюсь домой» — положил руки на стол, голова сама склонилась на руки, и он захрапел. В таком, совсем не исключительном, случае порученец обязан был его разбудить утром. Но как будить, если человек спит как мертвый? Кричать, тормошить, трясти. Гриша обсуждал подробно, что именно кричать в самое ухо, чтобы пострашнее. «Горим!», к примеру. А когда мы не горим? «Кремль на проводе!» А он каждые пять минут на проводе. «Деникин!» Но кто про него не помнит... «Вот до чего довела нас Антанта,— сказал Владимир Михайлович,— уже и пугать нечем. Говори мне, Гриша, просто «доброе утро»». И Гриша старался «говорил», сотрясая особняк графини Уваровой.

Фразу про Антанту Загорский взял у Ленина. Рассказывали, будто Ильич увидел однажды в Совнаркоме Павловича, старого ученого, историка и экономиста, в шинели, в ремнях и в сапогах, надо полагать, со шпорами (по-

литработников перед отправкой на фронт одевали как надо),— и говорит: «Вот до чего довела нас Антанта: даже Павловича посадили на лошадь».

Гриша побежал вооружаться, а Загорский выпил глоток кипятку и достал бритву. Один «золинген» был у него в «Метрополе», а второй на всякий случай он принес сюда как-то летом, когда дел прибавилось и пришлось засыпать иной раз прямо в кабинете. В конце концов особняк графини тоже жилье.

Стоя перед окном, он быстро брился, ловя зыбкое свое отражение в серой поверхности стекла, видел смутно лицо в белой пене и движение руки с лезвием, а заодно и хмурое утро видел за окном, мокрую листву и дождь в саду, оставаясь все еще на грани сна и бодрствования, умышленно стараясь подержать сознание отключенным еще немного, еще чуть-чуть до того, совсем уже близкого момента, когда врубит его, и пойдет безостановочно мелькание разрядов — звонки, приказы, спросы, ответы — снова до глубокой ночи.

Слегка кружилась голова, слегка звенело в ушах, слегка мутило. Каждое утро. «Так вот и начинается совболезнь». Дальше обмороки и приказ: в санаторий. Но он делает все, чтобы предотвратить болезнь, а все — это приказ себе: ты можешь то, что ты должен. Дела на сегодня: подготовка субботника, заседание в Моссовете, обучение частей особого назначения, подбор разведчиков в особый отряд Камо (для диверсий в тылу Деникина), разбор фактов бюрократизма и — оборона Москвы.

Сентябрь, хмурое утро, дождь. За окном в саду сумрачно, желтая листва взмокла и потемнела.

Кончается последнее тяжелое полугодие.

Красная Армия растет. В марте было полтора миллиона бойцов, к сентябрю стало три с половиной миллиона.

Растет ее вооружение. Если в апреле рабочий класс

республики выдал 16 тысяч винтовок, то в августе — около 43 тысяч. Кончается тяжелое полугодие.

Начинается сверхтяжелое. В Москве остался один процент коммунистов к числу жителей.

Растет армия, растет вооружение, но Деникин взял Курск и пошел на Орел. С пулеметами Кольта из Америки. С гаубицами и бронемашинами «Остин» из Англии. С французскими самолетами. Идут поголовно офицерские полки, гусарские полки, гвардейцы двора его величества. В шинелях из Манчестера, на канадских седлах.

Миллион рублей царскими ассигнациями получит тот деникинский полк, который первым войдет в Москву,— такой приз объявлен и уже приготовлен донецкими капиталистами.

А пока деникинские полки получили двести миллионов патронов — без малого по два на каждого российского жителя.

Из Америки идут караваны судов с аэропланами, бомбами, паровозами.

В Сибири Колчак и чехи.

На Дальнем Востоке японцы и американцы.

В Архангельске англичане.

В Тифлисе и Баку англичане.

Черное море бороздят французские корабли.

На Украине Симон Петлюра и Нестор Махно, что ни волость, то своя банда.

Никогда еще Советская республика не была такой маленькой, как в сентябре девятнадцатого.

Ранняя будет осень, скоро снова — нечем топить. Ненастье пронизывает листву, тротуары, улицы, пронизывает и душу людям предвестием новых забот и бед.

«...Человек отличается как безграничной способностью к расширению своих потребностей, так и невероятной степенью сокращения их».

Грохнуло по двери, скребануло, бухнуло, будто сразу трое ломились с той стороны, ища ручку, дверь толчком отворилась, штыком вперед качнулась трехлинейка, за ней голова Гриши в фуражке со звездой.

— Дзержинский! — выпалил Гриша, и в голосе его: спасайся кто может.

— Ты же не контра, Гриша, бояться Дзержинского.

— А я и не боюсь. Я — чтоб начеку перед Чека.

Гриша парень старательный и сообразительный. На фронт не попал по болезни. «Батя помер, наследство оставил — язву желудка». Признали Гришу нестроевым, попал он на трудовой фронт, работал на совесть, но пришел час, и попал Гриша в отряд особого назначения. Получил форму, оружие, а главное, солдатскую флягу, удобную, плоскую, нальешь в нее кипятку, сунешь под рубаху — и язва утихомиривается.

— Документы стребовать? — басом спросил Гриша, стараясь заглушить свой переполох, занял дверной проем и даже локти растопырил — никого не пущу.

— Зачем?

— Бдительность показать. Я ма-агу!

— Если можешь, попробуй,— согласился Загорский.

Побегушки Гришу мало радуют, ему хочется утвердить себя чем-то строгим.

— Позвольте,— послышался за его спиной глуховатый голос.

Гриша отскочил от двери, будто его шилом в зад, стукнул прикладом об пол, штык рывком на себя, замер по стойке смирно, ест глазами Дзержинского. И все — от одного-единственного слова, мягкого, интеллигентного, но каким тоном спокойно-властным было оно произнесено. Не зря у контры дрожали поджилки от его голоса. «Позвольте» — просьба, если ее написать, но если ее произнести тоном председателя ВЧК в сентябре тысяча девятьсот девятнадцатого...

Дзержинский коротким жестом отдал честь, и Гриша высоким голосом, перевитым рвением и почтением, выпалил в ответ:

— Здравия желаю, товарищ председатель ВЧК!

...Вечером, разматывая перед сном портянки в казарме, Гриша будет рассказывать, как остановил сегодня Дзержинского у двери кабинета Загорского, как потребовал у него четко и с расстановочкой: «Па-азвольте ваш мандат», и как Феликс Эдмундович тотчас достал и раскрыл перед Гришей свой мандат из красной кожи, после чего Гриша вежливо разрешил ему проходить. «Правильно, товарищ чоновец, спасибо за службу»,— сказал ему гроза контры. «Служу трудовому народу». Через день-другой Гриша добавит, как Дзержинский пожал ему руку, спросил, откуда он родом, и Гриша тут же рассказал ему и про батю своего, крестьянина, который умер весной от голода, и про мать, едва выжившую, и про твердость Советской власти в его родной Яхроме Дмитровского уезда Московской губернии. Пройдет еще лет семь-восемь, и Гриша, если будет жив, вспомнит многое другое из того, что не сказал, но одним только взглядом, одним жестом приветствия выразил ему, рядовому бойцу частей особого назначения, и в лице его всем другим верным и преданным людям особого назначения Железный Феликс, гроза контрреволюции, дорогой и незабвенный Феликс Эдмундович.

И рассказывая подробности, вспоминая все больше, Гриша не погрешит против истины, не исказит главного — времени, когда подробности были спрессованы в одном только взгляде и в коротком жесте. Потомкам трудно будет представить цену мгновения этой осени 1919 года, они не станут спрашивать, где кончается правда и начинается выдумка, потому что правда того времени — не кончается. Была быль, да забылась и стала сказкой. И потомки будут ждать обстоятельных воспоминаний о чут-

кости и человечности — по ритму нового спокойного времени, и Гриша будет стараться не ради своей корысти, но ради славы и всеобъемлющей широты революции и тех ее героев, с которыми Грише в те мгновения довелось приобщиться к истории. И он не скажет, да и сам забудет со временем, что для долгих слов, расспросов и благодарностей не было тогда минуты, а если и была, то как раз для короткого взгляда и короткого жеста, но какого — отдал честь! И еще Гриша споет песню чоновца — человека особого назначения, осназца: «Так будем зорче целиться, опасность впереди. Вперед, солдаты Феликса, не сдать,— а победить!»

А пока он поступил правильно, не потребовав никаких мандатов, чтобы не сказал ему потом Владимир Михайлович, не подумал: «Груб ты, Гриша, бюрократ, не умеешь с людьми обращаться, иди дрова пилить».

— Здравствуйте, Владимир Михайлович.— Рука у Дзержинского влажная и горячая.— Добр-рое утр-ро, как у вас принято.

— Чуть погромче, Феликс Эдмундович, но в принципе информация у вас правильная.

Загорский подал Грише листок с решением.

— Прошу отнести Квашу, в Бюро субботников.— И прочитал текст Дзержинскому: — «Заседания Исполнительной комиссии по субботам не устраивать, чтобы дать возможность активным работникам — членам партии принимать участие в субботниках».

Дзержинский кивнул. Гриша протопал к двери и захлопнул ее так, будто впаял в косяки, чтобы никто не подслушал разговор особого назначения.

— Не субботник для человека, а человек для субботника,— нарушил молчание Загорский. «Начинаю острить, чувствую: положение осложнилось».

Дзержинский отозвался улыбкой, чуть затянув ее, словно подхватывая готовность Загорского ко всему

и намереваясь подтвердить: так и есть, Владимир Михайлович, осложнилось.

— Я к вам прямо из Кремля. Ильич предлагает...— Дзержинский глянул на внимательное лицо Загорского, помедлил, счел возможным не говорить все сразу.— Предложение может показаться неожиданным. Но для тех, кто знает Ленина давно, такая мера предосторожности будет понятна.— Дзержинский заметно устал, но собран, от тонкой фигуры впечатление тетивы. Щеки землистые, веки набрякли, лицо стало еще более скуластым. Прежде Загорский не замечал такой сильной его скуластости.— Подготовка возлагается на ваши плечи, Владимир Михайлович, на Московский комитет.— Он медлил говорить конкретно, готовил Загорского, позволяя ему самому догадаться, либо не хотел пока произносить вслух не столь победоносные, как хотелось бы, слова.— Необходимо срочно созвать товарищей: Лихачева, Пятницкого, Людвинскую, Шварца. Позже будет назван еще один товарищ из финансовой комиссии Моссовета. Если не всех можно созвать по телефону, моя машина в вашем распоряжении. Дело строго секретное.

Загорский почувствовал, что бледнеет. Ленина он знает давно, знает о его стремлении предусмотреть абсолютно все, и все-таки, все-таки... Пятницкий — это конспирация, нелегальность, подполье. И остальные — старые испытанные большевики, в прошлом прежде всего мастера конспирации.

Неужели именно так обстоят наши дела?

От мая, времени наступления на фронтах, до сентября, времени поражений и уступок, прошло четыре месяца. Всего-навсего четыре месяца, но в них сто двадцать дней битвы, которой не видно конца, и когда ты один и тот же, а противник то один, то другой, то третий, только успевай поворачиваться на все стороны света.

Все лето Красная Армия гнала Колчака на восток.

Особенно успешно сражались бойцы Пятой армии под командованием двадцатишестилетнего Тухачевского. Начальником Политотдела Пятой был Владимир Файдыш, московский большевик, посланец Загорского. Освободили от Колчака Урал, вступили в Сибирь — и остановились. Красные части были измотаны, нуждались в отдыхе и пополнении, не были обеспечены ни материально, ни организационно, испытывали нехватку в оружии и обмундировании. Продвижение в глубь Сибири оказалось к сентябрю невозможным, Восточный фронт застыл без подкрепления, все силы были брошены против новой грозной опасности — с юга.

3 июля Деникин издал «московскую директиву», отслужил в Царицыне торжественный молебен в соборе и двинул войска на столицу. Вдоль Волги, на Саратов и Нижний Новгород, далее с поворотом на Москву пошла кавказская армия генерала Врангеля. Донская армия генерала Сидорина двинулась по двум направлениям: Воронеж — Козлов — Рязань и Новый Оскол — Елец — Кашира — Москва. Добровольческая армия генерала Май-Маевского взяла кратчайший маршрут: Курск — Орел — Москва. В солдатском строю с винтовками шли одни офицеры.

9 июля было опубликовано письмо ЦК РКП (большевиков) к организациям партии: «Все на борьбу с Деникиным!»

> «Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции.
>
> ...Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской республики должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Деникина и победить его, не останавливая победного наступления Красной Армии на Урал и Сибирь. В этом состоит ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МОМЕНТА.

...Советская республика осаждена врагом. Она должна быть *единым военным лагерем* не на словах, а на деле.

...Наше дело — ставить вопрос прямо. Что лучше? Выловить ли и посадить в тюрьму, иногда даже расстрелять сотни изменников из кадетов, беспартийных, меньшевиков, эсеров, «выступающих» (кто с оружием, кто с заговором, кто с агитацией против мобилизации, как печатники или железнодорожники из меньшевиков и т. п.) *против* Советской власти, *то есть за Деникина*? Или довести дело до того, чтобы позволить Колчаку и Деникину перебить, перестрелять, перепороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян? Выбор не труден.

...Советская республика есть осажденная всемирным капиталом крепость. Право пользоваться ею, как убежищем от Колчака, и вообще право жительства в ней мы можем признать только за тем, кто активно участвует в войне и всемерно помогает нам.

...от всех коммунистов, от всех сознательных рабочих и крестьян, от каждого, кто не хочет допустить победы Колчака и Деникина, требуется немедленно и в течение ближайших месяцев необычный подъем энергии, требуется «работа по-революционному»».

А Деникин продолжал наступать. Красная Армия оказывала отчаянное сопротивление. Новый Оскол переходил из рук в руки трижды, Борисоглебск и Балашов — четырежды. Шесть раз за полтора месяца боев деникинцы брали и оставляли Новохоперск.

В августе кавалерийский корпус Мамонтова в семь тысяч сабель, из донских казаков, прорвал линию фронта и, лавируя между нашими частями, взял Тамбов, Козлов, Елец, нанес огромный вред нашим тылам, отвлек на себя многие полки Красной Армии, готовые к контрнаступлению против Деникина.

Вплотную к самому Петрограду подошел Юденич с белофиннами и белоэстонцами. Подогреваемый эсерами и меньшевиками, изменил республике гарнизон Красной горки.

Крайне тяжелым стало положение в Москве. Резко усилилась контрреволюционная пропаганда прямо на улицах, на перекрестках возле военных карт, в длинных очередях за скудным пайком, на вокзалах: долой войну, даешь свободу торговли. Агитировали за стачку, за срыв помощи фронту, за признание власти Деникина.

С мая по август Московская ЧК раскрыла более пятисот преступлений против революции. Вплоть до расстрела на месте наказывались хищения, взяточничество, вымогательство, злостное дезертирство, подделка мандатов, продажа их и покупка, распространение ложных слухов, порождающих панику.

Гуляли по Москве банды, вооруженные до зубов, грабили среди бела дня, убивали. Много хлопот доставила МЧК и милиции банда знаменитого Кошелькова. Еще зимой, в январе, Кошельков остановил автомобиль Ленина. Вместе с сестрой Марией Ильиничной, шофером Гилем и чекистом охраны Ильич ехал в Сокольники, где в Лесной школе лежала больная Крупская. Бандиты захватили машину и поехали на ней грабить. Не сразу, но все-таки Кошелькова поймали. Разводил руками матерый бандит, недоумевал: «Я же Ленину жизнь подарил, а меня к стенке».

Особым фронтом, его так и называли «черный фронт», была для Москвы Сухаревка, страшно живучая, неодолимая. Здесь ворочали миллионами, торговали всем на свете, продавали и покупали тряпье и бриллианты, оружие и человеческую жизнь. В прямой зависимости от положения на фронтах падал и поднимался здесь разменный курс всякой монеты, денег «думских» и «николаевских», «керенских» и «советских». Стоило Мамонтову взять

Тамбов, как хлеб на Сухаревке моментально подорожал с тридцати рублей за фунт до пятидесяти, а когда Мамонтов взял Козлов, продвинулся к Москве еще ближе, хлеб уже стал по девяносто рублей. За две недели — втридорога. Но как только наши части повернули Мамонтова на юг, цена хлеба за фунт снова опустилась до сорока рублей.

Как раз в дни рейда Мамонтова в Москве совершено было крупнейшее преступление по должности. Целый эшелон продовольствия и товаров уплыл с советских складов на Сухаревку — 17 вагонов селедки, 3 вагона сахара, на 34 миллиона рублей мануфактуры и резиновых изделий.

Цены на продукты прыгали, но на товары все лето держались приблизительно на одном уровне. Пальто или мужской костюм можно было купить за две с половиной, три тысячи, шерстяную материю за 600—700 рублей аршин, белье 500—550, ботинки солдатские австрийского образца стоили 700—800 рублей, а фабрики «Скороход» в два раза дороже.

...Рыдают гармошки, показывая цветастые мехи, рыдают граммофоны «Чубарики-чубчики», рыдает дама в бархате — только что из рук вырвали севрский фарфор. Рыжий прохиндей в красных галифе, которыми награждают бойцов на фронте за храбрость, торгует кокаином, не боясь расстрела. Белозубый кавказец в бурке предлагает свой ассортимент — кинжалы, финки, кухонные ножи. Мало кто обратил внимание на то, как в толчее барахолки — «тучи» на воровском жаргоне — июльским днем худая баба лет сорока пяти, богомолка, побирушка с котомкой, стала вдруг рядиться за кинжал, купила его на собранные медяки и бумажки, крестясь, сунула кинжал в котомку и удалилась, шепча молитву: «Господи Иисусе, спаси и помилуй мя». А в субботу двенадцатого июля пырнула этим кинжалом патриарха всея Руси Тихона среди бела дня, когда он выходил из храма Христа Спасителя. Пропорола ему рясу и оцарапала кожу. До

бога далеко, царя нет, куда за помощью? К чекистам. «Проходя среди толпы молящихся, я вдруг почувствовал сильный щипок в боку»,— объяснил бледный патриарх. Бабу задержали, она заявила: «Тихон — антихрист», и весь сказ, расправа с ним в духе времени, не крестом и не перстом.

Тому, кто провел этот год на Сухаревке или вблизи ее, революция представлялась затянувшимся концом света, а Москва — воплощением преисподней. Такого в век не переубедишь, он сам все видел, испытал, запомнил и, доведись потом уйти ему за границу, до гробовой доски будет клясть те дни, вспоминать, рассказывать и писать.

Но была, жила, действовала и другая Москва — революционная, советская, Москва — крепость и арсенал. Рабочий класс, отдав лучших своих сынов фронту, продолжал трудиться на оборону. 23 предприятия выполняли заказы Военно-инженерного управления, еще 11 работали на Артиллерийское управление, 14 заводов выпускали различную военную продукцию, 30 фабрик шили обмундирование и обувь для Красной Армии. «Марс», «Оборона», «Центрошвей» и бывшая фабрика Антонова готовили в день по шесть тысяч шинелей.

Не только фронту, но и тылу давала свою продукцию Москва рабочая — паровые котлы, двигатели, насосы, чугунное литье, рельсы, дрезины и вагонетки, не забыли и про нужды крестьян — плуги и бороны, пилы, топоры, колуны.

Каждую неделю Москва выходила на субботники, ремонтировала заброшенные паровозы и станки, разгружала баржи на пристанях. Руководителем Бюро субботников назначен Загорский.

Отряды рабочей инспекции боролись против черного фронта.

На работу в милицию пришли женщины, получив револьверы и свистки, паек и смертельный риск.

В августе легендарный Камо начал собирать особый партизанский отряд для действий в тылу врага — контрразведка, ликвидация штаба Деникина, диверсии, разложение врага изнутри. Отбор кандидатов, только из числа коммунистов, шел сначала через Загорского. Запомнился ему восемнадцатилетний юноша в очках Василий Прохоров, по кличке Дед. Когда горячий Камо устроил своим партизанам испытание в лесу (налет «врага» на отряд, допросы и угрозы расправы), Дед геройски выдержал все, полагая, что на самом деле попал в плен к белым. За отвагу и мужество Деда наградили именными часами. Камо остался доволен проверкой. Однако Ленин, узнав вскоре про этот «эксперимент», осудил его очень резко.

Все районные комитеты партии вели постоянную работу в красноармейских частях. В Пресненском районе намечен специальный «красноармейский день» — раз в неделю все ответственные товарищи направлялись к воинам для бесед, собраний, митингов.

Каждую неделю в МК заседала комиссия по связи с фронтом.

По Москве курсировал специальный трамвай Центрагита с плакатами, лозунгами и лекторами.

В самом начале сентября в пустой витрине кондитерской Абрикосова на Тверской появился огромный лист с рисунками и стихами — «Окно сатиры РОСТА» номер первый.

Волна за волной проходили партийные мобилизации. В июле в помощь Петрограду против Юденича послан отряд московских коммунистов в 500 человек. Еще 150 большевиков, способных вести работу в качестве полковых комиссаров, потребовались на Южный и Западный фронты. Распределили по районам так: от Пресненского — 20 коммунистов, от Городского и Замоскворецкого — по 23, от Сокольнического — 15, Хамовнического — 12, Басманного — 13, Лефортовского — 11, Железнодорожно-

го — 8, Сущевско-Марьинского, Рогожского и Бутырского — по 7, от Алексеевско-Ростокинского — 5.

В отрядах ЧОНа по всем районам города на август собрано более пяти тысяч человек, обученных и готовых к выступлению в любую минуту. Все списки поименно в руках Загорского.

«Обученных и готовых» — сколько забот, хлопот, волнений за этими двумя словами! Ученье в труде, ученье в бою, ученье на ошибках, на своих собственных, примеров, как надобно, сколько ни ищи, в истории не найдешь.

«Считая, что работа, связанная с обысками, арестами, допросами и т. п., может быть выполняема лишь ответственными работниками с большим политическим и партийным стажем, и признавая, что она может оказать деморализующее влияние на несложившихся еще подростков, предложить ВЧК и МЧК не давать подросткам, членам Союза Молодежи, такого рода работы. МК не возражает использовать их там, где требуется юношеская ловкость, подвижность, например работа разведчиков».

Собрались все, названные Дзержинским: Лихачев, Пятницкий, Людвинская, Шварц.

Слова приветствия, два-три слова о пустяках. Улыбка в кабинете Загорского обязательна, так сложилось. Потом эмоции могут быть всякими, и слезы не исключаются, но — потом. А сейчас сосредоточенное молчание. По лицам Дзержинского и Загорского видно — совещание особенное, что-то произошло.

Заговорил Дзержинский, и теперь уже прямо:

— Учитывая тяжелое положение на фронтах, Владимир Ильич предлагает Московскому комитету РКП(б) начать подготовку к созданию в Москве подпольной организации большевиков.

Загорский оглядел товарищей. Впереди всех единствен-

ная в группе женщина, элегантная, строгая Людвинская, по кличке Таня. Когда-то, совсем девчонкой, начинала свой путь в Одессе, прошла и тюрьму, и эмиграцию, работала в Сущевско-Марьинском районе, хорошо знает Москву. За ней Лихачев Василий Матвеевич, по кличке Влас, задумчиво смотрит в окно, словно прикидывая сразу, какие меры потребуются для подполья. В прошлом рабочий, Влас после пятого года эмигрировал в Америку. В семнадцатом году был в Питере делегатом Апрельской конференции от Сестрорецкого завода, затем направлен в Москву, избран здесь секретарем МК большевиков. Один из руководителей вооруженного восстания в октябрьские дни. Рядом с ним Исаак Шварц, по кличке Семен, тихий, скромный, но удивительный мастер «Т» — техники конспирации, тоже из старой гвардии. Вместе с Орджоникидзе и Спандаряном входил в Российскую организационную комиссию по созыву Пражской конференции. Откинулся на спинку стула Пятницкий, засверкал глазами, оживился, словно строевой конь при звуке боевой трубы. Вся его жизнь, в сущности, организация подполья, транспорта, явочных квартир, встречи и проводы большевиков за границей. В десятом году он возглавлял группу содействия РСДРП в Лейпциге, когда к нему в помощники приехал товарищ Денис с новым паспортом на имя Загорского. Они вместе переправляли к Ленину делегатов из России на Пражскую конференцию большевиков. Все это было давно, до войны.

До революции.

Вне пределов России...

А сейчас в родной Москве накануне второй годовщины республики им предстоит заниматься тем же, чему, казалось, никогда не будет возврата,— снова принимать меры по уходу в подполье.

— Все мы твердо уверены в победе нашего дела. Но, нацеливаясь на победу, никогда нельзя упускать из поля

зрения возможные осложнения, задержки и отступления. Вспомните Брестский мир...— Дзержинский говорил спокойно, без уныния и без лишнего пафоса. Он узнал о решении Ленина раньше других, успел освоиться, да и выдержки ему не занимать.— Сейчас необходимо обеспечить паспортами весь партийный актив и членов ЦК. Подобрать подпольщиков, организовать явочные пункты, наладить подпольную типографию. Обеспечить партию материальными средствами, для этого в спешном порядке на Монетном дворе отпечатать побольше бумажных денег, сторублевых царских «екатеринок», упаковать их в оцинкованные ящики и хранить в надежном месте. На имя Буренина, в прошлом купца, а ныне надежного товарища, оформить документы как на владельца гостиницы «Метрополь» — пусть будет еще один источник материальных средств на нужды подпольщиков...

Уход в подполье — отступление. Отступление, но не смерть! Брестский мир тоже отступление, уступка врагу, да еще какая уступка! Миллион километров территории, миллиарды марок контрибуции. Чтобы выиграть время, пришлось отдавать пространство. Но мир спас республику. И, кстати, самого Загорского. По телеграмме наркоминдела он был вывезен из плена в Берлин, где собственноручно водрузил флаг Советской республики на здании посольства...

Мартов в припадке антибрестизма кричал: лучше умрем, как парижские коммунары, но не уступим врагу!

«Надо воевать против революционной фразы,— отвечал Ленин,— приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про нас когда-нибудь горькой правды: «революционная фраза о революционной войне погубила революцию»».

Ленин в те дни оставался почти один. Из членов ЦК только Свердлов и Сталин его поддерживали. Даже Дзержинский был сначала против. Но продолжать войну —

верная гибель и революции, и России. Если война будет продолжена, Ленин и Свердлов уходят из правительства. (Опять раскол — и какой! — уже среди членов большевистского ЦК.) Троцкий, глава делегации в Брест-Литовске, отказался подписать мирный договор, и немцы перешли в наступление по всему фронту, захватили Латвию, Эстонию, большую часть Украины, придвинулись к Петрограду. И только тогда на пленуме ВЦИКа Ленину и Свердлову удалось доказать «полную невозможность сопротивления германцам» и получить большинство голосов — мир был заключен.

Меньшевики остались при своем мнении — лучше умереть достойно, как герои Парижской коммуны.

А что, если к ним прислушаться, если не тогда, так теперь? Дескать, мы свое дело сделали, революцию совершили, вполне убедительно взяли власть, продержались почти два года, честь нам и вечная слава, можем почить на лаврах, можем стать богом, то есть на все наплевать, мироздание пусть теперь само держится.

Неужели всем революциям суждено всего лишь повторять судьбу французской революции? А если не суждено, если история все-таки действительно развивается по спирали, то в чем же мы пошли дальше, оказались выше? Только ли в том, что продержались не 72 дня, как они, а в десять раз больше?

Нет, мы пошли дальше не только в количестве дней. Они героически умирали — мы остаемся героически жить, вот она, главная разница. «Героизм длительной и упорной организационной работы...— говорит Ленин,— неизмеримо труднее, зато и неизмеримо выше, чем героизм восстаний».

Мы остаемся жить, а значит, переносить не только взлеты, но и падения. Идти к победе и предугадывать возможные отступления. Отступления — но не смерть, какой бы героической фразой она ни венчалась.



...Как будто сама природа создала меньшевизм, чтобы он при всех кризисах исполнял функцию противовеса большевизму, функцию изнанки, обратной стороны медали, функцию «решки» в игре судеб страны.

— Председателем специальной комиссии назначается Василий Матвеевич Лихачев,— продолжал Дзержинский спокойно, как на обычном, рядовом совещании.— Работа проводится в строжайшей тайне. Вы знаете, чем грозит разглашение. Но дело не только в панике. Сколько ликования, силы, уверенности такое наше решение придаст врагу, окажись оно разглашенным! А враг не за горами. Деникин движется на Орел и Тулу. «В Москву за святой водой!» — вопит его воинство. Все последние приказы Деникина начинаются словами: «Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю...»

Сердце России. Истерзанное голодом, разрухой, болезнями. За первую половину года смертность по Москве увеличилась вдвое. Испанка, тиф, цинга, дистрофия. «За торговлю вшивым бельем — расстрел на месте». Половину своего населения растеряла Москва. В феврале семнадцатого в городе было два миллиона сорок три тысячи жителей. К осени девятнадцатого осталось чуть больше миллиона. Пустуют около десяти тысяч квартир — некому, некогда, не на что сделать даже пустяковый ремонт, а в таком состоянии для жилья они не пригодны. Исчезли по Москве жестяные вывески — пошли на ведра.

Но главная беда — голод. Летом стало хуже, чем было зимой. Если в апреле каждый член рабочей семьи получал в день по карточкам 216 граммов хлеба, то в июне стал получать 124 грамма. Мяса в апреле 64 грамма, в июне — 12. Постного масла снизили с 28 граммов до 12. Полфунта картошки выдавали в апреле — в июне картошку не получали совсем.

Бывшая знать, чиновные дрожали от страха: скоро нас начнут резать как паразитов. Толковали библию, мусолили все места о гладе и море, но даже в священном писании ничего не говорилось о том дне, когда из помоев исчезнут картофельные очистки.

8 июля в некоторых районах Москвы не выдали хлебный паек. Одна из работниц на фабрике «Богатырь» в Сокольниках упала в обморок от истощения. Фабрика прекратила работу, женщины подняли шум. Вдобавок пронесся слух, будто фабрику на днях закроют, нет сырья, зарплату платить не будут. Слухи были верны отчасти, фабрику закрывали временно, пока не подвезут сырье, но рабочих не выбрасывали на улицу, профсоюз принял решение платить по три четверти заработка во время простоя. Однако страсти закипели, стихийно собрался митинг, особенно шумели женщины, было их большинство, как и на всякой фабрике этого тяжелого лета. Митинг без долгих споров принял решение: идти всей толпой к Сокольническому Совету и требовать хлеба. Члены партячейки надорвали горло, крича свое предложение: не ходить толпой, проявить сознательность, выделить делегацию, пусть она расскажет Совету о положении на фабрике и изложит наши требования, там поймут, не царская власть, а рабочая. Но предложение партячейки заглохло в криках. Толпа вышла на улицу и двинулась к Совету. Уже появились горластые организаторы: «Надо поднять другие фабрики!» Несколько женщин отправились в Лефортово на Суворовскую мануфактуру, принялись там агитировать, а довод один, всем понятный: хлеба!

Суворовская мануфактура прекратила работу.

Толпа с «Богатыря» двигалась к Совету. Уже кричали: пойдем на Преображенскую площадь и дальше, на Каланчевку, к площади трех вокзалов, будем поднимать на пути все фабрики и заводы.

О волнениях сразу же стало известно в Сокольниче-

ском комитете РКП(б). Немедленно были посланы к «Богатырю» все коммунисты с наказом: присоединиться к толпе, влиться в хвост и всеми силами уговорить людей, успокоить, разагитировать, предложить действовать организованно, не идти на поводу у безответственных крикунов. Люди опытные, авторитетные, они сумели сделать свое дело. На Преображенской площади толпа уже разбилась на отдельные группы. К вокзалам прошли человек тридцать, не больше. Снять с работы другие фабрики не удалось.

Однако и в среду «Богатырь» не работал. Вывесили белый флаг, знак ропота и недовольства. Требования все те же: хлеба. Настояниями и даже угрозами женщины с «Богатыря» не давали работать и Суворовской мануфактуре уже второй день. Стихия улеглась, запахло контрреволюционной агитацией.

Загорский позвонил Ленину: как быть? Ленин уже знал о событиях. Не выдали хлеба не только в Сокольниках, но и в Городском районе. Вчера Совнарком обсуждал вопрос, почему не были учтены хлебные запасы Московского продотдела. Виновные понесут наказание. В ближайшие два-три дня положение исправится. «Надо ехать к рабочим. Действовать только убеждением! — сказал Ленин.— Никаких репрессий не применять. Рабочие страшно утомлены».

Загорский поехал в Сокольники вместе с Александром Федоровичем Мясниковым, военным организатором МК, испытанным агитатором, давно привыкшим говорить с толпой, митинговать. Действовать только убеждением, никаких репрессий.

И вот они стоят перед возбужденной толпой.

Всю жизнь им приходилось бунтовать самим — во имя рабочих, теперь вот самим пришлось усмирять голодный бунт.

Кто довел?

Все знают кто, но кто даст хлеба?..

Лучшая часть рабочих ушла от станка в окопы, иначе не было бы сегодня белых флагов.

«На заседании Совета народных комиссаров нарком продовольствия Цюрупа,— заговорил Загорский,— упал в обморок. Нехватка, голод, разруха не по вине Советского правительства! Войну нам навязали. Нас, первое государство пролетариата, хотят удушить петлей четырнадцати иностранных держав. И никто и ничто не поможет нам, не спасет нас, кроме нас самих, нашего труда. Ленин знает о вашей фабрике. Ленин помнит: страшно дорого платят рабочие за свое право быть хозяевами жизни...»

А наркомы, горкомы, депутаты Советов — не платят? Нелегко им было стоять перед царским судом, но каково — перед судом рабочих?

«Сейчас нечеловечески трудно всем, тяжелейший период переживает революция. И в такой обстановке, когда все вы трудитесь на пределе сил, каждое неверное, несдержанное слово — на руку врагу. Болтуны и демагоги отравляют сознание, действуют на нервы, которые и без того измотаны голодом, утратами, непосильной работой. Болтовня в такой обстановке равносильна спичке на пороховой бочке. Нам нужно подбадривающее слово друга, а не разлагающее слово врага. Нам нужна сознательность...»

Они несут вместе с нами бремя нашего выбора, нашей и своей борьбы, все несут, сознательные и несознательные, ибо мы уже не просто партия, но и власть.

«Мы обещаем: если фабрика будет временно остановлена, зарплата вам будет выплачиваться полностью. Мы предоставим вам отпуска, чтобы вы смогли поехать в деревню подкормиться. Каждый имеет право привезти с собой по полтора пуда муки. Особо нуждающимся работницам мы распределим вещи, которые оставила в Московском ломбарде сбежавшая буржуазия. Мы выполним ваши

требования, пойдем на всевозможные уступки до тех пределов, в которых возможно удержание власти для защиты революции».

В тот же день, 9 июля, Ленин по прямому проводу отдал распоряжение в Нижний Новгород — председателю губернского исполкома, Волгопроду, губернскому продкомиссару и губвоенкому: немедленно мобилизовать рабочих и солдат для погрузки и отправки хлеба в Москву.

...За июль месяц «Богатырь» выдал 67 тысяч пар галош.

— Ваше мнение, товарищи, какие будут дополнительные соображения? — спросил Дзержинский.

— Есть решение, начнем действовать,— отозвался Лихачев.

— Начнем действовать, появятся соображения,— добавил Пятницкий.

— Мы конспираторы, Феликс Эдмундович,— улыбнулась Людвинская.— Про нас теперь и чекисты ничего знать не будут.

Тихий Шварц не сказал ни слова.

Горстка товарищей начинает работать в подполье. Они будут жить вместе со всеми — и в то же время особняком. Хочешь не хочешь, а думай о разгроме,— иначе ведь не настроишь себя действовать соответственно. Ты видишь красный флаг над Моссоветом, но представляй, что там уже трехцветное добровольческое знамя. Ты помнишь, что на Лубянке Дзержинский, но представляй, что там уже палачи Антанты и Деникина. Знаешь, что в Кремле Ленин и Совет Народных Комиссаров, но представляй, что там уже новый царь, Антон Первый, как теперь называют Деникина, там сенат и синод, а оклемавшийся после нападения патриарх Тихон служит панихиду по большевикам.

Представляй — и начинай жить иначе, ходи по своим улицам, как по чужим, предвосхищая заранее, как здесь будут рыскать жандармы и как в Гнездниковском переулке снова расположится охранка и поразведет шпиков по всей Москве — ловить тебя и твоих соратников.

Ты не только сам перестройся, но и других перестрой, организуй подпольщиков — сапожника в лавке на бойком месте, провизора в аптеке, извозчика на Тверской, учительницу в народной школе. И пусть они живут в советской столице, среди советских людей, но живут себе на уме, будто нет здесь ничего советского, все изгнано, упрятано, разбито...

Парадокс, но под врагом легче уходить в подполье, чем при своей власти. Там — тайком от чужих, здесь — тайком от своих. Сам у себя под стражей. Как ты ни закален, ни опытен, а потребуется особая изощренность и новый опыт.

Все они стойкие, мужественные, закаленные, Загорскому хотелось похвалить их, приободрить, они даже представить себе не могут, какие они замечательные товарищи, но он сдержался, чувствуя — похвала неуместна, получится, будто ты ждал от них меньшего, мало верил и не очень надеялся.

А задача, у них, в общем, безрадостная.

Он заговорил, подбирая слова, чтобы не допустить сожаления, горечи:

— Мы обеспечиваем себе тылы. Мы готовимся жить дальше в любых, самых невероятных ситуациях. И в этом свидетельство нашей неукротимости и жизнестойкости. Но, готовясь уйти в подполье, мы вместе с тем должны еще больше мобилизовать силы для обороны Москвы. Три месяца назад, в июне, Феликс Эдмундович, как вы знаете, обратился в МК и в Моссовет с предложением создать единый центр для руководства всей партийной, советской и

военной работой в столице. Полагаю, что сейчас назрела необходимость в создании такого центра.

Дзержинский кивнул, сказал:

— Мы обсуждали с Ильичем и этот вопрос — о создании временного оперативного штаба в Москве для обороны и борьбы с контрреволюцией. Работа чекистов вам известна, за два года раскрыто несколько десятков крупных заговоров. «Всероссийский монархический союз», «Орден романовцев», «Сокольническая военная организация», «Объединенная офицерская организация». Чего стоит заговор Локкарта с иностранными послами. Кроме белогвардейцев еще и эсеры, левые, правые, меньшевики, анархисты. Буквально на днях раскрыта в Москве белогвардейская организация «Национальный центр». Они готовили мятеж в Москве к приходу Деникина. Восемьсот офицеров имели оружие и даже снаряды для артиллерии. Ведем следствие. Кроме того, в последнее время совершено несколько вооруженных нападений на банки в Москве и в Туле, что также говорит о разветвленной антисоветской организации. В июле ограблена касса рабочего кооператива на патронном заводе в Туле на миллион рублей. 12 августа — грабеж Народного банка в Москве на Долгоруковской, 18 августа — Народного банка на Большой Дмитровке, и опять взято около миллиона рублей. В конце августа снова грабеж банка в Туле, на три с половиной миллиона. Вероятнее всего, оживились анархисты. Положение крайне напряженное. ЦК направил к нам на работу Вячеслава Рудольфовича Менжинского. По решению Моссовета создается Комитет обороны Москвы. Наблюдение за энергичным и быстрым проведением всех мер по охране города поручается секретарю МК Загорскому, председателю Моссовета и председателю ВЧК. Таким образом, в Москве начинают действовать еще два комитета — обороны и перехода в подполье.— Дзержинский встал. Поднялись и «подпольщики».

— Что ж, товарищи, потягаемся теперь, чья возьмет,— сказал Загорский.— Кому работать, а кому в отставку, нашему комитету или вашему.

Комитет подполья начал свою работу, Комитет обороны — свою.

Москва объявлена на военном положении, с 23 часов вводится комендантский час.

Приказ: вооружить не менее тысячи коммунистов и перевести их в казармы. В течение двух недель обучить их стрельбе, ружейным приемам, ведению уличного и полевого боя. Через две недели — следующую тысячу коммунистов в казармы.

В каждом районе создан оперативный штаб, назначены: руководитель разведки (для выявления паникеров и вражеских агитаторов в местах скопления людей), начальник патрулей, заведующий охраной оружия и складов, заведующий санитарной частью.

Приготовлены сирены для подачи общей тревоги.

Задачи Комитета обороны:

патрулирование во всех районах Москвы;

усиление охраны Кремля, советских учреждений и огнескладов;

создание автомобильных баз, приведение в боевую готовность бронемашин;

борьба с бандитизмом и дезертирством;

улучшение быта красноармейцев, улучшение санитарного состояния гарнизона, изготовление мыла, сбор соломы для матрацев;

сбор топлива, сбор шинелей, сбор утильсырья.

МК вынес решение: обязать коммунистов Москвы, всех и каждого, оказывать всемерную помощь Московской ЧК.

Всем членам МК, членам райкомов, а также коммунистам со стажем выдать мандаты с правом немедленного задержания и ареста лиц, ведущих подрывную работу.

Готовить партийную неделю — меры по новому пополнению партии. Ряды коммунистов в Москве поредели, как передовая цепь в штыковой атаке,— остался один коммунист на сто жителей. У старых и новых членов партии будут одинаковые привилегии: первому винтовку в бою, первому лопату на субботнике. И еще одна привилегия — висеть на фонарях, если войдет Деникин.

23 сентября «Известия ВЦИК» и «Правда» поместили обращение ко всем гражданам Советской республики в связи с ликвидацией «Национального центра»: «Знайте, что всякий, кто посягнет на республику пролетариата, будет истреблен без всякой пощады. На войне, как на войне. За шпионаж, пособничество к шпионажу, участие в заговорщической организации будет только одна мера наказания: расстрел».

Длинный список расстрелянных, 66 человек. Кадеты, члены Государственной думы, барон, князь Оболенский, князь Андроников — личный друг Николая Романова и Гришки Распутина, четыре генерала, офицеры, юнкер, два студента, профессор Петровской сельскохозяйственной академии, шпионка-учительница, шпионка-актриса...

Шестьдесят шесть! Они не были обречены на смерть ни происхождением своим, ни титулом. Они имели возможность не только сохранить себе жизнь, но и помочь народу приблизить победу. Ведь командует же Восточным фронтом бывший полковник Генерального штаба Сергей Сергеевич Каменев. Командует армией бывший прапорщик Тухачевский. Командует дивизией бывший унтер-офицер, георгиевский кавалер Чапаев. И профессор Тимирязев своими средствами отстаивает революцию...

В том же списке — меньшевик Розанов. Чекисты взяли его на квартире шпиона Штейнингера. «ВЧК постановила: гражданин Розанов виновен в преступлении, караемом по законам революции расстрелом. Ввиду того, что он действовал по постановлению своих товарищей по пар-

тии, дело его выделить и направить к доследованию на предмет обнаружения его соучастников по партии...»

На следующий день состоялась общегородская партийная конференция в «Метрополе», в зале с фонтаном. 224 человека с правом решающего голоса. Открывает конференцию Загорский. Руководство собранием поручается Исполнительной комиссии МК. Председательствует Пятницкий. Период величайшего напряжения на всех фронтах, кроме Северного. Потеряли Курск. На Востоке после успехов период отдач. В Петрограде сосредоточиваем башкирские части, чтобы иметь крепкий кулак против Финляндии. Прорыв Мамонтова, семь тысяч сабель. Деникин угрожает Орлу и Туле. «Нам легче оставить Москву, чем Тулу»,— заявил Троцкий. В зале гул.

Дзержинский говорит о ликвидации «Национального центра».

Загорский — о работе Комитета обороны Москвы.

Конференция постановила:

«Партийные организации в Москве и во всем секторе должны быть немедленно переведены на военную ногу:

а) путем снятия боеспособных коммунистов со всех гражданских не безусловно необходимых постов и перевода их на военную работу;

б) путем сосредоточения работы всех органов и учреждений на обслуживании гарнизона во всех отношениях для придания ему наивысшей боеспособности;

в) путем всесторонней помощи больным и раненым красноармейцам;

г) путем повышения напряженности труда на всех предприятиях, непосредственно обслуживающих армию.

...Перед лицом сверхчеловеческой трудности конференция передового московского пролетариата уверенно и во всеуслышание заявляет: Не сдадимся!

Выдержим! Победим!»

На следующий день, 25 сентября, на 6 часов вечера МК назначил собрание партийного актива Москвы, представителей районных комитетов, красноармейских частей, агитаторов, слушателей партийной школы при ЦК. На повестке дня два вопроса: информационное сообщение о раскрытии заговора и о работе партийных школ второй ступени. Должны явиться все те товарищи, которым завтра, в пятницу, предстоит выступать на митингах по Москве. МК уже назвал тему: «Деникинский шпионаж и защита Советской республики».

Глава двенадцатая

Дан ждал, слушая улицу, не хотел спать. «Не слышно шума городского», мертвая тишина в переулке, полночь, а Берты нет. Она ушла под вечер в штаб-квартиру на Арбате для связи с Казимиром, должна была вернуться к десяти, но вот уже двенадцать.

Одно из двух: либо их забрали там, либо у Берты хватило дури пойти домой в комендантский час. А по городу сейчас кошка не пробежит незамеченной. Вся Москва ощетинилась штыками патрулей.

Если учесть, что квартиру Восходова они заняли под штаб недавно, то чекисты их не успели засечь, хотя чем черт не шутит... Если штаб взяли, на Арбате наверняка засада, и Берта льет сейчас крокодиловы слезы перед чекистами: «Отпустите меня домой, к ма-аме». А ей отзывчиво: «Охотно, гражданочка, мы вас даже проводим, на машине подвезем, куда прикажете?» Куда же еще, как не сюда, в Дегтярный.

Молодцов с Лубянки Дан ждать привык, но в последние дни ожидание его дополнилось кое-чем: прежде он ждал их за дело прошлое, если не совсем прощенное, так

терпимое, а нынче ждет за дела настоящие. Пришлось увеличить свой оборонный запас. К нагану под подушкой Дан добавил две гранаты-лимонки, сунул их в пальто на вешалке у двери, чтобы встретить гостей как положено, у порога, да еще передвинул в коридоре старый шкаф с рухлядью, освободил черный ход, обеспечил себе «сквозняк».

Одно из двух: либо льет крокодиловы слезы, либо пьет сивуху с Сашей Барановским. Либо льет, либо пьет, шансы равные, и другого выбора нет, разве что в сивухе — и шампанское могут себе позволить, и коньяк французский, и многое другое. Нет сейчас в Москве людей, которые бы имели при себе столько денег, как они, то бишь, как мы. Считать не пересчитать.

«Какого черта я до сих пор отделяю себя, почему все еще «они», а не «мы»?» Берта вон сразу впряглась, носится по Москве связной и про театр забыла.

Прежде Берта частенько не ночевала дома, поддерживала, видно, связи со своей лигой, «коммуной», но потом Дан отвадил ее от ночных радений. Вот уже почти год она вела себя, скажем так, прилично. Из театра сразу домой, к Дану.

Уже двенадцать. Сегодня она впервые не спит с Даном. Сказать точнее, спит не с Даном. И не впервые. Собственно, чему тут дивиться? Пошла в другую коммуну, а принцип исповедует прежний — долой стыд.

Темень за окном, темно, как в ящике. Опять одиночка. «Темно, как при большевиках»,— будут говорить потом.

«Нет, не льет она слезы, чует мое сердце. Чю-юйствует,— покривился Дан.— Поиграла с браунингом, взяла напрокат у Соболева, вспомнила про свои ямочки пухлые, а дальше...»

Что, ревность заиграла? А забавно пойти бы сейчас туда. Очень забавно — пойти в комендантский час, но до-

пустим. Пойти, дойти, тук-тук, откройте дверь, а потом что? Стать в очередь?

«Пристрелить бы ее, сучку». Стерву, потаскушку. Вот и лексика, наконец, появилась у тебя человеческая взамен политической, моральная, домостроевская. С чего бы? Ты что, ревнуешь? Она тебе кто — жена? Любовница? Она тебе дочь прежде всего, дочь собрата по революционной борьбе.

Бедный Марфин, знать, ворочается в гробу. Умирал — просил: найди ее, Дан, мою единственную, плоть мою и кровь, пусть продолжит дело отца. Хотел видеть дочь в гуще борьбы, только вот не знал, не оставил, за что именно, Берта сама нашла, выбрала, за что бороться. За свободу, конечно, само собой разумеется. За свободу в отношениях между людьми прежде всего. Всякая там экономия, классы мало ее касаются, она в них не верит. Если они по Марксу и действуют на самом деле, так действуют невидимо, исподволь, ей же необходимо наглядное, телесное ощущение свободы. Для Берты с ее такой внешностью один путь — взрывать, ломать и решать проблему пола. Сокрушать старые устои и создавать новые. Сокрушая, мы уже создаем. Долой стыд! — остальное приложится. Говорим о равноправии женщины, но только в каком смысле? Только в таком: наравне с мужчиной она может взяться за винтовку, за саблю, за плуг, равноправно может стрелять, рубить и пахать. А ей не рубить хочется, а любить. И если вы делаете революцию политическую, экономическую, социальную, извольте не забывать еще об одной, и весьма существенной, — эротической. Изменилось все, так изменим же и половые отношения. Ведь не появился какой-то новый пол, средний, нет, появился новый мужчина и, тем более, новая женщина, которая теперь никогда не скажет: долюшка русская, долюшка женская, вряд ли труднее сыскать...

Марфин умер спокойно. А если бы жил? Кто мог

представить себе, что только с февраля по октябрь продержится светлая пора революции, а потом придут большевики? Для того ли нас гноили в тюрьмах, мордовали на каторге, чтобы теперь были поруганы все свободы, все права человека?

«Победа будет нашей,— говорил Марфин.— Теперь мы самая многочисленная революционная партия в России, я горжусь этим».

И правительство Керенского было нашим правительством. Оно вошло в историю, как вошла Парижская коммуна.

Не устояли, распылились, как всегда бывает в партии свободной воли. Где только не встретишь теперь социалиста-революционера: и у мятежных чехов, и в Самарском правительстве, и в отрядах батьки Махно, у зеленых и желто-блакитных. Распылились, но не сдались, ищут, творя и пробуя, средств борьбы с диктатурой, с авторитарностью большевиков.

Бурные годы, кровавые годы, кому-то суждено остаться в истории, а кого-то выдует ветром времени с ее полей.

Дан не сдался. Он ждет своего часа, своего дня. Ждет, действуя. Действуя осмотрительно и обдуманно. Он видит: сейчас, как никогда прежде, за эти два года созрела ситуация для третьей социальной революции. В стране голод, разруха, оскудение и маразм. Мы должны ударить по большевикам их же оружием — террором. В этом наша тактика и политика.

Вместе с Казимиром Ковалевичем Дан возглавил Всероссийский повстанческий штаб революционных партизан. В Москве штаб разделен на группы. Идеологическую возглавил Казимир, боевую — Петр Соболев, с ним Барановский, Гречаников и Яков Глагзон. Литературой ведает Молчанов, наборщик из типографии Наркомпути, меньшевик (для начала ему отвалили из общей кассы пятнадцать тысяч рублей, но не в деньгах дело — в идее). И, на-

конец, группа техники, мастерская по изготовлению бомб и адских машин, где заправляет Вася Азов, золотые руки и храброе сердце. В августе Вася дважды ездил в Брянск к анархистам на оборонный завод. Привез оттуда взрывчатки целый вагон. Охраняли его одетые в красноармейскую форму партизаны с подобающими мандатами.

На даче Горина в Краскове, возле тихой речки Пехорки — рядом лес, птички поют — собрано уже шестьдесят пудов динамита и пироксилина, приготовлены адские машинки. Седьмого ноября по новому стилю будет фейерверк в столице. Петр Соболев намерен взорвать Кремль.

Сначала собирались сравнять с землей здание ЧК на Лубянке. Немалых трудов стоило Дану отговорить от бессмысленной траты средств. ВЧК всего-навсего подчиненная большевикам организация, там всего-навсего исполнители чужой воли. Зачем, к примеру, отрывать человеку руки, тратить порох, не лучше ли сразу снять голову? Ударить по партии, по ее вождям, и прежде всего по Ленину. По Кремлю, но не только по его стенам и по его башням.

Однако ждать до седьмого ноября больше месяца, слишком долго, если учитывать нетерпение и горячность партизан. Необходимо какое-то действие. Революционер не может, не должен ждать созревания условий, он их создает сам, ибо насильственные акты за два-три дня сделают гораздо больше, чем многолетняя пропаганда и агитация. К тому же определенные условия налицо. Столица на взводе. На партийной конференции Троцкий заявил: нам легче сдать Москву, нежели Тулу. Понимай так: Москву большевикам не жалко, они из Москвы уйдут, как ушли из Питера. Бросят народ, сердце России, оставят белокаменную на растерзание Деникину. Вот тут-то и надо показать народу, что есть в Москве сила, способная за нее постоять, способная отомстить за такое решение.

Наша задача выражена в декларации: на развалинах белогвардейской и красногвардейской принудительных армий создать вольные партизанские отряды. И пусть они объединят всех! В штабе повстанцев уже нашли место все жаждущие свободы, из разных партий и групп, тут не только анархисты Ковалевич и Глагзон, но и левый эсер Николаев, близкий к Спиридоновой, здесь и меньшевик Молчанов, и максималисты. И объединение их деловое: банки в Туле брали шестеро, трое анархистов и трое левых эсеров. Лозунг партизан все тот же, великий лозунг всех революций — да здравствует свобода. И не урезанная большевиками свобода помогать пролетариату, а истинная, полная и безоговорочная. Свобода не может быть относительной, как свобода служить кому-то, чему-то, она понятие абсолютное. Она не может быть частичной, как не может быть частично беременной женщина. Все или ничего! Или есть плод, зреет, или нет его, пусто во чреве.

Добьемся свободы — и немедленно. Десятилетия угнетения, каторга, тюрьмы дают нам моральное право воевать и умереть за свободу. За свободу полнейшую, чтобы заложенные в человеке природные инстинкты добра и содружества, кооперации и любви сами повели общество по нужному пути, сами создали гармоничную жизнь в разных естественных формах — общины, коммуны, артели, называй, как твоя душа пожелает, потому что не в названии дело, а в сути, в раскрепощении естества. Но для этого надо с безоглядной отвагой и отчаянной решимостью пойти на последний штурм и — любой ценой! — уничтожить власть Советов, вставшую на пути гармонии.

Примем Бакунина: свобода завоевывается только свободой. И отвергнем Маркса: только при коммунизме произойдет скачок из царства необходимости в царство свободы. Это издевательство над узниками всех времен, над сотнями и тысячами людей, погибших в тюрьмах России.

Подготовительный период закончился. Настала пора действовать. Боевые группы партизан направлены в Тулу и Уфу, в Самару и Иваново-Вознесенск, в Брянск,— штаб всероссийский, а не только местный. Собраны крупные суммы денег, материально штаб обеспечен, дальше нужно менять тактику, ибо слишком увлеклись эксами, как будто в этом вся соль программы. Эксы психологически развращают. Деньги еще не власть, но ведут к самонадеянности, успех кружит голову, дает ощущение безнаказанности, а отсюда и потеря осторожности. Вселенский гром, удар по Кремлю должен прозвучать не началом, а финалом, кончиной большевизма. Начало должно быть положено в эти дни.

Завтра мы соберем совет штаба и выработаем конкретные меры по уничтожению большевистской головки. Пора собрать энергию боевиков в одно русло и направить в цель. Работать они умеют, делового напора у них предостаточно, храбрости, дерзости, лютости им не занимать. За каких-то полтора месяца почистить восемь народных банков — это надо уметь. Банк на Большой Дмитровке, на Долгоруковской, на Таганке, банк на Серпуховской площади, гастрольные поездки в Тулу, где взяли кассу патронного завода и кассу рабочего кооператива, банк в Иваново-Вознесенске. В итоге — несколько миллионов рублей наличными, а они оборачиваются взрывчаткой, оружием, снаряжением, мандатами, а также и поголовьем. В перерывах между банками щупали по Москве известных буржуев, изымали — на нужды революции — золото и драгоценности. Преисполненный классовой ненависти Саша Барановский одному стойкому буржую во время экса спалил на голове волосы. Спичка за спичкой подогревал ему темечко, чтобы тому было легче вспомнить, где припрятаны бриллианты.

Пора уже остановиться и осмотреться. Набирает дурную силу тенденция грубой наживы, романтика безна-

казанных грабежей. Никто из них толком не сознает политическую сущность эксов, ибо дела никакого, кроме разгула, нет. Как бы не превратились все эти акции в бузу валяй-анархизма, в жажду голого накопительства. Пора уже примитивный грабеж освятить политической акцией, неспроста у боевиков чем дальше, тем больше слышится в речи, особенно у Барановского, жаргон босяцкого шалмана, воровской малины. Руководству штаба надо быть тверже. Однако предостережения Дана не производят на боевиков впечатления. Они еще не уразумели всей силы ЧК, действуют безоглядно, лихо, сам черт не брат. Оно и понятно, привыкли у Махно вести себя как моя душа пожелает, там Гуляй-Поле, гуляй-вольница, здесь же нечто совсем противоположное — диктатура пролетариата, железный кулак. Как теперь стало ясно Дану, чекисты потому не напали на наш след, что заняты были «Национальным центром». И если «центр» готовил свержение Советов в помощь Деникину, то факты эксов пока что ничем политическим не пахнут, эксы могут носить, да и носят характер частных грабежей. Мало ли банд в Москве.

Теперь же у чекистов руки освободились, а без дела они сидеть не любят. И потому пора, пока не поздно, заявить о себе. Собраться завтра и решить, что делать, а заодно поговорить и о революционной дисциплине, хотя братия ох как не любит этого слова, полагая, что вместо дисциплины должна быть революционная воля к победе...

На рассвете Дан заснул и не слышал, как пришла Берта. Открыл глаза — уже светло, увидел ее возле вешалки, окликнул, она испуганно дернулась, обернулась. Губы покусаны, под глазами круги, бледная, измочалена вдрызг.

— Где ты была?

— Сами послали. Вам что, память отшибло?

Тон Дана, его вопрос-допрос ее возмутил, и она первой пошла в атаку, лицо ее исказилось гримасой брезгливости.

Дан гмыкнул — действительно, сам послал, с хрустом поскреб волосатую грудь.

— Кто там был?

— Все были.

— А все-таки?

Берта повесила пальто, пошла к столу, ее покачивало, но даже это ей шло, ведьме. Дан не пил и потому легко уловил запах перегара, она будто всем телом источала его и шагами развеивала по комнате. В руках у нее газеты, все-таки не забыла купить.

— Меня из деловых соображений интересует, кто там был?

— Соболев был, Барановский, Глагзон, еще... некоторые.

Постояв возле стола, чувствуя, что Дан не отвяжется, она покорно подошла к кровати, подала Дану газеты. Не нужно ее допрашивать, она прежняя, помнит — каждое утро Дану нужна газета. На шее у нее Дан увидел грубый засос, будто малиновый рубец. Порезвились боевики, потешились.

— Сеанс коллективной любви? — поинтересовался Дан вежливо, интеллигентно.

Берта прижала руки к груди, отвернулась, застыла.

— Крылатый эрос в действии, как я понимаю. Наносит удар крылами по мировому капитализму,— высказывал свои догадки Дан.

Вместо того чтобы сказать ей «шлюха», он мямлит, как гимназист. Вот что значит непривычка к сценам. Это тебе не схватка на митинге.

— Вы пошляк! — решила Берта.— Я вам не вещь, не собственность...— в затруднении смолкла, ища слово,— ...не корова и не поместье, чтобы вы могли распоряжаться мной.

— Ты просто стерва.

Пожалуй, хватит. Дан взял газеты, развернул «Известия ВЦИК». «Московский комитет РКП (большевиков) приглашает нижеследующих товарищей...»

Следовало бы ему сказать: ты молодец, Берта, презираешь условности, отвергаешь предрассудки, ей бы наверняка стало легче, но почему-то лезут сплошь грубые слова, оскорбительные, и не только слова, но и желание одолевает — схватить бы ее за пышные волосы да повозить мордой по полу.

— Вы мне противны как последний мракобес.

Таких уличений уши Дана еще не слышали.

— Человеческие желания превыше всего! — продолжала Берта.

Согласись, Дан, чего тебе стоит, утешь ее.

— Ах вон как — «желания». Тогда извини. Я-то думал, тебя изнасиловали.

Однако не смешно. Ее принципиально нельзя изнасиловать, она идейная именно в этом самом смысле. Будто исповедует принцип дзю-до: если тебя толкают, ты не противься, ты падай быстрее, чем этого от тебя ждут, и тем вали за собой других.

— Последний мракобес,— с издевкой повторила Берта.— И вы будете сметены революцией, как вымершее животное, как мамонт, как бронтозавр.— Этого ей показалось мало.— Но в последний момент я предложу, чтобы вас сохранили и поместили в клетку с надписью...— Берта опять в затруднении смолкла, выбирая надпись.

— А что, если «Он меня любил»? — с расстановкой подсказал Дан.

Берта растерянно на него уставилась, что это — ирония, его очередная насмешка? Или, может быть, нет?..

— Если любите, надо любить революционно,— наконец нашлась Берта, и голос ее подвел, смягчился.— Мы должны раскрепощать свое естество. Мы не должны быть соб-

ственниками... Должны исповедовать революционность коллективной любви.

В этом-то она наверняка пошла дальше Парижской коммуны. Если бы он встретил ее такими словами с порога, она не стала бы метать громы и молнии. Злой она становилась еще красивее. «До чего ты нагла, как ты только могла, не бледнея, глядеться в свои зеркала».

— Понятие стервы никакая революционность не упразднит.

— Вы мне сами приводили Ницше! — вскричала Берта: — «Для мужчины главное: я хочу, а для женщины: он хочет». Да, да! Они хотели меня, смертная опасность обостряет эротическое чувство!..— Берта заплакала, не пряча лицо, с ненавистью глядя на Дана: — Вы сами... вы, вы!

Он не переносил слез. Сразу она стала жалкой, глупенькой.

— Ладно, успокойся. Просто ты мне дорога, Берта, и вот... так получилось.

Берта разрыдалась, бросилась на кровать — лучше бы он ее не жалел.

«Они хотят»,— криво усмехнулся Дан,— и в этом ее счастье. А слезы — жалкие капли прошлого. Взрывом эроса — вдребезги старые мерзости. «Страсть к разрушению есть страсть творческая».

Берта плакала, упрямо выговаривая:

— Нет ничего более реального... чем естественные потребности... А вы!..

Он снял пальто с вешалки, укрыл ее.

— Успокойся, довольно, спи! — приказал он, успокоенный, как ни странно, ее жалкими словесами. Жертва. Забили голову, разожгли инстинкт, заставили нести крест. Но Дан не выразил солидарности, не сказал: да здравствует — и она уже несчастна, в истерике. Природный стыд все-таки берет верх, она его так и не одолела, бедная.

А тут еще и слова его косные, мракобесные. С Даном ли ей тешиться или с Соболевым, ничего не меняется, в сущности, кроме оценки, но оценка-то как раз все и меняет.

Только не меняет она в тебе мелкобуржуазного собственника. Тогда как человек — это ничем не ограниченное желание. Нет ничего реальнее личности с ее потребностями. Если несчастной девке ты будешь закатывать такие сцены, в чем же тогда проявится отрицание буржуазной нравственности? Ты ее пригрел, приютил ради ее отца, хотя она утверждает обратное: «Это я с вами живу ради него». Впрочем, так ли пригревают чужую дочь, обязательно через постель?

Так, именно так, если ты действительно намерен сокрушать устои буржуазной морали — семейной, родовой и прот-чей.

Берта уснула и во сне сильно вздрагивала, дергаясь всем телом. Она не раскаялась, но ему стало легче. Каждый идет в революцию со своими возможностями. Берта — со своим телом, и в этом смысле возможности у нее всенародные. Так что помолчи, Даниил Беклемишев, не будь собственником, не корова она тебе и не поместье, будь самцом в общем стаде, читай газету и заткнись. «Московский комитет РКП(большевиков) приглашает нижеследующих товарищей на заседание, которое состоится в четверг 25 сентября ровно в 6 час. вечера в помещении — Леонтьевский переулок, д. № 18».

Дана обдало жаром. Опустил газету на колени, выпрямился — вот оно! То самое, чего он ждал. Они идут навстречу. Предопределенность. Сама судьба дарует возмездие.

Вскинул газету. Взглядом выхватил наиболее известные имена: Антонов, Бухарин... Инесса, Каменев, Красиков, Коллонтай... Крестинский, Невский, Ногин... Смидович, Стеклов, Ярославский. Человек полсотни. Главари

партии. Члены ЦК, МК, верхушка Моссовета. Редакторы газет, ведущие агитаторы и пропагандисты. Политработники Красной Армии. «Явка всех обязательна. Кроме названных товарищей, приглашаются с обязательством явиться по 7 человек ответственных работников каждого района — по назначению районного комитета. Заседание важное и необходимое».

В городе двенадцать районов, с каждого по семи, значит, вместе с именитыми соберется их больше ста — полтораста большевиков в одном зале. Ленина они, после выстрелов Каплан, не афишируют. Но если вчера его не было на общегородской конференции, то сегодня на узком совещании головки партии он должен быть.

Что из этого следует? «Восстань, пророк, и виждь, и внемли». Дан схватил карандаш, расстелил газету на столе и жирным черным штрихом взял список, все объявление, в рамку.

Отстранился.

Полюбовался.

Вот такой выйдет «Правда» завтра! С жирной траурной рамкой. Только впереди добавят еще одно имя — не по алфавиту, оно заглавное.

Берта длинно замычала, содрогнулась во сне, просяще забормотала: «Хва... хва-атит».

«Нет, не хватит, милая, мы только начинаем. Каждый идет в революцию со своим арсеналом. И потому он велик.— Дан жестко усмехнулся, скривил лицо.— От бомбы эроса до просто бомбы».

Теперь на Арбат, бегом!

Шарахнуть так, чтобы поменять местами потолок с полом.

Оставил ей на столе записку: «Жди меня. Все понимаю и, правда, люблю тебя».

Пушкин писал Наталье Николаевне: «Друг мой женка».

Когда это было — обожание Пушкина? И зачем оно было, если мы сбросили его с корабля современности?.. Писал жене из Болдина, предостерегал: помни, что на сердце каждого мужчины написано: самой податливой. Поэт, горячее сердце, африканские страсти, а ревновал деликатно.

Почему-то в самые светлые минуты вспоминался Пушкин. Уж не умер ли поэт в Дане? Нет, родился, и живет в нем поэзия террора, поэзия гнева и мести. Пушкин прав, говоря: «На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник».

Дан оставил ей такую записку, потому что простил Берту, а простил потому, что пришел его час, его день — день Дана.

Оделся, пошел к двери, на пороге вспомнил про ее браунинг. Патроны в углу под ворохом тряпья. Проснется сама не своя, голова похмельная, вспомнит, как ее распинали... Волна ярости заставила его содрогнуться. Сама хотела!

Он уже переступил порог, возвращаться — пути не будет. И какого пути!

Тихонько прикрыл дверь и заспешил на Арбат. Моросил мелкий дождь, признак удачи. «Когда хоронят в дождь, хороший человек помер, природа плачет». Поднял воротник, надвинул шапку на самые уши. Пенсне запотело, и он снял его, сунул в карман.

Главное — поменять потолок с полом. Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Какой настоящий социалист-революционер не помнит манифеста «Земли и воли», написанного Николаем Морозовым. На нем воспитывалось не одно поколение борцов за свободу. «Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она поднимется на ту нравственную высоту,

которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собою массы.

Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов.

...Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов...»

Партия социалистов-революционеров всей своей историей доказала, что нет ничего действеннее террора. И дело тут не только в устранении отдельной личности, наиболее опасной для дела свободы. Не менее важна и другая цель террора — всколыхнуть общественное болото, прервать спячку взрывом, выстрелом, разрушить легенду о неуязвимости власти. Без террора нет пафоса в борьбе. Без террора у людей появляется привычка к гнету, заблуждение, будто все еще можно терпеть такую власть. Нет, говорит террор, хватит.

Террор — самооборона народа.

Акт мести состоится сегодня. И завтра же пусть не все, но многое переменится. Всплывут новые имена, как это бывает только в революцию. А прежние скоро забудутся. Так уже бывало не с одним героем, и так будет впредь. Где сейчас вчера всей России известные имена Церетели, Гоца, Чернова, Брешко-Брешковской — пламенной бабушки русской революции? Где Плеханов, Мартов, Аксельрод, Засулич? «Иных уж нет, а те далече». Вместо них вдруг вынеслись на передний край никому не известные в начале движения Дзержинский, Свердлов, Сталин. Троцкий в меках ходил до лета семнадцатого, а после переворота — председатель Реввоенсовета и нарком военмор. И на фронтах что ни день, то новые полководцы.

Фронты, конечно, сила, но фронты — как дышло, куда повернул, туда и вышло. Стоило нам 6 июля захватить телеграф, объявить: Брестский мир сорван, германский

посол убит,— как командующий Восточным фронтом Муравьев приказал войскам повернуть на запад, чтобы спасать Россию не от Колчака, а от немцев...

Сейчас пока Дана беспокоило одно: как бы Соболев не помешал акции. Он собирает взрывчатку для Кремля, бережет ее как одержимый, надо его убедить.

В штаб-квартире Дана встретил боевик, страшноватый, корявый, с плоским, как кирпич, лицом по кличке Я-ваша-тетя.

— Где Казимир?

— В кофейне, на явке.

— А кто на месте?

— Бонапарт. Спит. У них головка болит.

Дан не мог отвести взгляда от его редкой рожи, еще бы по пучку волос на уши — и готово идолище поганое. Фуражка со звездой не маскировала, а, наоборот, разоблачала его.

— Ты ночью здесь тоже был?

— А как же!

Соболев спал в роскошном белье из батиста с кружевами и рюшами, как Людовик Четырнадцатый. Пахло духами, перегаром, кислятиной, борделем, черт знает чем, только не штабом. Впрочем, перегар для такой компании все равно, что шипы для розы, издержки эстетики.

Дан разбудил Соболева — и требовательно:

— Надо немедленно собрать штаб.

— Что-нибудь нового в этом лучшем из миров? — сонно поинтересовался Соболев и сладко потянулся.

— В шесть часов собрание большевистской головки. В Леонтьевском переулке. Будет Ленин.— Дан хотел прямо сказать о своем плане, но придержал язык. Самолюбивый начальник боевой группы может взъерепениться, когда вопрос уничтожения решается без него. Приходится ему подыгрывать.— Что будем делать, Бонапарт?

— Сколько их соберется?

— Не меньше человек полутораста.

— И Ленин?

— Обязательно. Я знаю расположение здания, все подходы, входы и выходы.

— А кто еще? Дзержинский будет?

Очень уж ему хочется достать Железного Феликса!

— Надо полагать, будет, если собираются все.

И тут он вспомнил, кого еще не хватало в списке — Загорского. Ленин не назван, он, само собой, подразумевается, но не назван и Загорский, и ясно почему: заседание проводит Московский комитет.

Ясно-то ясно, да не совсем...

Соболев легко вскочил, бодрый, будто не было бессонной ночи и пьянки с забавами, потянулся, стройный, гибкий, как молодой кобель.

— Отлично. Значит, в шесть? Прикинем.

Его интересовали два вопроса: размер зала (высота, какой потолок, с лепниной лучше, больше придавит) и откуда можно метнуть бомбу.

Дан все объяснил. Бомбу лучше всего — в окно с балкона. Подступы к нему со стороны Чернышевского переулка.

— Полтора-два пуда на такой зал хватит,— решил Соболев.

Дан плохо представлял, что могут сделать полтора-два пуда, осторожно выразил пожелание: чтобы наверняка.

— Наверняка хватит! — с напором повторил Соболев.— Надо же ее еще и дотащить туда, об этом тоже не забывайте. А Вася Азов свое дело знает. К шести вечера будет снаряжено. Сбор здесь,— распорядился Соболев.

— Я поведу, покажу на месте.

— Само собой. Но заранее чертеж, схему.— Он с воодушевлением растер ладони, взял со стола бутылку, посмотрел на свет.

Для Соболева такая жизнь — его нормальное, обыденное рабочее состояние, мало того — праздник души. Повседневный, вечный. Он не думает о будущем, не готовится жить когда-то, после свержения чего-то — он живет сейчас, его душа ликует, лучшей доли ему не надо. «Свобода завоевывается только свободой». Оружие, деньги, женщина — вот и все проявление силы, большего Петру Соболеву и не надо. Не будет Берты, найдется еще десяток. Но лучше все-таки Берта, убежденная, идейная, бескорыстная. Так он может прожить и месяц, и год, и всю жизнь. Виртуоз экса, рыцарь бомбы, аристократ бунта. Он не знает конца борьбы и не хочет его, он видит свою победу каждый день. Каждый выстрел, каждая смерть приносит ему самоутверждение. Он познал начало борьбы, усвоил ее вкус и навсегда уверовал в ее бесконечность. Глупо, нелепо, дико представить, как Соболев в один прекрасный день повытаскивает из карманов свои револьверы, отложит в долгий ящик свои гранаты и пойдет на службу с портфелем к восьми утра, чтобы где-то в учреждении принимать граждан, помогать им налаживать труд и мир, смешно. Он создан для революции, рожден разрушить все эти буржуазные химеры, сначала здесь и до тла, а нечего станет разрушать здесь, завтра он появится в Европе, послезавтра в Америке, дальше и дальше, до какой-нибудь Гваделупы, Новой Каледонии, Занзибара. Земли вполне хватит на всю его жизнь. И не два аршина ему нужны, как думал скромняга граф, а вся планета. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья...» Отними у него сейчас смертоносные цацки, и он умрет — от бессилья, от невозможности убивать других.

Но он не с луны свалился, не аист его принес, и не находили его в капусте добрые папа с мамой. Он твое порождение, Дан, наглядное выражение твоей сущности, зрелый плод на древе твоей деятельности. И ты бессилен что-либо изменить. «Тако крещусь, тако же и молюсь».

А взираешь на него критически из-за сущего пустяка — из-за какой-то девки, которую не поделили (да и поделили уже). Какой-то девки, которая выходила тебя от сыпняка, спасла от гибели. Что ж, не только она одна, спасали тебя и другие... Убивая генерала Мина, ты тоже спасал многих.

«Надо его оставить в живых».

Не ради личного долга, не из принципа ты — мне, я — тебе, нет. Мы с тобой революционеры, Володя Лубоцкий, он же товарищ Денис, он же Загорский Владимир Михайлович.

Мы революционеры, и для нас прежде всего важно не то, кто жив, кто мертв, а то, чьи принципы восторжествуют в конечном счете. Должен же кто-то остаться свидетелем своего краха. Это жестоко, может быть, хуже смерти, но ты убедишься, кто посмеется последним.

«Я обеспечу тебе смерть в рассрочку. Разрешим наш с тобой давний спор».

Сотни, тысячи революционеров погибли в тюремной камере, в сибирской ссылке, прикованные цепью к каторжной тачке, в голодной эмиграции, так и не увидев, чей выбор оказался верным, а чей ошибочным. Умер в тюремном лазарете Марфин — ничего не увидел, ничего не узнал ни про свою мать-Россию, ни про свою дочь Берту...

Блаженны погибшие с верой в правоту своего дела. И трагична судьба живых — жертв своего выбора.

«К тому же я человек, оказывается, благородный. Ты мне спас жизнь когда-то, я плачу тебе тем же. Я, как видишь (увидишь!), выше партийной розни. Для меня человек не имеет цены, личность превыше всего. Личность, а не партийный принцип».

— Послушайте, Соболев, мне нужен хороший боевик. Сегодня, на вечер.

— Для чего?

— Выручить одного человека.— Соболев не поймет замысла Дана, может не согласиться, и он добавил: — Нашего. Оттуда.

— Что-то неощутимой была его польза,— усомнился Соболев.

— Мне виднее,— хмуро сказал Дан.— Если можно, вот этого малого, что сейчас дежурит.

— У вас губа не дура.— Он мог иметь в виду и Берту.— Ладно, я ему скажу.

— И соберите штаб,— настоял Дан.

Соболев быстро оделся и пошел в кофейню за Казимиром и Барановским.

Вошел Я-ваша-тетя, мягко, по-кошачьи, видать, сильный и, судя по роже, не столько храбрый, сколько наглый. А здесь нужна хитрость, коварство, актерская игра. Дан пристально рассматривал его в упор сквозь пенсне.

Когда голова Шарлотты Кордэ упала в корзину, палач Сансон достал ее за остатки волос и нанес пощечину — за Марата. Палача отстранили от должности за нарушение революционного закона: наказывать, не унижая.

«Вы унизили нашу партию, отстранив ее от революции. Я унижу тебя в ответ одной только рожей этого рябого аспида в форме твоих же красноармейцев. И он погонит тебя, как дворнягу, куда я захочу».

Я-ваша-тетя постоял-постоял, повернулся спиной к Дану и сел на стул, развалясь,— чего ради этот очкарик на него вызверился? «У нас все равны»,— говорила его поза. Закурил ароматную египетскую папиросу.

— Нам необходимо вывести из МК одного человека,— сказал Дан.

— Да хоть десять,— небрежно отозвался Я-ваша-тетя.— Было бы за что.

— Вывести наверняка. Живым,— подчеркнул Дан, не желая пока называть имени, чтобы не озадачивать боевика.

Тот пошлепал губами, вздернул плоское лицо:

— Само собой, живым. Револьвер под ребро — и пойдем выйдем.

— Оружием ты его не возьмешь, не тот человек.

— Интеллигент? — поинтересовался Я-ваша-тетя.

— М-да,— с вызовом ответил Дан.

Я-ваша-тетя скосоротился:

— Как щенок пойдет.

— Здесь тебе не Гуляй-Поле. Здесь другие интеллигенты. Не так моргнешь — и ты уже на Лубянке. Это усвой крепко.

— Да чо вы меня учите?! Вы мне скажите, кого и куда. А как — я сам знаю.— Оглядел Дана, остановил взгляд на его драных ботинках.— А как насчет тити-мити? — И потер большим пальцем об указательный.

— В каком смысле?

— В законном. Одна голова десять тыщ, две — двадцать, а пять — пятьдесят, считать умеете?

Нечаев был наблюдателен: «Чем больше революционер похож на бревно, тем ближе он к совершенству».

— Получишь свои тысячи,— процедил Дан. «Этот скот ночью тоже был здесь!» — Но если не выполнишь приказа, я тебя пристрелю, как паршивую с-собаку!

Я-ваша-тетя поморгал-поморгал, проморгался. «Очкарик, а духовитый».

Дан с досадой вздохнул. «Напрасно я не забрал у нее браунинг».

Глава тринадцатая

Слушая доклад Покровского о «Национальном центре», Аня негодовала: агенты его пролезли в Реввоенсовет, на курсы Академии Генштаба, в Кремлевский арсенал, в центральное снабжение армии, в штаб РККА. Вот чем обернулось привлечение буржуазных спецов —

привлечение стало увлечением. Хорошо еще, что кончилось своевременным разоблачением. Но негодовала Аня не только по адресу шпионов Деникина, с ними все ясно, враг ослеплен классовой ненавистью. Аня была недовольна чекистами — без нее, без всякого ее ведома они проделали такую колоссальную операцию. В самой Москве гнездилась широкая организация, враги ходили по улицам, сидели в советских учреждениях, в наших штабах и военных школах, а она, Аня Халдина, член РКП большевиков, член Союза Коммунистической Молодежи, сотрудник Московского комитета, ничего, ровным счетом ничегошеньки о враге не знала — из-за недоверия своих же товарищей. Может быть, ей даже приходилось говорить с врагами, здороваться за руку, улыбаться им как своим. Она понимает, важные операции чекисты обязаны проводить в тайне, секретность — это их козырь, но от кого тайна и для кого козырь? Возмутительно. Она понимает, так лучше, так им надежнее, что ли, работать, когда ни слуху ни духу, и все-таки, все-таки. Она не претендует на участие в их операциях, «стой, ни с места, руки вверх» и прочее, но ей необходимо знать, и знать вовремя, а не потом, когда расхлебают кашу. Ей не доверяют, разве не обидно? «А кто тебя знает, вдруг ты проговоришься». Это я-то проговорюсь? Это меня-то не знают? Меня Владимир Михайлович Загорский знает. И я сама себя знаю, извольте не оскорблять меня недоверием и не лишать меня активности и бдительности.

— Они были настолько уверены в своей победе,— говорил между тем Покровский,— что заготовили уже приказы и постановления. Вот о чем говорилось в приказе номер один: «Все борющиеся с оружием в руках или каким-либо другим способом против отрядов, застав или дозоров Добровольческой армии подлежат немедленному расстрелу, не сдавшихся в начале столкновения или после соответствующего предупреждения в плен не брать».



Вот так! Захватили бы они Москву, пусть даже на полчаса, и расстреляли бы всех, кто противился, а ее бы оставили, поскольку она ни сном ни духом не ведала, что это враг поднялся. Оставили бы ее — живи, дыши, радуйся, бесполезная, ни на что не годная. Из-за чекистов с ихними секретами.

И на фронт не пустили, и здесь не все говорят. Победы на фронте — без тебя, победы в Москве — тоже. Правда, сейчас на фронте одни поражения, временные, но тем большая нужна твердость духа. В апреле она смирилась, уговорил ее Владимир Михайлович, так нет — и в сентябре не дают развернуться инициативе, житья нет, проще говоря. Ей уже семнадцать, а она все еще не участвует в делах исторического масштаба. Что же будет потом, когда ей стукнет тридцать? Или, хуже того, сорок? Что станет с цыпленком, который так и не проклюнет свою скорлупу?

— И это подлое дело творилось в дни нашего величайшего напряжения,— продолжал Покровский,— когда рабочий класс Москвы, голодный, смертельно усталый, мужественно ковал победу. Мы валились с ног, у нас не было свободной минуты...

Да, у нее не было свободной минуты, но ведь если бы ей сказали, если бы ее бросили на ликвидацию заговора, она бы все дела отодвинула и ринулась в самую гущу. «А теперь вот сижу, ушами развожу и коплю обиду». И некому про нее сказать, не каждый поймет. Разве вот только один Владимир Михайлович.

Но его нет. До самого звонка он мелькал здесь, здоровался с товарищами, улыбался, а потом вдруг исчез. Куда, спрашивается?

Надо сказать, заявить самому Феликсу Эдмундовичу при случае. Появится он в МК, и она все ему выложит: не доверяете, отстраняетесь от передовых товарищей и вообще много на себя берете. Что он скажет в ответ?

утешительное что-нибудь — спасибо, мол, мы вам верим, на вас надеемся.

А что скажет ей Владимир Михайлович, «которого нет»,— добавила она с укором. Если бы он был, так все равно сидел бы не рядом с ней, а в президиуме. Но этим факт общения не отменяется, она бы послала ему свое недовольство в президиум — взглядом, он бы ответил ей так же молча, взглядом: «Думай, Аня, диалектически», и она бы расшифровала его взорограмму. Как?

Настоящий марксист, товарищ Аня, должен самостоятельно разбираться в любой неожиданно возникшей ситуации. В этом и заключается творческий подход к действительности. Истина всегда конкретна. У ЧК своя работа, у МК своя и у РККА тоже. А общая цель одна. Не может каждый участвовать во всех делах, нельзя объять необъятное, надо делать то, что ты должен.

Стоило ей так подумать, и стало спокойнее. Аня оглядела впереди сидящих, покосилась по сторонам. В зале полным-полно. И почти всех она знает, отрадно. Встречались либо здесь, в МК, либо по районам. Слушают внимательно, сумрачно. Худые, желтые от слабого электричества лица подняты к докладчику. Много женщин. Вон сидит Мария Волкова, у нее интересная биография, таких Аня всегда ставит в пример. Работала на Трехгорной мануфактуре, бастовала, потом ее выдвинули в Московский губком, потом воевала на Восточном фронте, оттуда ее прислали учиться в Коммунистический университет. Она рассказывала Ане, какие у них там товарищи собрались замечательные со всей России. Направили их по рекомендациям губкомов и губисполкомов. Через месяц, в октябре, у них первый выпуск, поедут по деревням выполнять решение Восьмого съезда о союзе с середняком. Крестьяне трудный народ, индивидуалисты, не то что рабочие, к ним особый подход нужен. Всякое принуждение должно быть на базе убеждения, поэтому надо много знать и

уметь говорить, очень важно донести мысль убедительным словом, все должны быть хорошими ораторами. Сегодня перед собранием она возмущалась выступлением Троцкого в «Метрополе» — легче оставить Москву, чем Тулу. Надо же такое сказануть! А когда в зале зашумели, он еще и добавил: «Товарищи москвичи, не беспокойтесь, мы вас вывезем». Сказал как о деле уже решенном. Вот и весь его огонь ораторский — баламутить людей.

На собрание в МК они пришли дружной группой, человек десять. На одной из девушек Аня увидела веревочные тапочки, связанные так искусно, что хоть фасон снимай. А ведь уже холодно, сентябрь на исходе. С ними вместе и Николай Николаевич Кропотов, преподаватель, старый партиец. Похож на Чехова, такая же бородка, пенсне, мягкое выражение лица. Вместе с Аней он както выступал на молодежном собрании, вдохновился и начал читать свои стихи, написанные еще в прошлом веке, когда он был студентом юридического: «Смелый вызов бросаю грядущей судьбе, и погибнуть готов в непосильной борьбе, и не страшны мне темные силы...»

Вон сидит Бухарин, тоже старый, но одержим левизной, как юноша. Вон Мальков, комендант Кремля. Стеклов, редактор «Известий». Партийные публицисты Ярославский, Ольминский. Есть и товарищи с фронтов. Вон сидит Сафонов, старейший большевик, имел четыре года каторги, бежал. Член Реввоенсовета Второй армии. Назначили его в Тамбовский укрепрайон, вчера он зашел в МК попрощаться перед отъездом, а Владимир Михайлович говорит: «Задержитесь на денек, Александр Кононович, завтра у нас важное собрание, возможно, будет Ильич». Послушался.

Есть в зале и незнакомые. Внимание Ани привлекла молодая женщина, худенькая, с пухлыми губами, беременная. Ей рожать пора, а она все-таки пришла сюда. Хорошо еще, не одна, с мужем. Смуглый, с пышными уса-

ми командир в новых ремнях. Обеими руками держит ее руку и легонько гладит, как замерзшего птенчика.

А вон и Кваш сидит впереди, через ряд, рот раскрыл, доклад слушает. Он-то наверняка знает, где Владимир Михайлович, сейчас у них в Бюро субботников дела невпроворот, сегодня уже четверг. Аня уставилась взглядом в затылок Кваша, заставляя его обернуться, выждала с минуту, но тот сидел и ухом не вел. Аня усилила свой магнетический, как ей думалось, взгляд, и Кваш завертел вскоре головой, чего и следовало ожидать, налево посмотрел, направо, ну и обернулся, конечно. Увидел Аню, обрадовался, как будто не она его повернула, а он ее сам нашел, брови взметнул до самых волос и просипел:

— Где Владимир Михайлович?

Он что, решил ее передразнивать?

— Будет ко второму вопросу,— ответила Аня уверенно.

Как-никак, она ветеран МК, с января здесь работает, а Кваш прибыл в Москву недавно с «товарищами с Украины». Следовало бы их называть просто беженцами, но неловко, они там натерпелись всякого, и потому их щадят. Хотя настоящие твердокаменные большевики остались там, ушли в подполье или на фронт против Деникина. На одном из заседаний МК зашел разговор об этих прибывших товарищах, выяснилось, что по районам к ним относятся с прохладцей, а кое-где просто третируют, не мешало бы, как полагают некоторые, поднять их авторитет. Владимир Михайлович тогда сказал: «Надо сознаться, что в большинстве случаев они такого отношения сами заслуживают. Если к вам приходят люди и, вместо того чтобы говорить о работе, требуют, чтобы им дали автомобиль для перевозки вещей с вокзала, кожаную тужурку и работу предоставили непременно в ЧК, то понятно, такие люди не могут внушать доверия».

Кваш пришел с котомкой, в ней все его имущество,

автомобилей не просил и в ЧК не рвался, сказал только: «Согласен на любую работу, какую вы мне доверите». «Нам нужен организатор, умеющий говорить и способный к любому физическому труду». «Я такой и есть»,— сказал Кваш, забыв о скромности, хотя потом оказалось, что кроме владения языком и лопатой у него есть еще десяток других, не менее важных качеств. Владимир Михайлович взял его в Бюро субботников и не пожалел, что Деникин пригнал ему с Украины такого расторопного и толкового помощника. Кваш сам пылал и других зажигал на субботниках, хватался за работу первым, наладив дело в одном месте, мчался в другое, подбадривал шуткой, запевал песню, выносил благодарности от имени народа и революции, а в перерыве между субботниками носился по фабрикам и заводам, по станциям и пристаням, выискивая, где быстрее можно поставить на колеса вагоны, перетащить паровоз с кладбища на пути, поднять заброшенный паровой котел, запустить проржавленный станок, навести крышу из чего придется над важным цехом. И не забывал припевку: «А в субботу, а в субботу мы не ходим на работу, а суббота у нас каждый день». Собирал рабочих на ремонт артиллерийских орудий и броневиков, на погрузку снарядов и патронов. Созывал подростков на легкий труд — протирать керосином и смазывать шрапнельные стаканы. Число участников великого почина росло с каждой субботой, а с ними и Кваш вырастал в глазах окружающих и успел так привязаться к Загорскому, что и жить без него не может,— «где-е Владимир Михайлович?».

«Будет ко второму вопросу»,— сказала ему Аня, а второй вопрос — это работа партийных школ и распределение лекторов по этим школам, вопрос для Владимира Михайловича очень важный. Куда бы он ни отлучился сейчас, к тому времени придет обязательно.

Покровский закончил доклад, слово взял Мясников и

тоже стал говорить о подробностях, о том, каким ущербом Москве грозили три военные школы, охваченные заговором. С оружием в руках они ждали команды двинуться на Москву с трех сторон: из Волоколамска, Кунцева и Вешняков. Подробности, как можно больше подробностей должны знать участники собрания, чтобы завтра, в пятницу, рассказать о них на митингах по всем районам.

— Москву они разбили на секторы, на Ходынском поле поставили свою артиллерию. Садовое кольцо хотели перекрыть баррикадами, укрепиться и штурмовать центр. Они хотели захватить Ленина и держать его как заложника.

Аня вздохнула. Глупо, конечно, обижаться ей на чекистов, все становится известным, когда это нужно, не раньше и не позже. Секрет для них необходимость, а значит и для тебя тоже. К тому же революция не состоит только из одних ликвидаций заговоров. Это не самое трудное и не самое главное, если смотреть с точки зрения марксиста, главное — работа по идейному воспитанию. Именно она, идейность, подсказала той учительнице правильно оценить действия заговорщика директора школы, обострила ее политическое чутье, и она пришла в ЧК. Именно наша работа по разъяснению задач партии заставила одуматься того врача, который оказался в сетях заговора. Так что сначала действуем мы, а потом уже чекисты. И чем шире и убедительнее наш охват, тем меньше дела чекистам. А для этого нужны знания и еще раз знания.

«Что важнее в нашем деле, Владимир Михайлович, теория или практика? Ответьте мне четко и ясно, у нас споры». А он вместо пунктов «а», «б», «в» — свой вопрос: «Ответь мне, Аня, четко и ясно: какой ногой человек больше ходит?» Хоть стой, хоть падай. Оказывается, вопрос-то ее из пальца высосан, метафизический, а не диалектический. Книжное знание коммунизма, говорит Ильич, ровно ничего не стоит без работы, без борьбы.

Опасно усваивать одни только лозунги в отрыве от практики — это грозит великим ущербом для дела коммунизма. Всякий раз нужно уметь увязать теорию с практикой, слово с делом, не допускать разрыва, а это не так-то просто, можно увлечься и нагородить лишнего, оказаться в плену кустарщины. Для того и нужны наши собрания, для того и создаются партийные школы, чтобы иметь точку зрения, с которой оцениваются все события.

А народ в России сложный, многосословный, сколько всяких бывших стремятся пустить в ход свои доводы, давно обдуманные и веками проверенные. Повадился к Владимиру Михайловичу тот монашек с апреля, подарил ему «Жития святых» и еще что-то в толстой коже с медными застежками, как сундук. «Ириней означает мирный, мое дело мир. А Иуда — слава. Всякое желание славы есть иудино дело». Владимир Михайлович дарит в ответ «Монистический взгляд» и статьи Ленина, инок крестится, но берет и уносит в лавру.

Самое трудное — увязать с практикой понятие свободы. Даже многие умные, образованные, читающие на пяти языках, вроде бы честные, искренние, не усвоили до сих пор призыв Ильича: долой старую свободу! Всякая свобода есть обман, если она противоречит интересам освобождения труда от гнета капитала. Аня хорошо помнит доклад Загорского в школе агитаторов при МК. С древних пор не было для человека более светлого, более желанного понятия, чем свобода. Но не было и более сложного, более противоречивого понятия, чем свобода. Пресловутая свобода вообще бесчеловечна, как это ни парадоксально звучит. И разница между свободой вообще, правами вообще и между свободой и правами в марксистском, классовом понимании столь же велика и красноречива, как разница между хаосом и гармонией. Или — или! Или конец света в результате свободного развязывания инстинктов, или гармоничное сочетание интересов

личности и интересов общества. В период революции это противопоставление проявляется особенно резко.

Многие это понимают сразу, на лету схватывают, у них классовое чутье, только вот не всем хватает слов, чтобы оформить чутье в понятиях, не хватает умения внушить эту правду другим, освободить их от ярма старой свободы, растворить их озлобленность против диктатуры пролетариата — железной необходимости в период перехода от капитализма к социализму через революцию. Только свободный от предвзятости способен воспринять истину неискаженной.

А предвзятости хоть отбавляй у людей именно грамотных, начитанных. Как у того ученого, у которого в голове, по словам Ильича, как бы ящик с цитатами, и он всегда готов высунуть то одну, то другую, а случись новая комбинация, которой ни в одной книжке нет (а наша революция и есть такая комбинация), он уже и растерялся. Цитирует Платона и Аристотеля, Фому Аквинского и Екклезиаст: притесняя других, умный становится глупым. Отсюда мораль: смирись перед Деникиным, утешь себя мыслью, что он глупее, ибо притесняет, и еще как.

Особенно обидно выслушивать упреки в попирании свободы и равенства от людей, которые прежде боролись с самодержавием, натерпелись от царизма, настрадались в ссылках и тюрьмах. Они называют себя социалистами и демократами, называют себя марксистами, к примеру меньшевики, но почему-то не все способны уразуметь, что в такой политический момент, как сейчас, всякий, кто требует свободы вообще, кто идет во имя этой свободы против диктатуры пролетариата,— помогает эксплуататорам и Деникину.

Вот так из-за одного только непонимания можно помимо своей воли стать деникинцем или колчаковцем. Как отец ее, к примеру, родной, самый близкий для нее человек. Не понимает, почему его лишают свободы торговать

хлебом. «Мое — и все, что хочу, то и делаю». Он видит правду в пределах своего хозяйства, в лучшем случае, в пределах своей деревни, где живут такие же, как и он, крестьяне. Но представить всю страну, голод и разруху, для них значит объять необъятное. Они не понимают, что если погибнет рабочий класс — а гражданская война не берет в плен, она только уничтожает,— то в деревне не будет ни бороны, ни плуга, ни ситца, ни керосина, даже топора не останется со временем, чтобы срубить дерево для сохи. Без рабочего один путь — назад, к дикости. А крестьянина не убедишь, он себе на уме, растит хлеб да прикидывает: чем больше в городе голодают, тем дороже я продам свой хлеб. И на равенство смотрит со своей колокольни: все равны, все братья, со всех буду драть я.

Об этом и говорит Ильич: «Если капитализм победит революцию, то победит, пользуясь темнотой крестьян, тем, что он их подкупает, прельщает возвратом к свободной торговле». У нас главная задача — спасти трудящегося, рабочего, и тогда мы спасем страну, общество и социализм. А не спасем рабочего — скатимся в наемное рабство, к варварству. Рабочих и без того мало, как муха в молоке, плавает рабочий класс в огромном крестьянстве, по словам Ильича. Крестьяне идут в армию, идут на фабрики и заводы со своими представлениями о правах, о свободе и равенстве. Они не знают всей правды. Полноту ее должны разъяснять коммунисты, те, кто получит основы марксистских знаний в партийной школе. Вот почему так важен второй вопрос сегодняшнего собрания: создание партийных школ и распределение по ним преподавателей. Партийные школы, можно сказать, как очки близорукому — сразу мир становится яснее и четче. А агитаторы — это социальные корректоры...

Мясников объявил перерыв, зал загудел, поднялся. Половина сейчас уйдет, второй вопрос не для всех.

«Но где Владимир Михайлович? Что случилось?»

Глава четырнадцатая

Вышли на улицу около семи, в ранних сумерках. Через два дома, возле театра, собиралась публика. Отборная, приодетая часть Москвы на три часа избавится от революции. Мало ей драмы в жизни, нужна на сцене. По узкому Арбату тянуло сырым сквозняком от Москвы-реки.

Трое, Яков Глагзон, Федор Николаев и Гречаников, ушли вперед врассыпную, кто по правой стороне улицы, кто по левой, не теряясь из виду. У каждого по два револьвера, по две гранаты, по четыре обоймы с патронами. Они должны маячить в Леонтьевском возле особняка и прикрывать огнем, как сказал Соболев, подход главных сил, если потребуется, а главное — отход. Соболев, Барановский и Дан пошли следом. Бомба имела вид футляра для дамской шляпы, и тащить ее следовало не кособочась. А в ней полтора пуда динамита и нитроглицерина.

Сыро, холодно, подняли воротники, ссутулились. В трех шагах не разглядеть лица.

— Дело будет в шляпе, га-га,— в третий раз пошутил Саша.

— Сплюнь,— в третий раз потребовал Соболев.

— Тьфу-тьфу-тьфу,— послушно исполнил Барановский.

Я-ваша-тетя ушел в Леонтьевский к началу собрания. В форме красноармейца, с винтовкой, за голенищем финка. «Люблю перышко, без шума работает». У него своя задача, известная пока что одному Дану: вызвать Загорского, сказать ему — вас срочно требуют в Политуправление Реввоенсовета республики, Сретенский бульвар, дом шесть. В случае осложнений действовать по обстановке. Если уведет, получит десять тысяч рублей. Соболев финансирует Дана под соответствующий отчет. Если же не уведет...

Навстречу проехал извозчик, две дамы за его спиной

жались друг к дружке, будто в плену у Синей Бороды. На коленях у одной лежала, верней, стояла высокая коробка для шляпы. «Похожая на бомбу»,— отметил Дан. И не только он.

— Может, поменяем? — предложил Саша.— Тащить тяжко. А у них лошади.— В присутствии духа ему не откажешь.

Взять извозчика Саша предлагал сразу — мы не битюги, мы ангелы мести,— но Соболев наотрез отказался. Троих цепочкой возьмешь не сразу, есть простор для обороны, отстреляться и гранату бросить, а в тарантасе все в куче, как канарейки в клетке, окружай и бери тепленьких. Да еще извозчик неизвестно кто, может, переодетый. В Москве Соболев в каждом встречном видел чекиста, и не обязательно переодетого, если учесть, что каждому большевику выдан мандат на право ареста. И хотя Дан утверждает, что их один на сто, Соболеву казалось — больше, гораздо больше. Не от страха казалось, а от злой досады — как их уничтожить одним махом всех? Он ненавидел рабочие лица, лики монолита, каждый из них большевик, партийный или беспартийный, один черт, враг.

Арбатскую площадь прошли краем, возле домов, мимо «Праги», пересекли Поварскую. Дальше по плану следовало пройти мимо Никитского бульвара на Воздвиженку и там уже по узкому Кисловскому переулку идти до Большой Никитской. Но Соболев передумал:

— Пойдем бульваром.— Голос его звонок, глаза сверкают, Бонапарт трезв, собран — ристалище перед ним, цель его бытия.

«Пойдем бульваром»,— всего два слова и никаких доводов, но Саша с Даном повернули беспрекословно, как гнедые в упряжке. Барановскому безразлично, куда тащить, он не обдумывает приказов, но Дан подумал и нашел изменение маршрута вполне обоснованным. В пу-

стынном переулке легче попасться на глаза и трудней разминуться, а на бульваре пока еще людно, публика спешит завершить свои дневные дела до начала комендантского часа, торопится умотать по домам. Если с двадцати трех страшны патрули, то сейчас — налетчики, звереют именно в вечерний час, поскольку ночью с ними разговор короткий. Темнота грозит произволом со всех сторон. Нет покоя публике от жулья, нет жизни жулью от милиции. Мужчин заменили женщины, скорые на разбор, заполошные, берут под микитки ай да ну.

«Шляпу» тащили по очереди, Барановский шел впереди, Дан посредине, Соболев сзади. Когда Дан поднял бомбу там, в квартире Восходова, определить вес, первое ощущение — мало, не хватит на всех. Он брезгливо поморщился, не удержался:

— Легковата.

Вася Азов вспылил:

— Отвечаю! — И повторил уже известный Дану тезис: — Скажи мне, где и кого, а как — я сам знаю! — Четко распределил функции идеолога, каковым является Дан, и функции исполнителя. И не просто так, а с гонором, честь его оказалась задетой.

Но теперь, протащив полтора пуда с квартал, Дан взмок, рубашка прилипла к телу, едкий пот заливал глаза. Пожалуй, такой тяжестью можно не только особняк графини, а пол-Москвы к небесам поднять.

— Ровней идите! — шипел сзади Соболев.— Вы что, неделю не ели?

В рифму заговорил. Дан поставил «шляпу» на пустую скамью, вытер лоб рукавом. Соболев, не сбавляя шага, поднял ее и пошел дальше.

Брала досада — надо же так отощать, сразу выбился из сил. Возраст, черт возьми, возраст. Как легко он таскал чемоданы на вокзале в Женеве. Спутники его как раз той поры, лет на пятнадцать моложе. Одно хорошо —

усталость притупляет опасность, схватят, не схватят — все равно, побыстрее бы сбросить груз.

От Никитских ворот свернули на Большую Никитскую и вошли в Леонтьевский переулок.

Дан поравнялся с Соболевым:

— Вопросы ко мне есть?

— Нет вопросов.

— Повторяю, ни в коем случае не заходить с Леонтьевского, там наверняка охрана.

— Мне все ясно, прошу без паники,— самодовольно отозвался Соболев.

Дан ему все подробно объяснил днем, схему нарисовал и руками показывал, какая высота ограды, высота балкона, напомнил про сад (темнота, деревья, укрытие), объяснил, как расположен зал, доказал, что лучшего места для метания, чем балкон, не придумаешь, как будто графиня Уварова именно с этой целью строила особняк с таким балконом. Если же и в саду охрана, действовать по обстановке, то есть перебить охрану, как-никак, террористов пятеро, и все стрелки, к тому же им на руку фактор неожиданности. Пока охрана вопрошает «Стой!» да «Кто идет?», они тут же открывают пальбу и бросают в окно бомбу — в любом случае! И уходят, отстреливаясь и прикрываясь гранатами. Все последовательно, быстро, отчаянно и наверняка.

Дан пошел вперед. Здесь ему знаком каждый камень. Полтора года назад в особняке графини Уваровой помещался ЦК левых эсеров. Здесь они собирались все — Мария Спиридонова, Камков, Колегаев, Майоров, Саблин... Полтора года — и никого не осталось. Утихомирились. Забыли, что Дана не укротишь. Вспомнят. Услышат.

Идет Даниил Беклемишев по переулку — метальщик. Так называли себя террористы «Народной воли». Метальщиком был в числе прочих и Александр Ульянов. Нынче судьба жестоко посмеется над их кланом. Один брат по-

гиб от руки тирана как метальщик. Второй брат погибнет от руки метальщика...

Возле Капцовского училища, полосатой махины с башнями, остановился извозчик. Голоса. Дан сдержал шаг, сунулся в темную нишу, ощущая мокрыми лопатками холод камня через пальто. Сошли двое, нырнули в подъезд. Извозчик развернул клячу, копыта зацокали в сторону Тверской.

«Один брат от руки тирана, второй брат от руки метальщика — это я хорошо придумал, великолепно». Дан приободрился, акция приобретала историческую протяженность.

В переулке было тихо, темно и пустынно, будто вымер переулок или притаился в ожидании — что будет завтра с восходом дня? Укладываются спать с тревогой и с неусыпной надеждой на перемены к лучшему. Что бы ни случилось, все, что ни делается, к лучшему. Так легче дышится.

— Гражданин, минутку,— услышал он вкрадчивый голос и вздрогнул — никого не видно, пусто, сунул руку в карман, к железу.

От кирпичного столба ворот отделилась фигура красноармейца.

— Что вам угодно? — холодно спросил Дан.

— Прикурить не найдется? — Я-ваша-тетя подошел вплотную, держа в руках светлый портсигар, и вполголоса сказал: — Загорского на собрании нет.

Дан с жаром выругался.

«Но ведь ты же к этому и стремился — оставить его в живых. Чем же ты теперь недоволен?»

— А где он?

«Он нужен мне не только живой, но еще и в моих руках».

— Насчет «где» уговора не было.

Дан выругался. Охватила злость. Второй промах с

утра. Не забрал браунинг у Берты. Проворонил Загорского.

— А Ленин здесь?

— Где же ему быть, зде-есь,— уверенно, будто это его работа, ответил Я-ваша-тетя.— А Загорский в Моссовете, там тоже собрание, я узнал.

Уже легче, Ленин здесь и Загорский недалеко. Но все-таки худо, когда план хотя бы отчасти меняется. Что-то Дану мешает. Ах вон что, благородные чувства! Как теперь будет выглядеть его акция по спасению? Через час ахнет бомба, а Загорский в другом месте. Моссовет его спасет, а не Дан. Квитыми им не быть. «Ты — мне, я — тебе» не попляшет.

Что теперь? Идти домой, спать, от-дыхать?

Но что его ждет дома, что-о-о?

К чертям собачьим! Чего он вообще хотел, он уже забыл.

Берта все карты спутала, Берта...

— Если будет добавка — половина, я его возьму из Моссовета.

Какая, к чертям, добавка, Бонапарт не даст ему ни копейки больше. Десять тысяч он записал в блокнот, показать порядок в тратах, дескать, взял, дай отчет, мотивируй революционную потребность, а не то — приговор.

— Не успеем.— Дан не мог сказать, что ему нечем платить. И кому? Подчиненному. Но какие могут быть подчиненные в отряде вольных партизан? — Не успеем, они уже вот-вот...— Он прислушался к тишине, будто взрыв будет где-то за сотни верст, а не за три дома отсюда.— Ты свободен.

— Я не виноват, товарищ Дан, я бы взял, а теперь что выходит? Я свое дело сделал,— начал торговаться Я-ваша-тетя.— Я-то при чем, если его нет? А пройти туда мне стоило, на волоске висел. Я-то при чем, если его нет...

Вот кто действительно послан в мир господом для наг-

лой пробы. Революционный партизан называется. Ландскнехт, наймит. Древнейшая мужская профессия — продать себя. Не тело, а дело. Свою хватку, умение, смекалку, свою, в любом случае, жестокость. Ударить по хребту, по черепу — это и есть жест о кость. Костоломный жест.

— Расчет завтра, в штабе,— раздраженно прервал его Дан.— Полностью, как договорились.

— Он должен подойти,— обрадованно сказал Я-ваша-тетя в ответ на такую милость.— Ко второму вопросу. Может, встретить?

«А что, это идея. Я его сам и встречу». Он снова загорелся, почуял удачу. Как будто ему одного только и хотелось: встретить Загорского, повидаться.

— Молодец, спасибо,— живо сказал Дан.— Ты свободен. Нет, минутку, стой. Возьми! — Подал ему свой револьвер, сунул за пазуху ему гранату и подтолкнул в плечо — иди.— Я сам пойду, сам, все хорошо, как нельзя лучше, без оружия, мирно, тихо-мирно,— бормотал Дан, впадая в транс, как с ним бывало в минуту озарения.

Он прошел мимо особняка как зачарованный, не отрывал взгляда от здания, смотрел в глубину двора на вход, забыв, зачем сейчас явился сюда, давно он не видел свой партийный дом...

У входа часовой. Еще один вынырнул из темноты, подошел к нему, стал спиной к Дану. Охрана усилена. Естественно, если там Ленин.

Дан прошел мимо. Отошел от особняка и от столбняка отошел. Надо его встретить спокойно. Остановить.

А дальше?

А дальше он надеется на свое чутье в критическую минуту. Главное, войти надо в такое состояние, когда тебе все равно, жить или умереть, и вот тогда озарит истина. Не нужно гадать сейчас, как и что, нужно ждать и дождаться, не прокараулить его.

Вышел на угол Тверской. Здесь слышнее шум вечернего города, больше огней. Прошел автомобиль, в кузове темная гряда голов, мерцают штыки.

Он пойдет вон оттуда, справа, вон из того здания генерал-губернатора, дома графа Чернышева, построенного Казаковым,— чушь собачья, кому все это нужно, дохлые имена в ковчеге памяти.

А если он не пойдет, а поедет? И глазом не успеешь моргнуть, пронесется мимо тебя и не глянет, а ты и не вякнешь вслед, подавишься выхлопным газом.

Нет, он не станет гонять машину за полтора квартала, не тот характер. Да и есть ли у него автомобиль?

Он пойдет пешком.

А если он не один?

Однако стоять тут пень пнем рискованно. Прошли две бабы в тужурках, с наганами на боку, посмотрели на Дана, и он уткнулся в афишу, она будто сейчас только вынырнула перед его носом из-под земли. Дан усмехнулся самодовольно. Инстинкт подпольщика сначала подвел его к тумбе, а потом уже позволил остановиться. Дан протер пенсне, различил черные буквы: «Малый театр. Правда хорошо, а счастье лучше».

Собственно, пугаться ему нечего. Документы надежные, сделаны Казимиром на даче в Красково.

Значит, правда хорошо, а счастье лучше. Но что такое правда сейчас? Вся правда — в силе оружия. И все счастье опять-таки в нем же.

Он посмотрел в сторону Моссовета, но, кроме силуэтов с наганами, ничего не увидел. Прислушался, прикинул, сколько прошло времени, где могут находиться сейчас метальщики. Если он не дождется, а они шарахнут, что прикажете делать? Только одно — бежать подальше. Смешаться тут с толпой любопытных нельзя, ибо толпы не будет, толпа ученая, знает: случись взрыв, чекисты загре-

бут всех скопом, а потом с каждым разберутся, кто ты такой да чем ты занимался в окрестностях.

А не лучше ли тебе сейчас пойти просто-напросто вдаль спокойно по вечерней Тверской, перейти на ту сторону к гастроному Елисеева и спокойненько на Страстную, а там и Дегтярный рядом. Попробуй, кто тебя держит, ведь так все просто, оставь и уйди... «Так же просто, как матери бросить сына». Может, были бы у него дети, заслонили бы собой идею.

Он не может уйти! Несвободен, привязан, он должен встретить. И лишить его возможности умереть вовремя.

Дан отвернулся от тумбы, снова нырнул в темноту Леонтьевского. Сейчас они уже, наверное, подошли к ограде со стороны Чернышевского. Не слышно окрика, выстрелов не слышно, никакой паники. Дан чутко ловит ночные звуки, чудятся ему шаги, слышно даже сопение Барановского. Подошли к ограде, за решеткой темнота сада, никакими фонарями не высветишь. Через ограду придется лезть, прутья кованые, не раздвинешь, не учли заранее, лишняя трата времени теперь.

Навстречу прошли еще двое, он на костылях, она с белым узлом. «Да зачем он тебе, брось, Ваня»,— успокаивала женщина ласково, и ее голос, семейный, домашний, раздражил Дана.

«Зачем ты его спасаешь, даруешь ему жизнь?» — тормошит Дана, трясет вопросом массовая скотинка, обыватель, плывущий плесенью по земле, пенящийся своими срамотами — жить хочу, жить, жить! И не понять быдлу, у которого череп лишь футляр для жевательного аппарата, а все волнения духа в области ниже пояса, не понять, что я его не спасаю — уничтожаю, оставляя в живых. Чтобы он знал, увидел: все твои годы мечтаний и борьбы, радостей и тревог, вся твоя идея счастья всего лишь фантом, призрак, куда реальнее месиво в коробке для дамской шляпы, фук — и никаких счастий! Только одно

страшнее самой смерти: крах того дела, которому ты отдал жизнь. Дан это отлично по себе знает, да только не спешит признаться.

Выстрел! Негромкий, револьверный. Дан застыл, крутнул головой — откуда? Еще выстрел, уже винтовочный, гулкий. Ага, там, в стороне Страстной, не они. Или эхо в узком переулке перебросило звук со стены на стену, как мячик. Сейчас ахнет!.. Дан пригнулся, протирая пенсне, жадно огляделся, куда юркнуть, будто не человек он, а суслик. Рядом стена, окна без света, сбоку темная подворотня, криво висят слетевшие с одной петли ворота, в них косая щель, он пролезет через нее, а там дворами в сторону Гнездниковского, совсем рядом свечой темнеет махина в десять этажей — небоскреб Нерензее.

Опять тихо. «Им трудно будет поднять «шляпу» на балкон, надо было захватить веревку. Рисовали на бумаге, да забыли про овраги. Авось догадаются ремни выдернуть из своих штанов».

Он решил держаться этой подворотни, отсюда видно все и отход обеспечен. Но за слепыми окнами может кто-то сидеть и зырить. А если чекисты, охрана засела, чтобы обеспечить Ленину безопасность, то его уже засекли. Дан пробрался ближе к стене дома, чтобы исчезнуть из оконного поля видимости, прислонился к стене, оглянулся.

Сверху, с Тверской, на фоне булочной Филиппова показались двое. Скорый, четкий шаг. Впереди невысокий, ладный, в сапогах, в тужурке, военная фуражка — он. Сбоку и на полшага сзади красноармеец в шлеме, за плечом штык.

Глава пятнадцатая

На пленуме Моссовета Загорский испытывал тот особый подъем духа, который всегда возникает в кругу соратников, когда видишь лица товарищей и происходит

словно взаимозарядка верой и силой. Крепкие руки жмут твою руку, мимоходом бодрящая, а у иного лихая улыбка. Тягот много, но вместе мы не вешаем носа, нет среди нас уныния, есть надежда. И взволнованность та самая, с юных лет, с первых маевок и сходок. У каждого имя, заслуги, авторитет, каждый — один, но каждый и един, и в том, как ты служишь единству, проявляется твоя единственность. Они на тебя смотрят, а ты на них, и каждый уверен: с возложенными обязанностями справишься — или погибнешь. Умрешь, но сделаешь, и смерть твоя будет не в пустыне одиночества, а на миру.

Для Загорского основной вопрос пленума — о Комитете обороны. Пока шло обсуждение, он нетерпеливо посматривал на часы — не опоздать бы ко второму вопросу. Споров не было, каждый понимал, время сжато, не до лишних слов, и потому без особых прений президиум Моссовета принял решение: всем советским учреждениям Москвы и всем районным Советам неуклонно и без промедления исполнять все распоряжения Комитета обороны, направленные к внешней или внутренней охране Москвы.

Теперь их Комитет — полноправная власть. Вчера после доклада Загорского партийная конференция подтвердила все постановления Комитета обороны и приняла резолюцию, «вполне одобряющую его политику».

Дождавшись решения, Загорский потихоньку вышел из-за стола президиума. Пора домой, в МК. На первом этаже у входа его ждал Гриша. Вышли на улицу. Свежо, бодро. «Начало девятого, успеем». Свежо, бодро, никакой усталости. Устаешь не от дела — от волокиты. А когда все в срок и единой волей, прибывают силы, поскольку тут же видишь отдачу. Скорым шагом по Тверской и налево в переулок — пять — семь минут ходу.

Завтра пятница, митинги по всей Москве — дело МК, наше дело и наша гордость. Не было еще случая, чтобы кто-то отказался от выступления, вернул нам путевку.

Нет такой уважительной причины, которая бы позволила уклониться от митинга. Даже болезнь не причина. Как на фронте, как в бою. Смертельно больной Яков выступал на митинге в Орле... Уважительная причина только одна — смерть. А пока большевик жив, он идет к рабочим, несет слово партии. За два года только один-единственный раз Московский комитет принял решение отменить выступление на митинге. Это было в прошлом году, 30 августа.

В ту пятницу утром на расширенное заседание бюро МК собрались секретари всех районных комитетов Москвы. Среди прочих вопросов — кого ждут сегодня на митинги по районам? «Где выступает Ленин?» — спросил Загорский. «У нас,— отозвался секретарь Басманного райкома,— на Хлебной бирже». «И у нас,— добавил товарищ из Замоскворецко-Даниловского,— на заводе Михельсона».

Загорский помнит эту путевку, обычную, стандартную, как и всем выступающим. «Товарищу Ленину. Начало в $6^1/_2$ час. Путевка на митинг 30-го августа 1918 г. Тема: «Две власти (диктатура рабочих и диктатура буржуазии)».

Едва закончили с вопросом о митингах, как из Кремля сообщение: только что в Петрограде убит Урицкий, председатель Петрочека. Дзержинский срочно выезжает туда. «Выступления Ильича придется сегодня отменить,— сказал Загорский.— Кто за это предложение, прошу поднять руки». Проголосовали, и Загорский тут же позвонил Ленину: обстановка тревожная, Московский комитет принял решение отменить путевку на ваше имя. Ленин уперся: «Вы хотите прятать меня в коробочке, как буржуазного министра?» Загорский настаивал: «Временная мера, Владимир Ильич, в связи с оживлением террористов». Ленин возражал, он обещал рабочим быть на собрании, это во-первых, во-вторых, принципиально важно именно сейчас выступать на митингах, положение очень серьезное,

задачи сложные, и надо решать их открыто вместе с массами. «Или вы со мной не согласны, Владимир Михайлович?» Голос у Ленина жесткий, вопрос звучит с укоризной: вы что, Загорский, не верите рабочему классу? Спорить с ним трудно, тем более что речь идет о его личной безопасности, а охрана всегда раздражает Ленина, кажется ему унизительной. «Мы выслушаем ваши возражения на бюро, Владимир Ильич. Напоминаю, вы состоите на учете в Московской партийной организации.— Загорский с Лениным никогда так не разговаривал.— Речь идет не просто о безопасности Ульянова-Ленина, речь идет о жизни вождя пролетариата,— оправдывая свой тон, продолжал Загорский.— Прошу вас на бюро, Владимир Ильич». «Сегодня не могу, занят. Обещаю завтра»,— отрывисто сказал Ленин и положил трубку.

Остался осадок после разговора, Ленин не подчинился, как-то так получилось, будто секретарь МК не понимает всей серьезности момента, недостаточно ответствен со своим галантным предложением. Никто из присутствующих не считал, что Загорский перестраховывается, что не прав в своих настояниях, тем не менее он оказывался не прав. Ленин отвечал ему твердо, пожалуй резко, времени у него в обрез. Сказать по совести, Загорский и сам не верил в опасность — и все-таки... Конечно, повлияло только что полученное известие — убийство, да кого — председателя ЧК, да где — в Питере, да еще в служебном помещении ЧК, где охрана сама собой разумеется. Так что строгость его с Лениным обоснованна.

Завтра он явится на бюро — сказал «обещаю» — и будет резок: «Вы создаете прецедент. Выступления на митинге имеют характер партийной мобилизации». Попробуй с ним спорить! Будем сидеть и краснеть. Он настолько верит в правоту своего дела, что не допускает и мысли об опасности для него в рабочей среде.

И еще, как давно заметил Загорский, препятствия

Ленина только подстегивают, он будто жаждет их, будто главным условием успеха является для него наличие препятствий. Он совершенно игнорирует невозможность достижения цели, такова натура. Для него нет обстоятельств, которые все оправдывают, со всем примиряют.

Но назавтра Ленин не приехал в МК.

Картина, как потом узнал Загорский, получилась на заводе Михельсона поистине жуткой. И дело не только в выстрелах Каплан.

После выступления на Хлебной бирже вдвоем с Гилем, шофером, они поехали на Серпуховскую. На заводе Михельсона их никто не встретил, время рабочее. Ленин совершенно один, никого из завкома, прошел в гранатный цех. Никого из охраны. (Не было бы выстрелов, об охране никто бы и не вспомнил. Ленин не любил ее, попытка охранять его незаметно кончалась неудачей, он все замечал и ловко избавлялся от охраны, используя свой опыт конспиратора. Все было тихо на Хлебной бирже, где он выступал только что, и никто об охране не подумал.)

Он вышел из цеха через час. Вместе с толпой пошел к машине. Две женщины жаловались ему на продотряды — у них отобрали продукты. Ленин обещал разобраться, помочь. И тут выстрел. В трех шагах женщина в черном. После краткой паузы — еще два. Секунду — мертвая тишина. И крики: «Убили! Убили!!» — и толпа шарахнулась со двора. В воротах давка.

Толпу можно понять, люди изможлены, нервы взвинчены, достаточно искры паники. Совсем недавно, в июле, по Москве раздавалась стрельба, гремели орудия, левые эсеры пытались захватить власть.

Гиль сразу обернулся на выстрелы, выхватил наган, женщина в черном швырнула браунинг к его ногам. Гиль не успел выстрелить, Ленин застонал, повалился на землю, Гиль бросился к нему, показалось: и там враг, надо успеть заслонить собой.

Какие-то мгновения, считанные секунды. Ленин один лежит на земле, на пустом заводском дворе. Над ним склонился Гиль с наганом в руке. И слышится крик женщины, неизвестно откуда, словно с небес: «Что вы делаете?! Не убивайте его!» Мгновения, но они растягиваются в воображении, держатся, длятся вечность.

Наконец, из мастерской выбежали трое с оружием. «Мы из завкома, свои!»

Каплан исчезла со двора с толпой. В панике про нее забыли. Но мальчишки, не поддаваясь смятению, бежали за Каплан и следили за ней не только из желания задержать террористку, но также из детского любопытства, они ждали продолжения смертной игры: а что она может еще устроить, может быть, бомбу бросит? Игра грозила оборваться, когда за воротами толпа раздалась, стала растекаться, и тогда мальчишки подняли крик: «Вот она! Вот она!..» Каплан окружили, она стояла, держась за дерево. Еще не все опомнились, не все пришли в себя, но уже нашлись трезвые головы, самосуда не допустили. Побежали обратно к Ленину.

...Один на земле, на пустынном заводском дворе, с тремя пулями в теле. Только что была трибуна вождя, и вот он в пыли, как простой смертный. Краткий миг — вечный миг.

Уже вечером тридцатого пошла по Тверской колонна рабочих с развернутым красным полотнищем и черными буквами на нем от древка до древка: «Террор».

Каплан была расстреляна через три дня комендантом Кремля, матросом с крейсера «Диана» Мальковым. Об этом сообщили газеты. Глава революционного правительства не мог нарушить закон революции. Но слухи оставили Каплан в живых, появились очевидцы, число их росло. Один видел ее в Петрограде в «Крестах», другой на прогулке в Орловском централе, третий на пересылке — «черная, как ведьма, патлатая, глаза бешеные» и прочее.

Ленин будто бы приказал нарушить закон и сохранить ей жизнь. Про газетное сообщение позабыли.

Легенда оказалась упрямее факта, и имела она в виду совсем не судьбу Каплан, а скорее всего образ Ленина. Память неумолимо стремилась сохранить его великодушным, всепрощающим. Но как легко она, память, забывала смертельную угрозу революции! Как легко она, память, забыла мятеж эсеров, размах грозящего кровопролития. «Отряд Попова, отребье, сброд», и ни слова о том, что еще вчера это был не сброд, а конный полк ВЧК. Обезоружили Дзержинского, убили делегата съезда Советов Абельмана, захватили телеграф, отдали распоряжения, начали обстрел Кремля. «Отряд Попова, отрядишко» — будто большевик молодец только против овец...

И еще упорно настаивают, будто пули были отравлены, да к тому же еще и разрывные. И хотя в заключении Наркомздрава за подписью Семашко говорилось, что пули без всяких следов яда, а также и не разрывные, молва такое заключение не брала во внимание. Из любви к Ленину люди преувеличивали жестокость врага. Но были другие, «бывшие люди», как их окрестил Луначарский, эсеры, которых заключение Семашко привело в ярость: как это не отравлены?! Как это не разрывные?! Даже в этом нас хотят извратить и унизить. Им, рыцарям террора, не все равно, видите ли, чем убивать, простой пулей или разрывной, какой петлей удушить, шелковой или из драного лыка.

Гиль, наверное, растерялся от неожиданности...

Когда Ленин в феврале четырнадцатого приезжал к Загорскому в Лейпциг, в штаб-квартиру на Элизенштрассе, и когда они вдвоем выходили вечером на прогулку, Загорский не вынимал руки из кармана, держал палец на крючке револьвера. Он был постоянно, ежесекундно готов к нападению и успел бы предотвратить его. Никто не поручал ему охранять гостя, и сам Ленин не знал про

оружие у своего остроумного спутника и партнера по шахматам, но Загорский понимал: здесь, в Лейпциге, на нем, руководителе группы содействия РСДРП, лежит вся ответственность перед партией за жизнь этого человека.

...Свернули с Тверской налево, в Леонтьевский. Гриша зябко встряхнулся, как воробей под дождем, закинул ремень винтовки за спину, потер руки.

— Чайку бы сейчас, кипяточку.

— Пока мы будем заседать, поставишь самовар,— отозвался Загорский.— У меня сахарину куча, с пол чайной ложки, погреемся.

На той стороне переулка, в тени под окнами виднелась согнутая фигура. На их шаги человек рывком оглянулся, выпрямился и — пошел навстречу, размахивая руками, всем видом своим показывая — безоружный. Широким шагом он пересек дорогу, окликнул:

— Товарищ Денис!

Глава шестнадцатая

Загорский сразу шагнул навстречу, приветливо всматриваясь, поднял руку. Не много в Москве осталось старых большевиков, и он рад встрече.

— А, это ты,— сказал он холодно и опустил руку.

— Встретились, наконец-то встретились,— не своим голосом заговорил Дан. «Он мог бы опустить руку и на кобуру».— Гора с горой не сходится, как говорится, а вот мы...

— В чем дело? — перебил Загорский.

Дан хотел привычно сунуть руки в карманы. Когда некуда себя деть, почему-то лезешь в карманы, будто там опора. Сдержался, руки ему пригодятся. «Скоро ли они там?!»

— Сейчас,— сказал Дан, прислушиваясь. На взгляд со стороны, он будто пережидал волнение, слова застряли.—

Сейчас, минутку.— Как только ахнет, эти не готовы, хоть на мгновение да растеряются, он выхватит винтовку у долговязого. Маузер у Загорского в кобуре, успеет только дернуться — и руки вверх. «Пойдет заложником».

Дан шагнул ближе, жадно вслушиваясь.

— В чем дело? — резко повторил Загорский.

Гриша дернул плечом, ремень соскользнул, Гриша перехватил винтовку, штык качнулся вперед и вниз, на уровень живота Дана.

«Отброшу пинком!»

— У меня к тебе просьба, товарищ Денис,— доверительно заговорил Дан.— Время идет. Время все меняет. Завтра... ведь будет завтра, как ты думаешь? Аресты, аресты, сила есть, ума не надо, а потом будет результат.

— У врага всегда найдется сказать больше, чем у любого доброжелателя. Короче,— потребовал Загорский,— или проваливай.

«Он меня отпускает, милостивый, прогоняет даже!»

— Куда спешить? — сомнамбулически тянул Дан.— На тот свет? На тот свет мы всегда успеем. Почему ты не арестуешь меня, товарищ Денис? Дай команду.

Гриша качнул штыком, посмотрел на Загорского, ожидая не команды, а всего лишь знака.

— Мы изолируем угрозу реальную, а не фикцию.— (Гриша опустил штык).— Ты бессилен, Дан, как и все вы, бывшие и не ставшие.

«Сейчас! Сейчас!..— ждал Дан, прицеливаясь, примериваясь к винтовке, дрожа от нетерпения.— Проклятье, если бы их там не было, я бы вел себя по-другому».

— «Бывшие и не ставшие»,— лихорадочно повторил Дан.— Сдаете Москву, а потом? Не допускаешь иного стечения обстоятельств?

— Москву не сдадим. А обстоятельства диктуются.

— Кем? Вами? — обретая прежнюю агрессивность, повысил голос Дан.— Значит, не арестуешь?

— Нет.

— Почему? — все больше распалялся Дан, сам себя не понимая, не этого же хотел, другого.— На меня есть приговор трибунала.

— Ты приговорен историей.

«А ты бомбой!» — хотелось заорать Дану, бросить в лицо, плюнуть взрывом немедля: вот он, мой приговор!

— Ладно, иди,— злорадно сказал Дан,— ты заслужил свое преимущество.— И сунул руки в карманы медленным, угрожающим жестом.— Каждому по его делам.

— Владимир Михайлович! — спертым голосом вскрикнул Гриша и клацнул затвором, вогнав патрон. У него искрошилась выдержка терпеть этого если не контру, то наверняка психа.

Дан попятился, растопырив локти, не вынимая рук. Загорский жестом остановил Гришу и посмотрел на Дана пристально. «Он еще может гадить, мелко пакостить, но разве на это все они, бывшие, замахивались когда-то?» Взгляд его словно говорил Дану: даже если у тебя оружие, я не унижусь бить лежачего. Коротким жестом он позвал Гришу вперед, и они пошли, шагая широко и в ногу, пошли, не оглядываясь — мало ли тут всяких встречных.

— Быстрее,— сказал Дан негромко.— Ну, быстрее же! — взмолился он.

Они не слышали, шли себе, над плечом Гриши покачивался штык.

«Я его отпустил жить,— подумал Загорский.— Но такой жизни не позавидуешь».

«Я его отпустил умереть,— подумал Дан,— на посту. Но чему завидовать?!»

Вот и весь разговор, комканый и рваный, как и вся его жизнь, бывшая и не ставшая. Вспомнил Берту и браунинг, последнее, что осталось...

«Раз-два», «раз-два»,— удалялись шаги, стучали сапоги, будто шел один человек.

«Стой, время, стой! Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Дан вырвал кулаки из карманов, затряс драными рукавами, его заколотило, он закричал:

— Быстре-е-ей! Бегом марш! Опоздаешь умереть, большевик, бего-ом!

А они шли, так же мерно и в ногу, не обернулись и не ускорили шага. Великодушие демонстрировали? А голос Дана сокрушал тишину в переулке:

— Са-аша! Со-оболев! Подожди-ите! Еще один смерти жаждет, суньте ему в пасть самоуверенную!

Вдруг трубный, дикий звук под ногами:

— Мя-ау! — Дан отскочил. Только сейчас понял: нет у него голоса, он не кричал, не орал, а шипел, сипел «кис-с», «кс-с», только и смог привлечь своим зовом бесприютного кота, хвост трубой, тощая спина дугой, весь каркасный, проволочный. Дан остервенело, с наслаждением пнул кота изо всей силы, и тот кучно, тряпкой отлетел на три сажени, но не шмякнулся, а сразу на четыре ноги. И юркнул, растворился в стене.

««Но не разбился, а рассмеялся». Мне бы так — на все четыре ноги...»

Но у человека их только две. Шатко.

Стань на четвереньки, Дан. Упрись в землю всеми четырьмя, как наши предки. И будет тебе тогда и земля, и воля: как я хочу.

Но чем он тогда бросит бомбу?

Глава семнадцатая

Черноусый командир расчесал усы янтарным гребешком, поднялся в сторону выхода впереди Ани, энергично размялся после долгого сидения, поднял и опустил одно

плечо, потом так же другое, раздвинул — сдвинул плиты лопаток под тесной гимнастеркой. А руки держал неподвижно, согнув в локтях, вел перед собой сокровище — беременную жену, заслоняя ее всю, Аня ее не видела, а хотелось посмотреть еще разок, такая она пухлогубая, милая такая лапонька, какого она роста?

Слитный говор о разном, не спеша, переступая с ноги на ногу, все потянулись к выходу. Удивительно, до чего похожие лица, будто одна большая семья. И только затылки разные, стриженые и наспех завитые, короткие и длинные, каштановые, черные, рыжие. Тяжелые створы двери — внутрь, покачиваются, то один, то другой их придерживает, чтобы не закрылись, передает свою услугу задним. Шли потоком, без давки, едва касаясь один другого.

В открытые двери потянуло запахом лучины, теплый, с детства знакомый дымок Аня чувствует за версту. Гриша ставит самовар внизу, будет угощать чаем после собрания.

На сцену из-за кулис вышел Владимир Михайлович, все в порядке. Аня приветственно ему помахала, он заметил, улыбнулся, покивал ей, будто давно не виделись, подошел к Мясникову, что-то сказал ему, как вы тут без меня или что-нибудь похожее, бросил папку на стол, и как будто от этого его движения вдруг звонко треснуло, зазвенело, сыплясь, стекло балкона, что-то тяжелое бухнуло в деревянный пол. Говор будто срезало, и в тишине зашипело, ровный шум, будто примус горит, запахло гарью, химической, мерзкой, шествие вмиг порывом к двери, как на магнит гвозди, тяжелые створы ударили в притолоку, захлопнулись — ловушка, взметнулись руки, пытаясь открыть, шум, крики: «Бомба!» Аня видела перед собой одни затылки, плотно вмятые в тело толпы. Что случилось? Какая бомба?! Где, у нас? Как изменились, исказились лица, шум страха в зале, мельтешение

рук у двери, беспомощное и жалкое, и все это у нас, в МК!

— Спокойно, товарищи! — зычно крикнул Владимир Михайлович, покрывая шум.— Спокойно! Сейчас мы все выясним.

Толпа на миг стихла, ослабила давку, створы наконец разошлись, груда передних сразу вывалилась в проем.

«Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь...» — слышался Ане счет, или это стучало, гулко тикало в ее ушах сердце?

Загорский сбежал со сцены, раздвигая руками людей, будто плывя водовороту наперекор, и — к змеиному шипению: он здесь главный, ему надо обезопасить людей в его родных стенах, где ему с утра до ночи приходилось успокаивать и призывать, порицать и хвалить, внушать и растить веру, а сейчас вот заминка, недогляд, промах, надо схватить и выбросить. Аня бросилась к нему, тоже крича, винясь перед всеми, ближе к нему — вместе наступить на горло шипению, увидела его лицо, бледное, решительное.

«Тридцать восемь, тридцать девять, сорок...»

Вот он, совсем рядом его глаза, он нагнулся — и тут как будто Земля вздохнула, легко колыхнув пол и стены.

Вздыбило кровлю, снесло потолок, задняя стена здания рухнула на ограду и в сад, осколки кирпича, мебели, клочья одежды, ножки стульев — россыпью в Чернышевский переулок. В ближних домах повылетали стекла, повалились трубы.

Сразу после грохота, гула, треска, в страшной краткой тишине под шорох осыпи раздался крик новорожденного. Послышались стоны и зовы и тут же первые голоса команды. Со стороны Моссовета гулкий топот множества ног — весь пленум бежал на помощь.

Гудки машин, вой сирен, звон пожарных повозок.

Первым рейсом карета скорой помощи вместе с ранеными увезла молодую мать с младенцем. Кем он будет, рожденный взрывом?

Усатый командир, весь в серой пыли, без фуражки, в струпьях серой крови по лицу, остался вызволять раненых.

Контуженный, оглохший Ярославский держался рукой за голову и пытался растаскивать обломки. Ранены Мясников, Ольминский, Пельше, редактор «Известий» Стеклов, у многих переломы рук, ног, почти у всех контузия, ушибы, ссадины.

Мелькали пожарники, врачи, чекисты. Дымная пыль руин клубилась в свете автомобильных фар, факелов и лучин.

Извлекали из-под обломков тела, щупали пульс, отирали лица от пыли и крови платком, рукавом, шинелью, смотрели, кто это. Обезображенных не могли узнать, искали мандаты.

Вытащили Сафонова, члена Реввоенсовета Второй армии, старого большевика, каторжанина, он бодрился, еще мог говорить, улыбался оскалом, но уже видно было — ему не выжить, перебит позвоночник.

Убит Титов-Кудрявцев, комиссар полка Первой Московской рабочей дивизии.

Убит Кропотов, депутат Моссовета, преподаватель партийной школы.

Убита Мария Волкова, работница Трехгорки, член губкома РКП(б), слушательница Коммунистического университета.

Убита Анфиса Николаева, портниха, секретарь парткома Железнодорожного района.

Убита Игнатова, активистка из Уваровского трамвайного парка.

Убиты большевики Разоренов-Никитин, Танкус, Колбин.

Убит Кваш, секретарь Московского Бюро субботников. Убита Аня Халдина.

Растерзанное тело Загорского нашли под утро.

Глава восемнадцатая

Измотанный и счастливый Денис Шаньгин приехал в Москву двадцать восьмого сентября, в воскресенье, добрался-таки за месяц. Вылез из вагона на дощатый перрон и шел, с улыбкой, задрав голову к небу, не замечая толкотни вокруг,— и охота же дуракам ехать куда-то, знали бы, каково в поездах и на станциях. Он еще может гордиться тем, что жив и как будто цел, и даже не с пустыми руками. В тощей торбе остался большой сухарь, горсть сушеных грибов и вяленая медвежатина в свертке, целехонькая, гостинец из Рождественского для дяди Володи.

Выйдя на Каланчевскую площадь, он остановился, полюбовался вокзалами, там флаг у входа и там флаг, понаблюдал за людьми некоторое время — спешат, торопятся, а вот ему теперь можно и не спешить. Понравились московские лица, открытые, не злые, не похожие на сибирские; там взгляд отчуждающий, привыкли на зверя через прицел смотреть, здесь же как будто зовут тебя взглядом, спрашивают, как живешь, человек, подбадривают вроде. Совсем другие глаза, словно люди здесь какой-то иной породы.

Однако полюбовался и хватит, пора и про дело вспомнить. День сумрачный, небо тяжелое, вот-вот польет дождь, осенний и долгий. Денис остановил бледного мужчину в котелке, вежливо спросил, как ему добраться до гостиницы «Дрезден».

— Поезжайте на Скобелевскую площадь, там Моссовет увидите, а напротив «Дрезден»,— пояснил тот и пошел своей дорогой дальше.

Легко сказать «поезжай», у него что, лошадь своя?

— А если пешком? — крикнул ему вслед Денис.— Далеко?

— Верст пять, не меньше.

Лишь бы не больше, а пять верст пустяк. Однако же по тайге, наверное, идти легче, чем по такому городу, проблукаешь до ночи, а там и «Дрезден» закроется. Лучше доехать, но на чем? Там вон стоят извозчики, за спасибо не повезут. Последние рубли выпросила у Дениса приличная женщина с детьми на вокзале в Новониколаевске.

У вокзала напротив он увидел грузовик и возле него толпу мужиков, одетых по-разному, кто во что, но у всех одинаковые повязки на рукавах — красное с черным. Денис догадался — знак траура. Флаги на вокзалах тоже такие — красное с черным. Он не сразу обратил на это внимание. Кто-то помер известный и важный.

Мимо Дениса быстро прошел милиционер, по делу, видать, и тоже с повязкой. Уж он-то знает, кто помер, но останавливать его Денис не стал, человек казенный, расспрос начнет, кто да откуда, да зачем приехал, а объяснять долго. Да и отец советовал таких не задевать.

Он увидел культурную женщину в длинной юбке, в черном берете, тоже, видать, траур, и обратился к ней:

— Извините, мадам, вы не знаете, кто это помер? — И показал почему-то на грузовик.

— А никто не помер,— ответила женщина и тоже посмотрела на грузовик.— Их поубивали.

— Кого это их?

— Большевиков.

И посмотрела на Дениса, как он раскрыл рот. Берет на ней косо, на одну бровь.

«Большевиков...— у Дениса заныло в животе.— Всех, что ли?»

Денис побежал к грузовику. Там, где едут полста мужиков, и ему можно, не надорвется машина.

Подбежал, успел, только половина их залезла в кузов, без драки лезут, чинно, сначала на колесо одной ногой, потом другую через борт — и там.

Денис умерил прыть, к машине подошел шагом, спросил зычно:

— Эй, мужики, чья власть в городе?

Никто ему не ответил, может, не все расслышали, машина фыркала, постреливала синим газом, один только, тот, что стоял на колесе и задрал ногу в кузов, обернулся и сказал кому-то мимо Дениса:

— Еремин! Проверь-ка его.

Молодой, не старше Дениса, чумазый, с белесыми бровями, видать Еремин, вырос перед Денисом.

— Кто таков? — спросил невежливо и с напором.

«Ишь, как обращается, слабака нашел!» — возмутился Денис и крикнул снова на грузовик, минуя чумазого:

— Чья власть, спрашиваю, вам что, глотки позатыкало?!

С кузова обернулся один, другой, глаза непонятно злые, враждебные, их заслонил Еремин, процедил сквозь зубы, вроде даже с одышкой от злости:

— А н-ну, документы!

Денис понял по его голосу: дело швах. Сколько раз он за дорогу слышал: Москву взяли, Деникин в Кремле, и ни разу — что Москва стала обратно нашей. А теперь еще и большевиков поубивали. И флаги, может, не траур, а чье-то новое знамя.

Не сводя глаз с чумазого — у того ноздри ходуном,— Денис сделал шаг назад, скакнул в сторону и побежал.

Побежал и убежал бы, за долгую дорогу он научился держать ухо востро, убежал бы, да «бы» помешало — покатился по булыжнику от подножки, успев прижать к себе заветную торбу. Вскочил на ноги — мосластый кулак Еремина держал его за полу.

— Еще раз прыгнешь — разговор короткий.— Еремин

дернул плечом, отведя локоть, пиджак его отошел и Денис увидел потертую кобуру, тяжелую, ремень отвис.

— Пусти, не побегу,— насупясь, сказал Денис и неторопливо полез за пазуху, раздумывая, как быть, какая все-таки власть в Москве, от этого зависит многое, жизнь его между прочим,— от того, какую бумагу предъявишь.

— Бомбу бросили, так думаешь, уже и власть сменилась, контра! — процедил Еремин, нетерпеливо следя за его руками, чтобы побыстрей убедиться да к стенке.

Денис прерывисто вздохнул — если «контра», значит, власть не белая. Снял шапку, отогнул подкладку, вытащил тонкий пакетик, будто с порошком от кашля, осторожно развернул.

— Извини, товарищ, я из Сибири, ничего не знаю,— пояснил Денис виновато.

Еремин дернул бумажку у него из рук, читал долго, хотя там всего две строчки, подпись и ничего больше, бросил Дениса как безвредного и пошел к машине, крича на ходу:

— Адам Петрович! Такое дело!..

От кабины оторвался, судя по кожанке, главный, повернул очки.

— В чем дело, Еремин?

— Письмо товарища Загорского. Просит помочь.— Еремин потянулся вверх, подал тому бумажку. Денис последил взглядом, как Адам Петрович бережно принял его бумажку, и увидел вдруг, как все из кузова повернули лица к Денису, смотрят на него молча, суровые, одинаково темные, как сухие грибы, только глаза с блеском. И Денис, не понимая, что с ним такое, медленно, как по скользкому льду, пошел к машине.

— Вы его знали? — спросил Адам Петрович не громко, не строго.

«Знали... в прошедшем времени».

— Он у нас в ссылке был, в Енисейской губернии. А что?

Опять на его вопрос никто не ответил.

— Он меня сюда вызвал, и вообще он...

— Просит помочь — поможем! — отчеркнуто произнес Адам Петрович.— Полезай сюда, товарищ.

Дюжина рук протянулась к Денису сверху, он видит черные пальцы, кисти, чуть выше белая кожа в крутых венах лезет из обшлагов. Он ухватился, не глядя, его подняли, как пушинку, дали дорогу к кабине, он стал рядом с Адамом Петровичем.

— Вот так, товарищ,— сказал тот твердо, без всякой скорби.— Поздно ты приехал, но... отомстим! — Хлопнул дважды по крыше кабины.— Поехали!

И сразу ветер в лицо, Денис подался вперед над кабиной, чтобы никто не видел, как побежали по щекам слезы,— ни от чего, просто от жизни, от долгой дороги, чуть не попал вот сейчас под пулю, некуда ему теперь пойти, никто его здесь не ждет, и вяленую медвежатину съедят другие.

Ветер выжал слезу, ветер высушил.

От быстрой езды и ветра рабочим захотелось петь. Адам Петрович не советовал, но быстро сдался.

— Давайте «Интернационал».

Спели, и хорошо, дружно спели. Все они знали слова, будто специально готовились, разучивали; годами готовились, годами разучивали, понял Денис, и теперь эти слова у них на все случаи жизни — и на работу, и на похороны: «это есть наш последний и решительный бой».

Спели, молчать дальше не могли, коротко посовещались — какую еще?

— «В борьбе за народное дело ты голову честно сложил»,— подсказал Адам Петрович.— Только ме-едленно.— И поднял руку, начал плавно поводить ею из стороны в сторону, руководить.

— «Служил ты недолго, но честно на благо родимой земли, и мы, твои братья по делу, к тебе на могилу пришли...»

Денис не мог подпевать, комок стоял в горле.

Грузовик остановился на площади, возле большого здания с колоннами и с четверкой коней на самом верху. Быстро пососкакивали через борт. Народу полно, знамена, флаги, в глазах рябит. Денис поискал Еремина, подошел к нему, попросил по-детски:

— Можно, я с тобой?

— Давай держись рядом. В Москве у тебя больше никого?

— Никого... А как это вышло, кто позволил?

— Чека расследует. Остатки белой сволочи мстят за «Национальный центр». Бросили бомбу во время собрания. Двенадцать товарищей убито, пятьдесят пять в больнице. Загорский успел схватить бомбу, хотел выбросить. А тут и шарахнуло.

«Да, это он, Бедовый», узнал бы отец.

— А где было собрание, в гостинице «Дрезден»?

— Нет, в Леонтьевском переулке.

...Он как будто заранее знал — не догнать ему дядю Володю. Не суждено. Все время он уходил от Дениса и уходил, но не бросал совсем, а звал из неведомой дали.

Москва, заграничная гостиница «Дрезден» стали для Дениса путеводной звездой. Три года назад, в шестнадцатом, он получил из «Дрездена» письмо от Сурикова. Василий Иванович звал Дениса учиться, обещал потом послать его в Италию. Познакомились они в Красноярске, где Денис учился в гимназии, хвалил Суриков его работы, советовал не сидеть на месте, поехать на мир посмотреть, чтобы потом в родные края вернуться, лучше Сибири нет на земле места. Но прежде чем поймешь это, надо весь мир объехать. «Красота, как и отчий край, познается в сравнении».

Ехать — не ехать? «Смотри сам, ты взрослый,— не очень охотно провожал Дениса отец.— А то езжай, может, встретишь Бедового».

Шла война, там, в России, в Москве тяжело, здесь, в Сибири, полегче. Прособирался Денис, а тут пришла весть: умер великий художник земли русской в Москве, в гостинице «Дрезден».

А зимой восемнадцатого пришло письмо от дяди Володи — и опять же из той гостиницы.

Все детство, отрочество и, считай, вся жизнь Дениса прошла под этим знаком — ожидания весточки от Бедового. Он стал будто членом их семьи, старшим братом Денису, старшим сыном для Якова Лукича. Старик вспоминал его часто и Денису не давал забыть.

Много ли помнит каждый из своего детства, многое ли несет дальше из своих пяти лет от роду? Денису казалось, он помнит все и расти начал из той пятилетней жизни, когда вместе с утратой друга он стал наследником его красок и радости рисования, творчества, которое заполнило все его дни и годы потом. Он рисовал, лепил, вырезал, долбил. В тринадцать лет Дениса Шаньгина знали в округе как мастера ставить резные наличники на окна, петуха на крышу, ярилу-солнце на ворота. Из пня он в два счета мастерил креслице. Тюк-тюк топориком, вжик-вжик пилой. Убитая молнией березка превращалась в деву, засохший дуплистый тополь — в старика-лесовика. Другие удивлялись: как легко у него выходит, как он видит, как чует, куда руку направить, колдун небось; а он удивлялся, почему не видят другие, сама природа показывает тебе линию, движение, форму и ждет, чтобы ты лишь завершил то, что начато. Жалел, что не дотянуться до облака,— какие там сказочные фигуры! Чуть подправить бы — и пусть себе плывут дальше над миром.

Денис многое умел, даже стихи сочинял и самолет сделал из легкой дранки и папиросной бумаги, с пропел-

лером на резине, и пускал его летать вдоль улицы. Дениса хвалили, а Лукич крутил ус и притворно хмурился: «Умные люди мне давно сказали: Денис у тебя способный». Похвала, почет преобразили Дениса, он стал смелым, самолюбивым, знающим себе цену, но и всегда неудовлетворенным, хотелось ему неведомых каких-то гигантских творений, от которых вся жизнь сразу бы стала краше, непохожей на прежнюю, и люди стали бы другими, цели свои передумали бы.

«Бедовый предсказывал»,— любил повторять Лукич. Что именно и когда предсказывал ему Бедовый, Лукич точно сказать не мог, но что бы ни случилось в России или здесь, в Сибири, упал, к примеру, в якутскую тайгу камень с неба, все — «Бедовый предсказывал».

Сначала пришла от него весточка из Берлина (эвон куда занесло!) — жив-здоров, того, дескать, и вам желаю. В конце пятого года уже из Москвы — жив-здоров. И тут же другим путем весть: в Москве революция. «А что Бедовый предсказывал? Года через два, говорил, через три. Так и есть!» Заставили царя особый манифест выпустить, а в нем народу всякие послабления, какие, сказать трудно. Сибирь на краю света, по Сибири пока амнистия арестантам — значит, вешай мужик замки на сусеки да спать ложись с топором. Задавили революцию и цареву манифесту ходу не дали, Бедовый опять пропал, и только в десятом году пришла от него весть из Англии, из города Манчестер. Денис уже учился, нашел на карте и Англию, и Манчестер, показывал отцу. Потом уже из Германии пришло письмо, из Лейпцига, летом, перед самой войной, когда у Марфуты мужа в солдаты взяли. Война началась, замолчал Бедовый надолго. Отец гадал: за кого он воюет? За царя не пойдет, за германца тоже не с руки, так за кого еще? Ответ пришел весной семнадцатого — в Петербурге царя скинули. Только теперь признался отец Денису, да и перед селом не стал таить, что

это он спас своего ссыльнопоселенца четырнадцать лет назад. А село и без его признания давно знало, шила в мешке не утаишь.

Много воды утекло, а помнилось все, как недавнее. Денис учился, рисовал, пилил, строгал, большие деньги загребал и все рвался в даль неоглядную.

Жила Сибирь своей самостоятельной жизнью, громы из России доходили притихшими, и неизвестно, какой стала бы тут жизнь дальше, если бы не появился, как его тут прозвали, Толчак. Старался-старался верховный правитель, да, видно, перестарался — отвернул Сибирь от себя, повернул Сибирь к Советам.

Летом прошлого года объявился Бедовый: жив-здоров, работаю в Москве, как вы там, все ли живы? «Только я теперь на другой фамилии — Загорский, а имя и отчество прежние, Владимир Михайлович». Сочиняли ему ответ всей семьей, отправили, перед самым новым годом дождался Денис конверта, а в нем бумага со штампом: «Московский Комитет РКП (большевиков)» и две строчки: «Товарищ! Помоги т. Денису Шаньгину добраться до Москвы. Секретарь МК Загорский».

Отец уже не вставал, но бумагу прочитал сам, гладил ее шершавой ладонью, говорил убежденно: «Секретарь губернатора выше. Молодец Бедовый». Не опоздало его письмо, отец умер спокойным за судьбу Дениса.

А теперь вот как она, судьба, повернулась...

Вылезли из грузовика, слились с толпой. Вся площадь заполнена. Из здания на углу — Дома союзов, как объяснил Еремин,— из Колонной залы доносился мощный хор: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Потом по толпе прошло движение, все повернулись в сторону Дома союзов, недолгая постояла тишина и зазвенел, загремел, забухал медленными ударами духовой оркестр. Из Колонной залы стали выносить цинковые гробы и ставить их на белые траурные колесницы. Первый — с останками

Загорского. Денис увидел его портрет и узнал его, вспомнил, поверил, что и тогда, в девятьсот третьем, дядя Володя был именно вот таким, красивым и строгим, с прямым взглядом.

Среди двойной шпалеры войск вереница светлых гробов на белых колесницах двинулась на Красную площадь.

Денис запоминал все. Венки и венки с развернутыми, как знамя, лентами, и на них четко: «Убийство вождей пролетариата не остановит революционной борьбы рабочего класса. Вы убиты — мы живы!»

«Слава мученикам за коммунизм!»

«Вас убили из-за угла, мы победим открыто!»

«Вызов принимаем. Да здравствует беспощадный красный террор!»

И еще венок: «Бурлацкая душа скорбит о вашей смерти, бурлацкие сердца убийцам не простят!» — это волгари идут, его земляки...

Денис смотрел и твердил себе: я помню, запомню и никогда не забуду. Множество людей, масса. Денис идет с ними за грозной лентой: «Мы — живы! Вызов принимаем!» Рабочий, красноармеец, комиссар, матрос. Старики, женщины, дети. Печать печали. И нужда в надежде. Провожая в могилу, они остаются жить. В крепкой связи с теми, кто мертв. И с теми, кто еще не родился.

Он смотрел на людей возле домов, смотрел на дома, на небо. Видел Москву в цвете. Голубое небо, желтые дома, серые шинели и шлемы с красной звездой. Процессия шла, толпа смотрела, и в глазах застывал мерцающий металл гробов.

Взгляд Дениса привлекла странная пара — мужчина лет сорока, широкий, приземистый, в теплом английском френче с карманами, и рядом с ним стройная женщина писаной красоты, вся в черном, молодая. Они стояли в толпе со всеми и — особняком. Внешне совсем разные и —

пара. У него крупное лицо, голова без шеи, отрешенно спокойный, тяжелый взгляд из-под набрякших век, совершенно лысый, бритый, с шафранно-желтой головой. Над левым виском его шрам с каймой от недавней раны, и весь он тревожно-властный, а она покорная, покоренная, и этим подтверждает его силу и завершает их обособленность — нас двое, мы пара, и ничего больше не надо человеку и человечеству для продолжения жизни. Смотрят на все спокойно и отчужденно, будто из другого мира.

«И племя их будет такое же,— подумал Денис,— всему постороннее, себе на уме. И с ними тоже придется жить».

И еще один эпизод привлек внимание Дениса, выделился на едином фоне и остался в памяти. Уже перед поворотом на Красную площадь в толпе сбоку появился молодой монах с худым бескровным лицом, в черном подряснике, из-под которого виднелись сбитые носки старой обуви. Он хотел пройти через шеренгу красноармейцев, присоединиться к процессии, но его не пустили. Он неслышно чего-то требовал, стоя неподвижно, как истукан, перед горячим красноармейцем. Подошел командир — разобраться. Монах что-то объяснил ему, живыми у него были только губы, а поза оставалась смиренной, руки у пояса, не позволил себе ни одного жеста. Кучка людей возле него заволновалась, особенно женщины:

— Он греха не позволит.

— Не в кабак же дьячок просится.

— Из Сергиевой лавры шел, семьдесят верст.

И командир разрешил. Широко шагая, раздергивая ногами подрясник, молодой монах занял место в хвосте передней колонны. На него как будто никто не смотрел, но хвост подобрался, а задняя колонна тут же чуть поотстала, и он занял эту брешь в рядах, пошел медленно, воздев к небу бледное лицо, не замечая, что нарушает единство пролетарской скорби. Смотрели на него по-раз-

ному: молодые — усмешливо, постарше — снисходительно, старики — признательно.

Чем-то они ему дороги, те, что в светлых гробах. Эхо взрыва докатилось до лавры, и он пришел хоронить. Шел упрямо, твердо нес свой последний долг осколок старого мира.

— Свобода совести, так для всех,— сказал кто-то грамотный.— Завтра он снимет рясу и вольется в наши ряды.

Ветер, согнутая вперед фигура в черном до пят... И гробы плывут, как светлые корабли.

Красная площадь полна. Московский рабочий люд, войска гарнизона, всадники, лошадиные морды в строю. Знамена, плафоны, траурные полотнища. С трепетом смотрел Денис на башни Кремля, на золотые купола соборов.

У Кремлевской стены — черный зев братской могилы, белые колесницы в ряд, желтая трибуна из свежих досок и на ней человек с забинтованной головой.

— Рабочие Москвы над телами предательски убитых товарищей заявляют...

— Тоже был там, в Леонтьевском,— вполголоса пояснил Еремин.— Нашу резолюцию читает, слушай.

— ...тот, кто в этот момент не встанет активно в наши ряды на защиту рабоче-крестьянского дела, тот враг рабочего дела, изменник и помощник царским генералам. Вечная память погибшим товарищам! Да здравствует борьба за укрепление своей власти!..

На трибуне представитель из Петрограда. За ним представитель из Моссовета.

— А мне можно в вашу дружину? — спросил Денис Еремина.

Тот не ответил, только повторил свое «слушай».

— Возьми и сохрани на память.— Еремин потянул из кармана сложенную трубкой газету, подал Денису.

Денис развернул — «Правда» от 28 сентября 1919 года.

«Прощайте, наши милые товарищи, наши верные борцы, наши смелые братья!

Живые! С песней проводим мы ушедших, с песней о мщении, о борьбе, о победе».

— В дружину принимают только рабочих,— сказал Еремин.— По особой рекомендации можно совслужащих. А ты иди в МК, у тебя свое дело. И запомни: бумагу его храни, она тебе всю жизнь помогать будет. Если, конечно, сам будешь шурупить.— Он посмотрел на Дениса — поймет ли? Пояснил: — Если голову будешь на плечах иметь.

Будет иметь, он уже имеет голову на плечах. Он бы не добрался до Москвы без этих вот кратких слов: «Товарищ! Помоги т. Денису Шаньгину...» Он знал, кому и где эти слова предъявлять. И впредь будет знать. Это и есть то слово, которое обещал ему прислать дядя Володя в Рождественском в далеком-далеком детстве.

— Слушай, Калинин говорит,— подтолкнул Дениса Еремин.

— Мы каждый день делаем новые и новые холмы,— говорил человек в очках, с бородкой клином, похожий на сибирского мужика,— каждый день несем все новые и новые жертвы, но в момент, когда пролетариат увидел контуры социалистического царства, никакие враги не способны удержать его порыв к борьбе за этот идеал... Каждый павший поднимет десятки новых...

— А чья это могила рядом? — спросил Денис.

— Свердлова.

Ухнул барабан, зазвенели литавры, медленным траурным громом заполнилась Красная площадь.

Цинковые гробы опустились в ряд у могилы.

««Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели, на полянку сели...» Он оставил мне призыв и пример, то самое, чем жил сам и за что погиб. Ему было трудно, и мне будет

трудно, но только так, в борьбе, можно избежать смерти бесследной и безымянной...»

Вечером того же дня МК направил Дениса Шаньгина на работу к Михаилу Черемных в «Окна РОСТА».

Глава девятнадцатая

В солнечный зимний полдень конца января двадцатого года Дан шел на Лубянку. Никто его не гнал туда, не принуждал, никто и не останавливал. Не было такого человека в его окружении, не было у него сейчас вообще никакого окружения, шел сам. По своей доброй воле. Смерть ему не надо выпрашивать, выбор сделан давно и давно уже оброс делом. Теперь уже не собака машет хвостом, а хвост машет собакой. Одно в его власти: злую волю убивать он дополнит, наконец, доброй — самому умереть. С честью.

Москва лежала в снегу. Уже по одному тому, что на Тверской убирали сугробы, конец света снова отодвигался. Катили извозчики, их стало больше, лошади резвее молотили копытами мостовую. В витринах красовались «Окна РОСТА», Москва оживала, даже вороны каркали раскатистее, и трамвай «шестерка» уже шел с пассажирами через город. На Лубянке густо от шинелей с леями, красноармейцы уже не кто в чем, а все в форме. Угнали на юг Деникина, на запад Юденича, а Колчака отправили и того дальше — на тот свет.

Казалось бы, теперь можно жить, но Дан идет умирать. Все эти победы для него муть, призрак, чужие они, но даже и свои ему не нужны — прошло. Только окончательное поражение есть наиболее общая правда жизни. Другим этого не понять пока. «Непонятны наши речи, мы на смерть осуждены, слишком ранние предтечи слишком медленной весны». Поймут потом и оформят в теорию,

в течение, создадут школу в Берлине, Женеве, Париже.

Дан шел не пустым, с браунингом в одном кармане, с патронами и гранатой в другом, нес Дзержинскому весь свой арсенал и свою голову на плаху как идеологическую придачу. В сорок лет революционер кончается, прав Бакунин. И Желябов прав, и Халтурин, Софья Перовская и Брешко-Брешковская, все они правы, наши милейшие зачинатели, прекраснодушные словомесы, горе-провидцы,— никто из них не предвидел главного: большевиков.

Дан шел к ним в надежный конец, перестав искать в истории свое предназначение. Он не боялся смерти, наоборот, жаждал ее, он боялся жизни, ее дней, месяцев, лет, в которых уже не появится смысла, не представится больше возможности исчерпать себя полностью,— не дадут.

А пока этот смысл есть, только надо за ним успеть, пока дни его освящены делом, прямо относящимся к революции. И если говорить о датах, раздувать которые у них входит в традицию, то, пожалуйста, вот вам даты, они еще не забыты: 6 июля восемнадцатого года и 25 сентября девятнадцатого.

И если шестого июля они успели, захватив телеграф, отдать только несколько распоряжений, то после двадцать пятого сентября они достаточно ясно изложили свою непримиримость. В расклеенном по Москве «Извещении» говорилось: «Вечером 25 сентября на собрании большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бунтующим народом. Властители большевиков все в один голос высказались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими, крестьянами, красноармейцами, анархистами и левыми эсерами вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами...

Наша задача — стереть с лица земли строй комиссародержавия и чрезвычайной охраны и установить Всерос-

сийскую вольную федерацию союзов трудящихся и угнетенных масс. Смерть за смерть! Первый акт совершен, за ним последуют сотни других актов».

Типография на даче в Красково стучала по бумаге днем и ночью. Кроме «Извещения» выпустили листки «Правда о махновщине», «Где выход?», «Медлить нельзя», издали «Декларацию» и несколько номеров газеты «Анархия». Тема одна: долой! «Для экономии революционной энергии с комиссарами-генералами отныне начнем разговаривать на языке динамита».

Не скупились на обещания: «За актом на Леонтьевском переулке последуют другие акты, они неизбежны. Политическая, коммунистическая саранча разлетится от взрывов».

«В России на развалинах белогвардейской и красногвардейской принудительных армий образуются вольные анархистские партизанские отряды. На севере, на юго-востоке они образовались, и всюду веет идея безвластного общества».

Все эти посулы появились не сразу, и потому чекисты в первые дни пошли по ложному следу, полагая, что взрыв — дело рук белогвардейцев, их месть за «Национальный центр». Догадка лежала на поверхности — во вторник был опубликован список расстрелянных белых, а в четверг за них отомстили трупами красных. Но уже через неделю чекисты вышли на верный след. В купе поезда из Москвы в Брянск зашел разговор о недавнем взрыве — тот погиб и другой погиб, да столько раненых и когда это кончится. «Темнота»,— подумала одна из пассажирок и решила просветить попутчиков, сказав, что бомбу бросили народные заступники. Однако темноту не развеяла, чернь так и осталась чернью, в Брянске просветительницу отвели к коменданту, а там дорожная ЧК: кто такая? Оказалось, Софья Каплун, легальная анархистка. При ней нашли письмо Арона Факторовича, по

кличке Барон, главаря конфедерации украинских анархистов (того самого, который летом девятнадцатого после разрыва Махно с большевиками писал в одесском «Набате»: «Товарищ Махно ушел. Большевики торжествуют. Революция умирает». Одесса-мама уже тогда вскармливала свой стиль. А большевикам было не до торжества — открыв фронт, Махно пропустил кавалерию Шкуро в тыл красных).

В письме, которое нашли у Каплун, Барон сообщал сподвижникам о взрыве: «Погибло больше десятка, дело, кажется, подпольных анархистов. У них миллионные суммы, и правит всем человек, возомнивший себя новым Наполеоном».

Барона арестовали и, хотя он к бомбе отношения не имел, раскрутка началась. За квартирой на Арбате установили слежку. Один из чекистов, рискуя жизнью, сутки просидел за вешалкой в прихожей и установил, что именно здесь, на Арбате, в доме 30, в квартире Восходова, собирается штаб анархистов подполья. Устроили возле дома засаду. Под утро появился мужчина средних лет, с висячими гуцульскими усами, с бородкой. «Руки вверх!» Он начал отстреливаться, ранил комиссара Московской ЧК, в перестрелке был убит — Казимир Ковалевич. Фигура известная, но лучше живой осел, чем дохлый лев. Ниточка оборвалась, и не сразу установили, что штаб перебрался в Глинищевский переулок, в самый центр, на квартиру Маруси Никифоровой, анархистки, арестованной в прошлом году по делу ограбления Центротекстиля. В квартире никто не жил, дверь была заперта. Установили слежку из окон дома напротив, условились о сигналах, следили днем и ночью, дождались: высокий мужчина в бекеше зашел в квартиру, побыл там недолго, вышел и направился в сторону Большой Дмитровки. Взяли его осмотрительно, за углом и тихо. При нем два револьвера, две гранаты, четыре обоймы, а главное — ключ от

квартиры в Глинищевском. Теперь уже засада в самой квартире. Стемнело. Ждут. Снаружи кто-то вставляет ключ, щелкает замок. Пришельца берут на пороге, кто такой? — Цинципер, старый знакомый. Опять револьверы, гранаты, обоймы, стандартный фарш. За ним пожаловал Гречаников, тоже небезызвестный, а потом повалили по двое, по трое и набралось к полуночи тринадцать гавриков, чертова дюжина. Ждать, не ждать? Решили подождать, авось к утру четырнадцатый подойдет для ровного счета.

Соболев пришел последним, но в квартиру сразу не полез. Глянул на окно и не увидел условного знака — тарелки с хлебом. Отдайте должное битым и загнанным — не горшок с геранью и не занавеска, не форточка, а именно тарелка с хлебом, а за ней тонкий расчет: в засаде не кормят. Посидят-посидят чекисты, заурчит у них в животе и потянутся они к этой тарелке. Так и сослужит хлеб наш насущный двойную службу: одних от голода спасет, других от смерти.

Расчет оправдался, хотя хлеб ушел не в то брюхо, но это уже детали. Арестованный Цинципер прикинулся сиротой казанской: с утра голодный, во рту крошки не было, позвольте, граждане чекисты, пожевать кусочек. За ним заканючили другие о гуманизме большевиков и о правах политзаключенных. Чекисты роздали хлеб с тарелки, и подоконник оказался пуст.

Если бы Соболев, увидев, что знака нет, не спеша прошел мимо, пожалуй, особых подозрений и не возникло. Но он не прошел мимо, он тут же повернул обратно и бросился бежать. Трое чекистов выскочили следом.

Соболев бежал в сторону Тверской и отстреливался с обеих рук. Убил одного чекиста, убил второго. Перебегая Тверскую, ранил третьего и нырнул в Гнездниковский переулок. Он уложил своих преследователей и уже был вне опасности, но тут из переулка выбежал на выстрелы милиционер. Впопыхах Соболев забыл, что в Гнездников-

ском — уголовный розыск, бежал бы уж лучше дальше, в Леонтьевский. Милиционер схватил Соболева в охапку, но тот вырвался и в упор пристрелил милиционера. Наконец подоспел на самокате сам начальник уголовного розыска Трепалов. Соболев бросил бомбу — не взорвалась (эх, Вася Азов!), и тогда Трепалов разрядил в Соболева обойму. При трупе нашли три револьвера, обоймы, гранаты и записную книжку с адресами, маршрутами, телефонами, с записями, кому сколько выдано денег (среди записей была и такая: «Дану 10 тыс. 25 сент.»).

Обыскали квартиру в Глинищевском, нашли бомбы, револьверы, инструмент для взлома сейфов, фальшивые бланки, паспорта и печати, приходно-расходные книги (анархия — мать порядка).

Пошли по адресам, на конспиративной квартире по Рязанскому шоссе взяли еще семерых. В ночь на 5 ноября, перед праздником, добрались до дачи в Красково. В сумерках тридцать чекистов подъехали на санитарной машине и скрылись в лесу, который подступал к самой даче. Ждали до четырех утра, потом бесшумно двинулись к дому, окружая его, намереваясь застать врасплох. Но едва приблизились, как анархисты открыли пальбу. Завязалась перестрелка. На предложение сдаться отвечали гранатами. Кольцо чекистов сжималось, и тогда, уже на рассвете раздался мощный взрыв, дача взлетела, как игрушка, не осталось и щепки целой. Грохали взрыв за взрывом, динамит и пироксилин, бомбы, адские машинки. Обгорелые трупы, голая рама типографского станка, покореженные жестянки от бидонов с пироксилином — вот и все, что осталось от боевой базы. Приготовленное для Кремля сработало на два дня раньше и совсем по другой цели.

Еще один склад динамита нашли в лесу возле станции Одинцово. Московские чекисты выезжали в Подольск, в Брянск, в Тулу и везде — оружие, гранаты, бомбы.

В одной только Самаре изъяли четыре пулемета, восемнадцать лент к нему и десять ящиков гранат.

А Дан исчез, его не могли найти ни свои ни чужие. В день, когда хоронили Загорского, он похоронил Берту. Придя домой после взрыва, он увидел ее мертвой. Играя браунингом, она как будто примеривалась, в какое место в конце концов выстрелить, пока не нашла точку под левой грудью.

Сидел над ней и говорил вслух, спрашивая ее: за что погибла? И отвечал сам: за свободу. Свободу пола, свободу тела, свободу чувств. Пала от скверны. Оскверненная свободой. Красногубый гимназист, похотливый козел, цитировал тогда правду: отсутствие стыда ведет к гибели.

Не выдержала разлада между мечтой и фактом, захлебнулась реальностью. «Эротическое отношение к действительности само по себе изменяет бытие». И еще как изменяет — жизнь на смерть.

А если бы выдержала, не захлебнулась?

Тогда бы он сам ее пристрелил, теперь уже ясно, прогнать ее от себя не смог бы, она бы его мучила.

Он просидел над Бертой всю ночь, утром зашел к хозяйке. «Она умерла»,— и зарыдал. Давно не плакал, лет тридцать из прожитых сорока. Наплевать ему было на слова хозяйки: сам убил, довел, не уберег — виниться ему не перед кем. Соседи помогли найти гроб, прошел еще день, как сон в яви, Берту омыли, уложили, оплакали коротко и даже попа нашли. Дан сидел сонно и только совал хозяйке деньги из пачки Соболева. В воскресенье отвез гроб на извозчике на Ваганьковское кладбище, где когда-то отстреливался от семеновцев. Вместе с товарищем Денисом...

В Дегтярный он уже не вернулся. Лениво думал, пора бы уже и самому пулю в лоб, но день отодвигался, Дан набирался сил.

Облетела листва, прошли дожди, лег на Москву снег. Переловили, перестреляли его сообщников, не стали они хором его трагедии, Дан один, свет погас, и пора уходить со сцены.

Была у него идея, и он ею гордился. Не было в ней долгих слов, один боевой призыв — долой! Уничтожить, разрушить, не покориться. Пусть они налаживают, пусть они себе строят, наводят порядок, пусть они, наконец, ловят нас, изобличают, карают; наше дело: уничтожить, разрушить, не покориться. А они, строители, вседержители, пусть несут ответственность перед историей.

Кто это такие — они? Власть. Государство. Все, кто причастен к насилию. Начиная от родителей в семье и начальства в гимназии. И дальше, выше — царь со присными, департаменты, большевики, Ленин и сам господь бог иже с ними, как всякое сдерживающее начало. Все они мешали нашей свободе, все они создавали и крепили свои социальные институты для того только, чтобы держать в узде, не давать развиться человеку дальше, в сверхсущество.

«Я не страшусь вас и я протестую — глаголом, пулей, бомбой, для этого я рожден. Так же, как и вы рождены укрощать, смирять, «держать и не пущать»».

Что нас распылило-рассеяло, обратило в прах? Необходимость созидать самим.

Но может ли созидать рожденный для разрушения?

Борясь за крестьянскую долю, мы переняли мужицкую психологию. А она у него в двух ипостасях: бунтовать или холопствовать. Никогда русский мужик не надеялся, не рассчитывал управлять государством, подменить собой, упаси бог, власть царя, ему такое и в башку не приходило, а вот вздернуть боярина на суку, пустить красного петуха в поместье он всегда готов, это ему любо-дорого. Либо бунтовать, резать, вешать, не видя света впереди, не думая о новом дне, либо холопствовать, холуйствовать

без оглядки на честь и совесть (точно подмечено: не было у нас рыцарского начала).

Двадцать лет борьбы за народ, что в итоге? Что останется после нас, какую вековечную мечту мы, социалисты-революционеры, хотели провести в жизнь?

Мечту о свободе, разумеется, о земле и о воле. О свободе разгула, о земле для братских могил, о воле разрушать дальше.

А для большевиков главное в революции — власть.

Для нас — долой, как было, так и осталось до конца дней долой, а у них — даешь и да здравствует.

Безумству храбрых мы спели песню.

Партия эсеров появилась раньше беков и меков. Ее не раздирали противоречия, потому что программа ее достаточно обширна, чтобы вобрать всякое мнение и всяких людей, гимназиста и профессора, мужика и рабочего. Мятежный жар собрал под наши знамена отважных по всей России. Ко времени революции нас было четыреста тысяч, больше, чем в партии большевиков.

Мы штурмовали небо, жаждали истратить на мятежи свою повстанческую энергию, забывая о всяких там объективных целях и смыслах, о законах истории, безрассудно вырывались за ее предел.

Возвели отрицание в абсолют.

И получилось, что и царизм, и большевизм одинаково стали горнилом нашей отваги. Ибо только власть — всякая-разная, самодержавная, белая, красная — позволяла нам реализовать себя, проявить нашу смелость и беззаветность.

Ряды большевиков росли, а наши ряды крошились на правых и левых, на максималистов, на анархистов. Нам нечего было развивать, кроме революционной стихии в себе, а марксизм как раз тем и силен, что побуждает думать, и тем побеждает всякую бездумную революционность. И чем крепче становилась власть, тем ярче вспы-

хивали мы в пароксизме отчаяния. «Мы взрываем, идем на гибель, а они! Пусть ответят перед народом».

...На другой день после взрыва Дана грызла досада — там не было Ленина. Одиннадцать убито и пятьдесят ранено. Так уже бывало в прошлом. Террор целится, но чаще промахивается. Перебьют окружение, а цель остается недостигнутой. История повторяется именно в жалких своих проявлениях, всякий раз подчеркивая тщету одиночных усилий.

Он пойдет к стенке под знаком последнего террориста. Торопись. Он сам не ожидал, что бомба в Леонтьевском всколыхнет такую волну по Москве и в России. А посему спеши подтвердить свою жизнь, пока не забыта их смерть.

Сотни забыты, отошли от дел, тысячи. Тот же Ян Махайский гремел когда-то послышнее многих, знали его и бузили под его флагом от Иркутска и до Одессы, от Варшавы и до Женевы. Теперь он тихо служит техредом в журнале «Народное хозяйство». Утром на службу — гранки, макет, шрифты, там петит, здесь корпус, вечером домой — в шашки-пешки с соседом. Как будто и не было в его жизни никаких борений.

Декабристы, петрашевцы, нигилисты, чернышевцы, анархисты, народники, социалисты всех мастей — хватит, граждане, господа, товарищи! Хватит мутить души, дурить головы себе и другим. Отныне и навеки диктатура пролетариата. Смирить безумцев и обезволить, заткнуть все тяги для входа и выхода дурной силы. Не хочешь мириться — бейся башкой о стену. Или иди служить к ним под неусыпный контроль и надзор. Склони буйну голову перед глаголами «строить» и «жить».

Дан всегда делал то, что хотел делать. И остался тем, кем хотел быть. Он преодолел судьбу и презирает смерть, что оставляет его свободным. «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или умереть»,— чушь,

господин Достоевский, гора родила мышь. Не может быть свободы жить, свобода — только умереть. А жить — это необходимость.

В комендатуре ВЧК он сказал:

— Лично к Дзержинскому. По делу двадцать пятого сентября.— И, видя, что молодой чекист напряг лоб, смотрит пытливо, что за дело, веско напомнил: — Взрыв в Леонтьевском переулке.

Тот моментально подтянулся, дошло, и Дан, упреждая вопрос, есть ли оружие, сказал холодно-торжественно:

— Примите оружие.— И не спеша, ритуально выложил на тумбочку браунинг, патроны, гранату.

Дзержинский узнал его. Из-за стола не встал. Ледяным взглядом следил, как Дан снимает шапку, протирает пенсне, садится.

Дан понял по его глазам — знает все — и решил отбросить преамбулу.

— Каяться не собираюсь. Пришел выслушать приговор,— сказал Дан приподнято, чувствуя себя сильным и достойным внимания. Перед ним враг, лютый, неколебимый, но и — личность, незаурядность. Враг, которому известно, что Дан в своем деле, в своем противоделе, тоже значит немало сам по себе.

— Каяться поздно,— пресно сказал Дзержинский.— А приговор вынесет трибунал.

И весь разговор. Дзержинский сидел неподвижно, локти на столе, и смотрел на Дана как на некую помеху его текущим делам, не больше.

Помолчав, Дан спросил с вызовом:

— У вас нет вопросов ко мне?

— Вопросы вам задаст следователь.

— Даже расстрелять не можете без бюрократической волынки! — выговорил Дан с презрением.

Дзержинский не отозвался.

— Вам известно, что именно меня привело сюда?

— Догадаться не трудно.

Пауза затянулась. Дан знал о слабости Железного Феликса: самую махровую контру он всегда пытается наставить на путь истинный. Так в чем же дело? Боится скрестить шпаги?

— Вы не знали погибших? Они вам не дороги? — повысил голос Дан.— Вы не знали Загорского?

Дзержинский не ответил. Только едва слышно вздохнул, привычно сдерживаясь.

— Я пришел, чтобы доказать свое презрение к расстрелу, вашему главному оружию в борьбе идей. Я пришел, чтобы своей гибелью еще раз подчеркнуть ваш произвол. Вы лишили себя трезвой критики со стороны других революционных партий. Мы не биты вами в свободной дискуссии, мы вами просто уничтожены, перебиты и перестреляны.

— Что ж, вы, должно быть, правы. По-своему.— «По-своему» Дзержинский произнес с нажимом.— Была и ваша критика, была и свободная дискуссия, а кровь между тем лилась, и пришло время поставить вопрос прямо. Что лучше? Посадить в тюрьму сотни изменников, кадетов, меньшевиков, эсеров, выступающих с оружием, заговором, агитацией против Советской власти, то есть за Деникина? Или довести дело до того, чтобы позволить Колчаку и Деникину перебить, перестрелять, перепороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян? Выбор не труден. Вопрос стоит так, и только так. Это слова Ленина. И народ их понял и принял.

— Народ слеп, труслив, податлив как воск. Силой оружия, жестоких расправ его можно удерживать в повиновении сколько угодно!

— Вон как эсеры заговорили,— усмехнулся Дзержинский.— Почему его не удержала в повиновении царская Россия? Мало было расправ, расстрелов, виселиц? Почему его не удержали военно-полевые суды, карательные

отряды, расстрелы на месте у Колчака и Деникина? Народ изнемогал, обливаясь кровью, и продолжал свой выбор. А услуги ему предлагали все и с пушкой, и с пряником, и с запада, и с востока. Но он выбрал Советскую власть и партию большевиков. Без народа никакие чрезвычайные меры, никакие ЧК не смогли бы спасти революцию, в этом уж поверьте мне!

— Чем же вы взяли тогда, какими такими благами, какими свободами? Слова? Печати? Собраний? — Дан давился ехидством.

— Об этом надо спросить каждого, кто воевал за Советскую власть. Всё знают только все. Спросите солдата, рабочего, крестьянина, спросите интеллигенцию — чем взяли? Почему, за что они шли в бой с нами? Годы кровопролития позволили каждому увидеть истину. А от себя лично могу добавить, что взяли мы также и тем, что имели перед собой врага не только на фронте, но и в тылу, врага откровенного, убедительного, вроде вас. Вы помогали нам раскрывать народу глаза своими попытками возврата всех старых мерзостей, с помощью своих мятежей, кровавой расправы с рабочими. Вспомните баржи трупов на Волге в дни вашего путча в Ярославле. Колчак и Деникин на фронте, меньшевики, эсеры, анархисты в тылу,— вот кто негативно помогал объединению наших сил, а значит, и нашей победе.

— Не выдавайте следствие за причину. Вы просто-напросто использовали национальный характер русских в своих честолюбивых целях. Вы видели, что Россия по-своему, слишком серьезно воспринимает Европу. Для немца революционные идеи всего лишь игра ума. Поиграли в Гегеля, Фихте, Канта, играют дальше, то в Маркса, то в Анти-Маркса, то в Дюринга, то в Анти-Дюринга. А для России идея не игра ума, а призыв к действию. Идея сразу превратилась в монстра, как только стала достоянием толпы. «Куды? — Туды!» И пошла-поехала

крушить, жечь, резать. Европа разрушала свои идеи столь же решительно, как и создавала их, предпочитая спокойную жизнь на грешной земле всем царствам небесным. Вы вселили бесов в душу России, вы втянули ее со своей теорией в кровавую драму, которой конца не будет.

— В революции действительно проявился могучий характер России. Что же касается драмы... Если бы вы не жили кустарщиной, домодельщиной, а знакомились бы с наследием мысли, то давно бы усвоили, что драматизм есть постоянный и неустранимый элемент исторического подвижничества. Драматическое восприятие истории — норма, к вашему сведению, норма, ограждающая от прекраснодушия, с одной стороны, и от пессимизма — с другой.— Дзержинский разохотился говорить, спросил без паузы: — В каких грехах вы еще нас можете упрекнуть?

Дан устал, хватит, доводы врага долбят и не бодрят. С усилием выпрямился:

— Истина должна быть пережита, а не преподана. А посему велите без лишних слов — к стенке.

Вместе гремели кандалами в Бутырках, народ освободил обоих, а потом они стали примеривать кандалы друг на друга и поспешать, кто быстрее. И всегда один оказывается более расторопным. И все-таки Дан не рохля, шестого июля он был с теми, кто обезоружил Дзержинского. «У вас был октябрь, а у нас июль...»

— За убийство Владимира Загорского,— глуховато заговорил Дзержинский,— человека редкого благородства, кристальной честности, одного из лучших большевиков, я бы расстрелял вас собственноручно.

— Сделайте такую милость,— вставил Дан тотчас. Кому-то стало бы жутко от такого признания, волосы бы поднялись дыбом, но Дан лишь усмехнулся: — Кто не умеет умирать, тот недостоин быть свободным.

— Но закон и дисциплина для чекиста — превыше всего.— Дзержинский рывком взял со стола газету, протянул Дану: — Читайте.

— Кошка играет с мышкой, прежде чем перегрызть ей горло,— сказал Дан и брезгливо отвернулся.

— Читайте,— с напором повторил Дзержинский.— Это прежде всего вас касается.

Дан взял газету. «22 января 1920 года».

— «Цена номера в Москве пятьдесят коп. На станциях жэдэ и в провинции шестьдесят коп.»,— гаерски процитировал Дан.— Хоть на гривенник, да нагреть мужика в провинции.

Впрочем, доставка чего-то стоит, дураку ясно. Но почему именно здесь нисходит на дурака просветление, когда его рылом в стенку? Смял гримасу, кашлянул, стал читать.

«Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров.

Разгром Юденича, Колчака и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска и Красноярска, взятие в плен «верховного правителя» создают новые условия борьбы с контрреволюцией».

Дан нетерпеливо перескочил на строчки вниз, ища главное, но набор был одинаковым, только выделялись подписи: Ленин, Дзержинский, Енукидзе.

— Читайте, читайте,— подтолкнул Дзержинский, следя за ним из-под полуопущенных век.

«Разгром контрреволюции вовне и внутри, уничтожение крупнейших тайных организаций контрреволюционеров и бандитов и достигнутое этим укрепление Советской власти дает ныне возможность Рабоче-Крестьянскому правительству отказаться от применения высшей меры наказания по отношению к врагам Советской власти.

Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора».

Злость, ярость, бессилье сбили дыхание Дана, буквы слились — они «с удовлетворением констатируют!» — глаза перескочили абзац, впились в главное: «ВЦИК и СНК постановляет:

Отменить применение высшей меры наказания (расстрела)... Москва, Кремль, 17 января 1920 г.».

Дан почувствовал озноб, его лихорадило. Годы заточения? Не-ет уж. Он еле-еле поднял руку, положить газету на стол.

Вроде бы даровали жизнь, а он сник.

Не милосердие его сломило, нет,— они мнят себя всамделишным гуманным правительством! Они заставляют его жить, видеть, слышать, как они будут править, действовать, работать дальше, справедливые, великодушные!..

Оставляют жить, чтобы видеть и не увидеть, слышать и не услыхать. Не радуясь новому, терпя и страдая по-старому. Дан-Кихот.

— Мне надо подумать,— сказал Дан.— Поместите меня в одиночную камеру.

Просьбу его выполнили.

Войдя в камеру, он первым делом примерился к решетке на окне в нише, прикинул расстояние сверху вниз. Одно и последнее условие — чтобы ноги не касались пола.

Разделся донага, сел на койку, ощущая голыми ягодицами колючее сукно одеяла. Неторопливо, словно готовился закурить после долгого перерыва, стал разрывать белье на длинные полосы. Когда, где все это уже было? Он силился вспомнить — белые длинные полосы мягко скользят в пальцах, он перебирает ленты медленно, плавающим движением и видит вместо узлов на конце — цветы...

Лучшее время его жизни — когда он болел, а Берта его спасала, согревала телом, кормила из ложечки, как младенца, обещала, сулила жизнь.

Щелкнув, покатилась по полу костяная пуговица от кальсон. Он нагнулся, нашарил пуговицу, зажал ее в пальцах и с жестким сухим шорохом стал царапать по штукатурке старательно и поглубже: нет у меня родины, ибо некому меня вспомнить.

Глава последняя

ОТКРЫТИЕ РАБОЧЕГО ДВОРЦА ИМЕНИ ТОВ. ЗАГОРСКОГО

(Благуше-Лефортовский район)

1 мая состоялся большой концерт-митинг, посвященный открытию Рабочего дворца имени тов. Загорского и празднику 1-го мая.

...с кратким приветствием выступил председатель В.Ц.И.К. т. Калинин. Затем началось концертное отделение. По исполнении второго номера концерта во дворец приехал т. Ленин. Бурными аплодисментами было встречено его появление на трибуне.

Свою краткую речь т. Ленин посвятил воспоминанию о т. Загорском, о своей встрече с покойным товарищем еще за границей, в эмиграции...

«Правда», 5 мая 1920 г.

* * *

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

переименовать город Сергиев Московского округа и станцию Сергиево Северных железных дорог в город и станцию Загорск.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. Калинин.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

А. Енукидзе.

Москва, Кремль, 6 марта 1930 г.

Щеголихин Иван Павлович

Щ34 Бремя выбора: Повесть о Владимире Загорском.— М.: Политиздат, 1979.— 351 с., ил. (Пламенные революционеры).

Щ $\frac{10203-121}{079(02)-79}$ 285—79 0902030000

84Р7+66.61(2)8
Р2+3КП1(092)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *Л. Б. Родкина*

Младший редактор *Н. Б. Чунакова*

Художник *А. В. Лозенко*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *О. М. Лыгина*

ИБ № 1118

Сдано в набор 17.01.79. Подписано в печать 22.06.79. А 00385. Формат 70×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 16,01. Учетно-изд. л. 16,39. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 112. Цена 1 р. 40 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49.



Бремя выбора

Иван Щеголихин